

НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ СМИРНОВ

КРУГИ ПАМЯТИ

**Воспоминания о станице Отрадной и отраденцах
1920-х - 1930-х гг.**

**Отрадная
2018**

УДК 94(470.6)
ББК 63.3(2) 235.7
Н 44

Гарий Немченко

. Под ред. С.Г. Немченко.– Москва: изд. Надыршин А.Г., 2018. – 108 с.

ISBN 978-5-905789-04-8

УДК 94(470.6)
ББК 63.3(2) 235.7

ISBN 978-5-905789-04-8

© Авторы, 2018
© Изд. Надыршин А.Г., 2018

«СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ?..»

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУКОПИСИ Н.П. СМЕРНОВА

Те минуты, когда уговорил Николая Прокофьевича Смирнова взяться за повествование о годах заключения на Колыме, и нынче помню в подробностях.

Через несколько дней после похорон моего родного, по маме, дяди, Георгия Мироновича Лизогубова, мы шли в Отрадной на базар, «на ярманку», уже ступили на пешеходную дорожку на краю моста через обмелевший к осени наш Тегинь, и Николай Прокофьевич, как бы ни с того ни сего, вдруг спросил: «Тебе Хемингуэй нравится?»

Уже нет, ответил ему. Переболел.

– А до этого?

– Все, что можно прочитал, ну, конечно. Восхищался, естественно. Но этот всеобщий ажиотаж вокруг него... Прямо-таки заставляющий и дальше без конца восхищаться. Пожалуй, нас «перекормили», дядь Коля? Хемингуэем...

– Во-от!.. Может быть, дело еще и в этом, – откликнулся он понятиливо. Начал вольно цитировать знаменитого американца, и в голосе у него легкая ирония постепенно сменялась откровенной насмешкой. – «Негры несли наши ружья и спальные мешки»... это помнишь?.. «Тащили на себе остальные необходимые вещи... поставили под африканскими звездами палатку... наполнили водой резиновую ванну, а потом мы с Мэри любили друг друга»... как тебе?!.. А если бы ты под «колючкой» прополз на берег, поймал на самодельный крючок десять корюшек, вернулся в барак и не знал, как их на всех потом разделить...

Тут я и не удержался:

– Бесценный опыт, дядь Коля. Ну, напишите об этом, напишите!

У меня вообще «легкая рука», а уж что касается «писанины»...

Или, вернее, «легкий язык»?

Одна из самых ходовых раньше в станице поговорок: «Язык без костей: что хочет, то и лопочет».

Не то что к большому сожалению – к несчастью на этот раз. Но вышло именно так.

Договорились, что буду помогать дяде Коле не только советом, но и собственным пером, если потребуется: дело-то общее!

Из-под Сочи, из своего Дагомыса, Николай Прокофьевич приезжал хоронить старого друга и товарища по несчастью: их с дядей Жорой «забрали» в Отрадной в один день и вместе везли в армавирскую тюрьму, вместе потом на Колыму.

– Обещаешь помогать? – переспросил дядя Коля. – Тогда берусь!

И я первый протянул ему пятерню: по рукам.

Теперь с болью думаю: скольким я успел помочь! За полвека служения и русской прозе, и журналистике. И почему этого не произошло в случае с очень дорогим для меня человеком? Злой рок?!

Прочитал присланные мне в Москву первые главы, с облегчением понял, что это не привычная графомания, а искреннее исповедальное повествование. И – успокоился.

Мол, человек на верном пути. При деле. Пусть пишет! Прочитаю потом все сразу. Для осмысления и дальнейшей работы – оптимальный, что называется, вариант.

А Николай Прокофьевич буквально «вкалывал». Да еще успевал писать дружеские письма-отчеты. Которые только добавляли мне уверенности в моей правоте: нечего ему мешать. Пусть себе за машинкой сидит. В своей «латифундии». Под Сочи...

Тогда мне и в голову не приходило, что дядя Жора, оформи он все бумаги и получи денежную компенсацию за несправедливую отсидку на Колыме, имел бы возможность поселиться рядом со своим старым товарищем, и я мог бы гостить сразу у них обоих. Утречком бы мы на море рыбачили, после обеда грелись на пляже, а вечером попивали домашнее, из пахучей «изабеллы», вино и слушали старые магнитофонные записи Вадима Козина, тоже магаданского страдальца.

*Скажите, почему нас с вами разлучили?
Зачем ушли, ушли вы от меня?
Ведь знаю я, что вы меня любили...
Но вы ушли. Скажите: почему?!*

Теперь та возможная жизнь, которой в письмах заманивал меня в Дагомыс, в свою «латифундию», дядя Коля, представляется мне потерянным раем. В который я тогда не попал исключительно из-за собственной глупости... Или все-таки по какой-то иной причине?

«Скажите, почему?» – до сих пор рыдает во мне дрожащий тенорок подпольного любимца публики тех далеких времен.

Или дело как раз в них, в иных временах?

Вышло так, что вслед за «папой Хэмом» нас уже стали перекармливать другой литературой. «Лагерной».

Казалось, еще недавно дядя Коля спросил меня: не знаком ли я случаем с таким писателем – Гачевым? Да, Георгием. Знаю?!..

И он прислал мне старую фотографию немногочисленного духового оркестра, на которой наш дядя Жора рядом с Гачевым-старшим, отцом Георгия, оба с трубами. На Колыме.

«Откуда у вас эта фотография?» – удивился младший Гачев, Георгий Дмитриевич. И я указал: «Вот мой родной дядя. Лизогубов его фамилия».

«Да все мое детство прошло под знаком этой фамилии!» – горячо откликнулся Гачев.

Но и это свидетельство известного писателя и неординарного мыслителя не проняло меня, к моему стыду, как должно бы. Стало всего лишь очередным доказательством: занявшись писательством, Николай Прокофьевич, тоже музыкант, великолепный гитарист, нашел себя и здесь, что называется. А я потом к работе подключусь уже как редактор.

Сыграло ли здесь печальную свою роль то, что дядя Жора о душевных своих ранах распространяться не любил? Он даже не подал бумаг на реабилитацию. Он только пил и плакал.

Или так уж судьбой было предназначено? Чтобы я только подтолкнул Николая Прокофьевича к его горькой исповеди. Чтобы свел потом с Георгием Гачевым.

Нынче, раскаиваясь, думаю: может быть, великая «драма-37» для всей нашей родни сделалась настолько семейной, что бытовая обыденность изрядно затушевала ее общественный, социальный смысл?

Вслед за дядей стали крепко попивать его сыновья, двоюродные мои братья: старший Юра и Володя, родившийся уже после возвращения дяди Жоры из тюрьмы. Биография отца, сначала «врага народа», а после горького запивохи, конечно же, повлияла на их пути-дороги. Оба были добры и талантливы. Оба, помотавшись по белу свету, вернулись в станицу, в Дом культуры, душой которого когда-то был дядя Жора. Но артистической карьеры не сделали, делили ставку художника-оформителя, а кормились шабашкой по ближним хуторам да аулам. В самый пик «демократии», когда она еще не открыла откровенного своего оборотнического лика, оба уже интуитивно, наследственным, скорее всего, чутьем почувствовали очередной обман – «дуриловка с обираловкой!» – и спасались печальным юмором.

Когда я однажды приехал в Отрадную и на правах столичного гостя пришел в Дом культуры на какое-то районное торжище «демократов», оба встретили меня у входа, и старший, с видом заговорщика, полушепотом начал: «Как ты думаешь, брат: не «пришьют» нам теперь с Володькой, что намалевали столько плакатов да лозунгов?.. И все – Ленин, Брежнев, Андропов! Не упрячут теперь?.. Ты уж там, если что, заступись на собрании! Они не по идейным, скажи, соображениям. Хотелось кушать...»

В семейной жизни им тоже не повезло. Наследника не оставил ни тот, ни другой. С уходом в иной мир младшего исчезла в наших краях некогда славная, еще от запорожцев доставшаяся фамилия: Лизогубы.

Все вспоминается, как братья мне рассказывали. С чужих слов. Будто однажды поздним вечером, возле танцплощадки рядом с Домом культуры, остановилось такси с армавирскими номерами. Из машины вышел прилично одетый человек лет тридцати и перед решетчатой оградой кого-то спросил: а нет ли среди музыкантов трубача Лизогубова?

Ему ответили: есть. Но он уже «отдыхает». И показали на прикорнувшего прямо на полу,

рядом с оркестровыми скамейками, дядю Жору.

Приехавший на такси будто бы долго в него вглядывался, вдруг зарыдал и бросился обратно к машине. Вроде бы кто-то сердобольный догнал его, спросил: мол, ты чего? Кто тебя?!

И тот лишь произнес: «И это отец!» Упал на сиденье рядом с водителем, и машина умчалась.

Думаю иногда: может, хоть у этого таинственного пассажира с проходящего через Армавир столичного поезда остался продолжатель лизогубовского рода?

Если ему досталась фамилия отца, а не матери. Потому что с материнской стороны «враги народа» наверняка были куда значительней доморожденных отраденских.

Об этом ведь и размышлял дядя Коля в своих записках. Почему я сразу за них не взялся?!

Единственное, что хоть как-то меня оправдывает – наставшие сложные времена. Когда казалось, действительно, Россия – на краю готовой поглотить ее бездны. И бездна эта началась с ущелий Северного Кавказа. В Черных горах.

Отложив остальные срочные дела, я взялся за перевод миротворческого по глубинной сути романа-трагедии «Сказание о Железном Волке» адыгского писателя Юнуса Чуяко. О том, что время на него было потрачено не зря, написал в своем предисловии к роману высоко оценивший нашу совместную с Юнусом работу Валентин Распутин.

В то время я еще явно преувеличивал свою миссионерскую роль. Это потом пойму, что в Майкопе, столице Адыгеи, был таким же наемным работником, как двоюродные братья – «учеркесов» в ауле Мало-Абазинка за нашим Урупом. В бывшем «хуторе Лизогубовка». Только и разницы, что они в домах клали плитку да украшали лепниной потолки, а я разукрашивал адыгейскую прозу.

Как и братьев, вела меня прапамять предков, живших среди черкесов да абазин. Сила эта, оказалось, – великая!

Потом тектонический разлом «красной империи» обозначился в Сибири, в Кузбассе. На моей второй родине. Дорогой сердцу творческой. И на три года я вернулся в город своей молодости. В стальной, в горняцкий Новокузнецк. Где вместе со старыми соратниками по перу и молодой писательской братией мы подготовили три вышедших один за другим специальных выпуска «Роман-газеты». Посвященную металлургам «Кузнецкую крепость». Шахтерскую «Лаву». И «Огненный передел»: тогда в этом некогда производственном термине уже появился кровавый отблеск разборок со взрывами и стрельбой. При хищническом, при компрадорском дележе промышленной мощи день ото дня слабеющей от раздоров страны.

Потом я получил письмо от Михаила Тимофеевича Калашникова. Легендарный конструктор-оружейник предлагал союз в новом для него деле. В создании книги воспоминаний, названной им, когда она была готова, «От чужого порога до Спасских ворот».

Можно ли было отказать патриарху Русского Оружия? Чьи родители на Алтай переселились мало того, что с Кубани – переехали из нашей Отрадной?

Шел 1996-ой год, и вспомним, у кого не отшибло память, какими сами себе мы казались в ту пору униженными, беспомощными и незащитными...

Хотелось вернуть людям веру в собственные силы? Попытаться убедить, что еще не вечер, как говорится. Что будет, в конце концов и на длиннющей нашей, от Влади-Кавказа до Влади-Востока, улице праздник – будет!

Скорее всего, что в ту пору я еще верил во всеисилие героических одиночек, и только после, когда в тиши Национальной библиотеки, бывшей «ленинки», не единожды перечитал не столь объемную книжечку другого Калашникова, Ивана Тимофеевича, жившего в золотом для России девятнадцатом веке и в 1841 году издавшего в Санкт-Петербурге (не слишком ли странное совпадение?! Может быть, промысл Божий? Может – пророчество?) роман-предупреждение «Автомат» – так вот, только после этого мне открылось. Что самое главное оружие самозащиты любой страны – единство народа. Для многонациональной Руси-России – тем более.

Объявленные «Единой Россией» лозунги в этом смысле можно считать прорицанием. Лишь бы они не расходились с делами.

Потому что истинное единство, кроме малоопределенной, нынче самоцельной свободы, предполагает и напрочь забытые, ставшие мифическими понятия, доставшиеся нам от времен Парижской коммуны, и вдолбленные потом в сознание нашей «совковой» пропагандой:

равенство и братство. В том числе и, хотя бы относительное, материальное равенство.

Снова задать сакраментальное: «Скажите, почему?..»

И все прекрасно поймут, о чем я. Все чаще кажется, что есть еще одно, на первый взгляд чуть ли не фантастическое, обстоятельство, мешавшее мне вплотную заняться дяди-Колины-ми рукописями.

Читая «лагерную» прозу (ее премного было и в портфеле издательства «Советский писатель», в котором я заведовал редакцией «русской советской прозы»), и сравнивая ее с «бывальщиной», щедро подпитавшей умеющих слушать еще во времена амнистий пятидесятых годов, интуитивно чувствовал явное несовпадение между обыденными рассказами сидельцев и причесанными, что там ни говори, книгами. В которых цензура уже «сняла все вопросы».

Постепенно я стал исповедовать веру в то, что слово, случайно оброненное непосредственным свидетелем тех или иных событий или рассказанная им коротенькая история открывают куда больший простор для поисков истины, чем чья-либо убедительно выстроенная концепция. И это касалось революции, гражданской войны, раскулачивания-рассказывания, колхозов, лагерей, войны с немцами, «культы личности». «Кукурузника». «Бровеносца в потёмках». «Меченого». Всех свалившихся на нас в прошлом веке бед и напастей.

Более того. Пришедший с годами духовный опыт давал понять: для того тебе и послано необычное знание, чтобы не переставал о нем размышлять. Как раньше, бывало, застревала у кого-то в сознании строчка из былины слепого и в шрамах бандуриста, которого водил бездомный мальчик-поводырь, так заповедано и тебе: думай!

О трагедии народа, к какому принадлежишь.

Может быть, дело в природной общительности? Или сказалась школа сибирской стройки, где просто нельзя было не Выслушать собеседника, который рассказывает тебе «всю жизнь с самого начала». А в итоге ты попросту притягиваешь к себе разного рода информацию и постепенно превращаешься в невольного ее сортировщика и, что делать, в аналитика-добровольца.

Так вышло, что после съемки в Отрадной художественного фильма «Брат, найди брата» по одноименной моей повести, мне пришлось выступить в роли ведущего трех документальных фильмов о Северном Кавказе, и первый был «Хранитель». О народном ученом и природном философе Сергее Даниловиче Мастепанове, всемирно известном собирателе пословиц. За одну из них, весьма справедливую («Хорошо в коммуне жить – один робить, два лежить») ему пришлось расплатиться десятью годами «Ухтпечлага», где и произошла с ним некая странная история...

По причине богатырского здоровья он был отобран в бригаду «для особо тяжелых работ» и кроме этого успевал помогать больным и слабым. Но укатали Сивку крутые горки!

Помирал в палате для безнадежных доходяг, когда его тайно навестил старый поляк, заключенный, которому перед этим Сергей Данилович спас жизнь, и которого потом помогал выхаживать.

Теперь он заставил Мастепанова съесть при нем, чтобы не осталось следов, несколько долек шоколада и стал говорить приличествующие обстановке прощальные слова.

Но умирающий Мастепанов вдруг еле слышно выговорил: «Как же вы тут без меня остаетесь?»

Эта жертвенность явно растрогала старого поляка. Его будто прорвало.

«Он, видно, успел так по лагерям намолчаться, что теперь ему надо было высказаться, – размышлял Сергей Данилович. – Тем более, что ничем не рисковал: я уже был, считай, труп».

Вот смысл услышанного Мастепановым: «Благодарю тебя, мой сын! Я никогда не думал, что русский казак может быть таким добрым. Если даже он – школьный учитель. Поэтому хочу, чтобы ты покинул этот мир в твердой уверенности: мучитель твой будет жестоко наказан. Ради этого я и делил тут с тобой хлеб и воду. Откуда, думаешь, этот шоколад, который ты только что съел?.. Он из Швейцарии. А начальник лагеря, который не хотел, чтобы его передали и отправил меня на сплав, уже получил свое. Хорошо еще, если его не расстреляли. О!.. «Полярные медведи» – люди серьезные и ничего не прощают. Я один из них. Более того, я – инспектор. Это третья моя «берлога», две первых были в Архангельске и Воркуте. Потом меня переведут на Урал, а дальше – «Сиблаг» и Магадан. Скорее всего начальники там умней здешнего и помогут американцам забрать меня. Я только родом из Польши, а всю жизнь

живу в Штатах – я там дома!.. И я сперва отдохну и отмоюсь от лагерной грязи, а потом примусь за доклад для старых «полярников», они его очень ждут. Уходи в иной мир спокойно, мой добрый, ласковый сын. Я ничего не забуду и ничего не пропущу. Потому что я – будущий свидетель на страшном суде, который ждет нашего мучителя!»

Но Мастепанов остался жив. Другой поляк, по словам Сергея Даниловича – бывший министр иностранных дел Польши, который почему-то «был в контрах» со стариком-«полярником», однажды ночью тайно привел в лазарет несколько общих товарищей-«интернационалистов» (недаром же будущий знаток «всемирного паремиологического наследия» приобрел в «Ухтпечлаге» знание пяти иностранных языков).

Пришедшие стали полукругом у изголовья Мастепанова и шепотом повели жалостный разговор, надо думать – заранее хорошо отрепетированный. Мол, как жаль, что Сергей помер именно в тот день, когда ему пришло помилование!

И затухающая жизнь взяла в нем своё: как это – помер?! Нет, братцы, не-е-ет!..

Когда стал на ноги, старого поляка в лагере уже не было.

Перевели в приполярное Зауралье.

Судя по этому раскладу, не товарищ Сталин спас Россию – это она спасла товарища Сталина. От международного, на манер Нюрнбергского, суда, который, победи фашизм, мог бы состояться в разоренной Москве или полувымершем Ленинграде.

И обвинительные речи произносили бы на нем не только немецкие юристы, но также английские и заокеанские их коллеги из всех существовавших тогда и продолжающих существовать тайных «берлог». И в перерывах, либо когда заседания затягивались, все баловались бы шоколадом из вечно благоденствующей, гуманной и дружелюбной Швейцарии.

Подумать только, заложниками каких многоходовых игр мировой закулисы выпало стать нашим ни сном, ни духом об этом не ведавшим, слишком доверчивым соотечественникам!

Или должны были предчувствовать?.. И должны были помнить, что ни одно клятвопреступление добром не кончается. А чем, как не очередной русской смутой, была и Октябрьская революция, и последовавшая за ней братоубийственная война?

Откуда взялись «тямоньки»-то?

Еще не так давно станичники гордились, что перед главной русской трагедией в нашей Отрадной существовала чуть ли не самая многочисленная на Северном Кавказе большевистская организация. Крупнее екатеринодарской и ставропольской.

Как-то, уже в «перестроечное» время, с отцом Сергием Токарем, который был тогда армавирским благочинным, мы приехали в станицу Спокойную, чтобы собственными глазами увидеть чудо.

На внутренней стене старой деревянной мельницы осыпалась известь от давней побелки, и под нею проявился лик Бога-Саваофа.

И в самом деле, не диво ли?..

Но вот я рассказал о нем в Краснодаре писателю Петру Придиусу, светлая ему память. Старшему другу-земляку, родом из соседней станицы Бесстрашной. И он сперва долго покачивал головой, как бы что-то припоминая и воедино складывая. С горькой усмешкой сказал вдруг:

– Ну, не подлецы, а?.. Старые-то мои станичники. Ты знаешь, где устроили подпольную типографию? В святом месте. В церкви! Батюшку сумели уговорить. И все равно это не помогло. Когда пришла пора рассказывания, его чуть не первого сослали в Архангельск, а церковь разобрали на бревна. Увезли в Спокойную, говорила мама, построили мельницу. Для коммуны. Знаю, где это, знаю, она показывала... Ну, и Саваоф-то терпел, видать, терпел, бедный, а потом решил объявиться. И смех, и грех, что тут скажешь?

А ведь, и правда!..

Мне тогда невольно припомнились другие земляки. Сибирские. Татары кузнецкие. Шорцы. И в девятнадцатом веке их называли «двоеданцами»: еще недавно платили дань и русскому царю, и прежним покровителям, тюркским владетелям.

Но мы-то, мы?

Русаки. Еще недавно – хребет России.

Не д в о е д о н ц ы ли?

«И нашим, и вашим...» И «помазаннику Божиему». И – его будущим убийцам.

Вот она и расплата.

Но и то правда, что «Тямоньке» с его пропахшей постирушкой несчастной матерью девять-то было некуда. «Рыба ищет, где глубже». Это самой собой. На все времена.

Не стану заниматься самоцитацией, об этом уже писал. Как в бурные дни начала прошлого века, приехавшая на плодородную Кубань «кацапская» голытьба, поселившаяся окрест станицы Новокубанской, скинулась на покупку земли у барона Штейнгеля, с тем, чтобы поделить ее потом на паи. Уже, как говорится, ударили по рукам, когда на торге появился один из крупнейших в то время на русском Юге землевладельцев: Захар Щербак. Накинуть на десятину копейку было для него плевое дело, накинул, забрал землю. В Новокубанке пошли волнения. Утихомиривать бедноту прибыл казачий полк. И, виданное, вроде бы, дело: командовавший казаками полковник докладывал потом в Екатеринодар, что бунтари – «иногородние» правы. Земля для них – дело жизни и смерти.

А с Щербаком потом жестоко расправились в Гражданскую.

Такая страна – Россия: сами провоцируем гнев Божий, который у писателя Александра Исаевича Солженицына, родного внука нахрапистого богача Захара Щербака, образно назван «Красное колесо». Сами потом под этим «колесом» гибнем. И сами же, считай, об этом, с обличительной страстью, повествуем.

Но что делать?.. Благодатный Северный Кавказ всегда был на прицеле у мировых управителей. Об этом есть роман талантливого кабардинского писателя Эльберда Мальбахова. Эльберда: «Страшен путь на Ошхомахо». Об этом же позднее писал еще один искренний радетель российского Юга, тоже кабардинец, Тенгиз Адыгов. Тоже в романе интереснейшем: «Щит Тибарда».

С одним из русских знатоков Северного Кавказа год или два назад стояли на Краснодарском автовокзале, в ожидании моего рейса в родную станицу. Объявили прибытие междугороднего автобуса «Санкт-Петербург – Пятигорск», и я невольно удивился: мол, такая даль. Ничего себе!

Провожатый мой улыбнулся:

– Маршрут «Санкт-Петербург – Сан-Пятигорск»!

– Молодец, – одобрил я с нарочитой завистью. – Словотворец!

Он вдруг посерьезнел:

– А тебе неизвестно, что перед первой мировой Пятигорск был столицей русского масонства? И в годы революции... Оплот был!

– Стоп! – я перехватил – Не хочешь ли ты сказать, что и в гибели Лермонтова есть след...

Подошел, наконец, автобус, которого мы ждали, и мой провожатый-энциклопедист не дал мне договорить. Обнял меня и подтолкнул ко входу:

– Не берусь утверждать, как там было с нашим Михал Юрьичем, но то, что это они приговорили командарма Сорокина, факт.

И когда уже я посмотрел на него сквозь окно автобуса, красноречиво развел руками.

И правда что: как этот северокавказский калейдоскоп разгадать?

И только ли он – северокавказский?

В запоздалое свое оправдание допускаю, что подсознательно мне хотелось увидеть в повествовании Николая Прокофьевича решение некой сверхзадачи. Как можно ближе к истине объясняющую смысл и размах «сталинских репрессий». Ведь дело не только в природной жестокости «усатого тирана». «Ёськи-гуталина». Кто-то ею очень ловко воспользовался.

Имею в виду не мелких доносчиков, почти до бесконечности увеличивших число отечественных «двоедонцев», нет. Речь о могущественных игроках мировой закулисы...

...То было благословенное для меня время, когда в станице собирались вместе три моих старших друга: Мастепанов, Смирнов и Ложкин. Как и Сергей Данилович, тоже бывший учитель и удачливый краевед-археолог. О чем только в те часы мы не беседовали, и для меня, давно к тому времени не только «большенького», как в Отрадной определяли «разумный» возраст – давно седого, то были незабываемые уроки.

О них, собственно, об этих уроках терпения, добра и мужества, с режиссером Северо-Кавказской киностудии документальных фильмов Игорем Икоевым мы сняли и «Хранителя», о Мастепанове, и ленту «Где Ложкин прячет золото?» И тут и там виднелся на втором плане и

Николай Прокофьевич Смирнов. Дядя Коля. Уже сидевший тогда в своей «латифундии» над рукописью о Колымских годах своих отрядненских земляков.

Но я ему так и не помог.

Более того. Уже издавека, теперь с острой болью, осязаемо ощущаю, как на закате жизни усилил горечь его многострадальной судьбы.

Хорошо понимаю, что за это нет мне прощения.

И все же молю теперь: простите меня, дорогой Николай Прокофьевич!

Дядя Коля, милый, прости...

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

От автора

Я хочу написать о моей родной станице Отрадной, где я родился и вырос, но прожил всего-навсего 21 год, после чего «меня расстали с ней на всю жизнь». Но до сегодня у меня только светлые воспоминания о том времени.

Эти воспоминания – часть общей истории моей исковерканной жизни, продолжать писать которую я буду, как историю трагедии нашей семьи.

Есть история такой же искалеченной жизни моего друга Жоры, которую я предлагаю в этих воспоминаниях. Все это чистая правда, от начала до конца, без фантазии или вымысла – всё истина, только написанная не в хронологическом порядке и не профессионально – я же не писатель. По профессии я музыкант, как и мой друг Жора Лизогубов из станицы Отрадной, что на Кубани. Нас в 1937 году вместе арестовали, но увиделись мы с ним только через 10 лет, уже на Колыме, в 1947 году.

К тому времени я уже освободился из лагеря и был на гастролях с Магаданским театром в пос. Ягодное, где и увиделся с ним (мне было определено 8 лет, а Жоре – 10, он ещё до ноября 1947 года был в лагере. Освободившись в ноябре, через два месяца он уехал (в феврале 1948 года) домой. Мне же ехать было некуда (там, в станице, меня никто не ждал). Я остался работать на Колыме и пробыл, работая в театре, в Магадане, до 1981 года. Об этом я продолжаю писать воспоминания о моей жизни.

До 1937 года я работал в Отрадной счетным работником, в Госбанке, начинал, как бы карьеру бухгалтера, но потом, после лагеря, бухгалтерию забросил и стал работать в театре музыкантом – официально по-театральному – «артистом оркестра»...

Здесь же, в этом театре, я одно время работал в бухгалтерии по совместительству – днём в бухгалтерии, а вечером в оркестре. Но пришлось уйти из бухгалтерии – слишком большая нагрузка: целый день и ночь; почти все спектакли кончались в 11 часов ночи...

В 1962 году я был назначен инспектором оркестра – административная должность (по совместительству играл уже на валторне и был как бы помощником дирижёра по административной части, заведовал театральной библиотекой). На этой работе в театре работал до 31/ХІІ-74 года – ушел на пенсию. Но пробыл на пенсии, не работая, как пенсионер, недолго, заскучал без коллектива и пошел на работу опять в театр, но уже на административную работу – администратором, снабженцем, о чём придётся мне написать подробнее.

Кто с театром хоть раз в жизни был связан, ну, хотя бы на 5-7 лет – тот уже другой работы в дальнейшем себе найти не может. И не обязательно быть артистом. Артисты театры меняют, переходят из одного в другой постоянно. Мало есть таких, которые без перерыва работают в одном театре долгое время – это не касается артистов Московских театров и некоторых Ленинградских... Обслуга же театральная – одевальщицы, реквизиторы, портные, контролёры, гримёры, и некоторые другие работники не творческого состава, раз приобщившись к театру – оставались в нём до глубокой старости, работая непрерывно по 25-30 и даже больше лет, никогда не жаловались на выбор профессии, и никогда не изменяли театру.

Мне также пришлось проработать в Магаданском театре с июня 1945 года по март 1981 года, что выходит около 40 лет... Недаром есть такая театральная поговорка: «В театр не поступают на работу, а попадают как под трамвай или под поезд... Раз – и навсегда!..» Поэтому я очень хорошо знаком с театром...

Немного воспоминаний <...> я написал для себя и для тех, кому доведётся прочитать мои

«записки», и не боюсь расстроиться. Есть такое выражение: «вспомнить прошлое – значит всё вновь пережить»... И я решился на последнее, хотя это, как говорится, «удовольствие ниже среднего»... Пусть будет так...

I

Футбол. Лёня Оглоблин. Учёба в Петрозаводске. Голод. Работа на Дальнем Востоке. Возвращение в Отрадную. Арест отца. Писарь в НКВД. Антисоветские слухи. Охрана колхозного имущества

Когда я работал, мне всегда не хватало времени, мне казалось, что я не всё сделал и всё торопился. Мне жена говорила, что 24-х часов в сутки мне было мало. Как она шутила: «Ты работаешь 26 часов в сутки, «встаешь» утром на 2 часа раньше...»

Я всегда был активным, был пионером, потом комсомольцем, время находилось и для оркестров – духового и струнного. И в то же время меня страстно тянуло в спорт, который в Отрадной в те времена, – я всё имею в виду до 1937 года, – был в моде: была отличная футбольная команда из старших комсомольцев, была секция лёгкой атлетики (прыжки с шестом), была секция вольной и французской борьбы. Меня увлекал футбол, и я пацаном, каждый день «дежурил» за воротами и подавал мяч вратарю, когда мяч летел в ворота или мимо. Нас было двое-трое мальчишек, которые по очереди бегали за мячом и подавали его вратарю, конечно, при этом ударив мяч ногой, в этом заключался высший смысл нашей «помощи» вратарю. Каждый вечер была тренировка у взрослых футболистов, а мы, мальчишки, уже на своих местах, ждём, когда мяч полетит за линию ворот. Сеток в воротах тогда не было, это была бы роскошь по тем временам!.. Я полюбил эту игру, как, впрочем, и все мальчишки того времени, и у нас вскоре образовалось несколько команд юных футболистов. Мяч у нас был резиновый, раз десять перешитый и набитый тряпками. Тогда и во сне нам не снился настоящий футбольный мяч! Собиралась куча пацанов, делились на две партии поровну. Капитаны из общей кучи выбирали по очереди по одному игроку, бывало и по 11, и по 15 человек в команде, бывало и по 5-8 человек. Всё зависело от погоды и кому не запрещали родители выходить на улицу, а таковые были и в то время, как, впрочем, и в настоящее. И вот мы где-нибудь на пустыре, или на не вспаханных ещё огородах, с утра до вечера, без усталости, как оглашенные (так нас старухи называли), истово гоняли бедный мяч до упаду, а потом бегали на речку Уруп купаться. Всё лето, до самых холодов, слышно было буханье нашего мяча! Играли босиком, чтобы не покалечить друг друга, разувались обязательно. Однажды, дежуря за воротами, я познакомился с таким же, как я, подавальщиком мяча – Лёней Оглоблиным, который, как я потом узнал, приехал «на курорт» с мамой из Карелии. На Кубани были продукты подешевле, так было, по крайней мере, до 1932 года, в Отрадную много приезжало народу «на дешёвый базар», да и климат на Кубани был не то, что в Карелии. Мама его работала зоотехником, а отец был начальником планового управления Карельского ЦИКА. Я с Лёней сдружился на футболе, и по окончании семилетки в Отрадной, решил поехать к Оглоблиным в Петрозаводск, вместе с Лёней поступать в Гидротехнический техникум. И в октябре уехал к ним.

Поехал я в октябре и, конечно, опоздал. Начало занятий и тогда было с 1-го сентября, хотя я и поступил на гидротехническое отделение. Приняли меня с условием, что я наверстаю пропущенные занятия. Жил сначала у них, ходили с Лёней на занятия вместе. Учиться мне было трудно. Из дому мне никакой помощи не было, потому что на Кубани началось голодное время (зима 1932 и начала 1933 года), какое, впрочем, наступило и в Карелии. Студентов кормили очень плохо, дома у родителей Лёни тоже не было никаких запасов. Мама Лёни надеялась на то, что мне с Кубани будут «подбрасывать посылочки», а там сами сидели, как говорят, «на сухарях». И тогда мама Лёни меня переселила в интернат при техникуме. И вот я стал, как и все студенты, а больше половины были приезжие из районов Карелии, то есть стал полуголодным студентом. Нам приходилось ходить на железнодорожную станцию и там подрабатывать на разгрузке вагонов, иногда шпалы выгружали. Получали денег не так много, но сразу по окончании работы всей компанией шли «питаться» куда-нибудь на базар или в ресторан. Такой был в Петрозаводске, в котором и днём, и вечером было всего два блюда – это суп со сметаной, треска жареная и чай. Вот там мы и подкреплялись. Я не

смог наверстать пропущенные занятия и хорошо учиться, чтобы получать стипендию, и мне в ней отказали. Из дому получал плохие вести и не выдержал полуголодного учения, в конце апреля 1933 года, как раз под 1-е мая, уехал на Кубань, в свою Отрадную.

Тогда, по городам уже продавали так называемый «коммерческий хлеб», он был дороже того, что давали по карточкам, но и его в магазинах было ограниченное количество, всегда стояли большие очереди за ним. Я в Ростове, на вокзале, с большим трудом купил полкило белого хлеба, половину сам съел, а половинку привёз домой, в Отрадную, там его не было в продаже. И на мой кусочек белого, уже зачерствелого хлеба, все смотрели как на какое-то диво!.. По карточкам второй год давали только кукурузную муку и то очень мало, и только работающим в учреждениях или на предприятиях. В силу этого мой отец бросил портняжничать, некому, да и не из чего было шить на заказ, и поступил на работу кассиром-помощником бухгалтера в Отрадненскую МТС, куда и мама вскоре перешла, стала там работать машинисткой-ученицей. Получали две хлебные карточки и три основные, и на детей! Я по приезду из Карелии поступил работать на почту – кассиром заказного отдела. Принимал посылки, телеграммы (на эту работу меня направил комсомол), потом перешел на работу в «Заготзерно» помощником бухгалтера, где проработал до мая 1934 года. Я сам получал свою рабочую продуктовую карточку, хлебную, больше ничего по карточкам у нас тогда не выдавали. До мая 1934 года отец с матерью работали в Отрадненской МТС на прежних должностях.

В конце мая 1934 года, мы всей семьёй: отец, мать, я, две сестрёнки и бабушка (по отцу) поехали на Дальний Восток, как говорили тогда, «за длинными рублями». Уехали по советам и уговорам отцовской младшей сестры, тёти Тони, и её мужа, которые в 30-м году отправились из Отрадной в поисках «лучшей жизни» на Сахалин (завербовались). Тогда они приехали в Отрадную в отпуск. Родители продали домик бабушки Саши, в котором мы жили, и все, такой вот большой компанией, поехали в город Свободный. Там был гострест «Амурзолото», завербовались и поехали в Стойбинский «Золотопродснаб» (пос. Стойба, Экимчанского района), мать – машинисткой, отец и я – помощниками бухгалтера.

Там нам дали квартиру, устроились хорошо. По тем местам сейчас проходит железная дорога БАМа. Но весной 1935 года я внезапно заболел тропической малярией. Болезнь коварная, и по предписанию врача мне пришлось расторгнуть договор. Я снова уехал на Кубань, надо было переменить климат, иначе от малярии было не избавиться.

Возвратился снова в родную станицу, поступил на работу в Отрадненское отделение Госбанка операционистом группы товарооборота, и на этой работе я проработал до самого дня ареста – до 18 ноября 1937 года...

Родители проработали весь срок договора, три года, и в июле 1937 года вернулись всей семьёй домой, т.е. в Отрадную, купили небольшой домик с сараем и больше никуда не уезжали. Младший брат Саша учился в Прохладненском техникуме овцеводства и на Дальний Восток с нами не ездил. Бабушка Саша осталась с отцовой сестрой на Дальнем Востоке, но по дороге, возвращаясь к нам в конце 1937 года, попала в железнодорожную катастрофу и пропала, концов так и не нашли. В декабре 1937 года отец был арестован, его судила тройка – что это такое тройка, и как она судила, я напишу отдельно. В 1947 году отец вышел из лагеря и был, как и все, реабилитирован только в 1954 году. В лагере он работал портным. После лагеря, в пос. Пукса Архангельской области (там и был лагерь) он работал заведующим местной портновской мастерской, вышел на пенсию, уехал в Ростов-на-Дону и там умер в 1979 году на 91 году жизни...

Как кандидат в члены ВЛКСМ, выполняя поручение комсомола, я был послан райкомом ВЛКСМ в НКВД к уполномоченному Агаркову (до сих пор помню его фамилию, он был прислан в Отрадную из крайкома на время раскулачивания), который дал мне поручение переписать пофамильно и постановочно небольшую группу арестованных раскулаченных из станиц Удобной, Спокойной, Преградной (это все станицы Отрадненского района). Дал мне и форму списка по графам: Ф.И.О., когда арестован и в какой станице, этот список я и делал. Во дворе районного НКВД к моему столу, где я сидел, по очереди подходили мужчины, пожилые и молодые, хорошо одетые. Я их записывал в этот список. Перед этим мне было сделано предупреждение о том, чтобы я ни в какие другие разговоры не вступал и кроме фамилии, когда арестован и где, ничего больше не спрашивал у них, что я прилежно и делал, записывая только то, что мне было поручено. Мужчины эти держались непринужденно и между собой

разговаривали так, как будто меня тут и не было, т.е. они меня абсолютно не считали за какого-нибудь начальника или порученца. Охотно отвечали на мои вопросы, не переставая разговаривать между собой. Некоторые меня спрашивали: «Ну а дальше куда нас повезут?..» Я говорил им, что мне это неизвестно, хотя и знал, что их вывезут в калмыцкие степи, там какое-то село, не то Дивное, не то Длинное, в общем, куда-то под Астрахань. Об этом нам говорил секретарь РК ВЛКСМ, предупреждая, чтобы не особенно об этом говорили.

Вот тут я и услышал от этих мужиков рассказы о том, кого и за что арестовывали. Один мужчина говорил, что его обвиняли в том, что он агитировал против вступления середняков в колхоз и говорил, что после обобществления всего домашнего скота, будут и всех жен, баб обобществлять, т.е. жены будут общие, колхозные... Для этого, мол, в мастерских шьют большущие, длинные и широкие ватные одеяла, под которыми и будут спать все колхозники во время полевых работ. Домой никого отпускать со степи не будут, пока идёт пахота, сев или уборка, все будут работать вместе и спать на ночь ложиться будут под одно колхозное одеяло, которое трактором будет натягиваться на всех подряд лежащих мужиков и баб. Я это слышал собственными ушами, меня это просто потрясло, и я и верил, и не верил этому, но дома об этом рассказал и получил от отца нагоняй и строгий наказ – никому об этом не говорить и ничего по этому поводу не расспрашивать ни у кого. Но я всё же осмелился, у этого самого уполномоченного Агаркова все-таки спросил, и рассказал ему, где это я слышал. Он рассмеялся при этом и сказал мне: «Вот за эти разговоры мы их и арестовали и раскулачили. Они сами не хотят идти в колхозы и других отпугивают такими сказками»... Этого мне было вполне достаточно для того, чтобы я не сомневался в том, что таких надо обязательно раскулачивать. И так думал не я один, в то время ещё совсем юноша, не очень-то тонко разбирающийся в политике, считал, что так и надо.

Эту партию арестованных я переписал, как мне поручили, список отдал уполномоченному Агаркову, что дальше было с теми мужиками, я ничего не знал. Их куда-то увезли. Больше меня не посылали в НКВД.

Помню ещё, как во время этой переписи, один из мужчин спрашивал меня – откуда я, местный, отрядненский, или приезжий, как этот уполномоченный Агарков? Я ответил, что я не приезжий, местный – отрядненский – фамилию они не спрашивали, а сам я им её не сказал.

Эту подробность я описываю потому, что позднее, уже в 1937 году, когда меня самого арестовали, в том же НКВД, в нашей Отрядной, меня на первом допросе уполномоченный уже Отрядненского НКВД упорно спрашивал и всё добивался от меня утвердительного ответа на его вопрос: «Знаю ли я, или раньше знал ли некоего Ляхова, жителя станицы Удобной»? Я ответил, что никогда там у меня не было знакомых, и эту фамилию я слышу в первый раз. Но следователь упорно настаивал на этом вопросе и всё добивался от меня ответа положительного. Но я его не знал, и так ему и сказал. Тогда он мне напомнил, с кем и о чём я, якобы, разговаривал в то время, когда, выполняя комсомольское поручение, я переписывал тех самых мужиков из станиц Удобной, Спокойной и др. И я, вспомнив об этом поручении, сказал этому следователю, что мое дело было их пофамильно переписать, что я честно и сделал, и что список переписанных отдал уполномоченному Агаркову. Следователь усмехнулся и сказал мне: «А знаешь ли ты, где сейчас тот Агарков», и засмеялся... Я не понял тогда этой «шутки», и только много позже узнал, куда девался тот Агарков. Как ни пугал и как ни старался уполномоченный заставить меня «знать этого Ляхова», я категорически отказывался, и так ему не ответил положительно, потому что я не знал никогда этого Ляхова. Дальше, когда я буду описывать подробно, как и когда меня арестовали, и как велось «следствие» – этот случай с Ляховым выразится в конкретное «обвинение» и будет одним из доводов обвинить меня в непосредственном участии в контрреволюционной террористической группе, которая, якобы, в 1937 году или раньше существовала в нашем Отрядненском районе, на Кубани. Это, по «мнению» следственных органов НКВД, в 1937 году, т.е. после окончания гражданской войны на Кубани, которая закончилась полностью в 1920 году, а мне тогда было всего 4 года!.. Да и мог ли я участвовать в контрреволюционной организации?

Даже во времена после раскулачивания, во времена сплошной коллективизации, когда я уже был принят кандидатом в члены ВЛКСМ, т.е. в 30-е уже годы – никто, и никогда даже и не слышал о каких-нибудь организациях, выступавших против советской власти, и я был,

как будущий комсомолец, одним из активных кандидатов, принимал деятельное участие в охране от поджогов колхозного имущества, стогов необмолоченной пшеницы...

Охраняли мы «колхозное добро» группами в 4-5 человек со старшим комсомольцем во главе, у которого был револьвер, а нарушители, которых много было поймано нами на месте преступлений – все были из детей раскулаченных, их родителей увезли в места поселения, а их дети или другие родственники оставались специально для «мести властям», они поджигали стога необмолоченного хлеба, поджигали колхозные конторы и хозяйственные постройки...

И все это было в 1930-32-х годах – когда, как я уже описал выше, я был в комсомоле, был одним из активнейших музыкантов нашего духового оркестра, который был единственным на весь обширный Отрядненский район...

II

Синяя блуза. Духовая музыка. Бандит Козлов

Была в Отрядной и «Синяя блуза» – самодеятельная концертная бригада профсоюзников, состоявшая, в основном, из активных членов тогдашнего комсомола.

Я участвовал в составе оркестра струнного, а потом и духового в концертах «Синей блузы». Мы и по району ездили, выездные концерты давали в станицах Попутной, Казьминке, Спокойной, Удобной и др., где не было никакой самодеятельности. Отец мой в то время был очень активным общественником, руководителем струнного оркестра и хора, причем никто и никогда в то время даже не заикался на тему – «а что я буду за это иметь», как поется в одной песне. Все участники были просто любителями искусства. Наш дом был как клуб. Особенно в плохую погоду, по вечерам, у нас были очень часто репетиции оркестра или «спевка» – тогда так называли репетицию хора, приходили просто разучить своё пение отдельные хористы или проиграть вдвоём-втроём свою партию оркестранты. Отец целый день шил, сидя дома, а вечерами ноты писал чуть не до рассвета, или проводил репетиции с хором или оркестром. Так что я с самого детства был, как говорится, приобщен к искусству. С пяти лет я начал играть на балалайке, потом научился играть на мандолине и гитаре. Был у меня один дружок, постарше меня года на три, он немного играл на гитаре, я его научил аккомпанировать мне под домру или мандолину. Мы с ним по вечерам, в местах гуляний, в роще, в саду – там, где собиралась молодежь – всегда были, как говорится, желанными гостями. Играли всё, что надо – под песни и танцы, играли сколько надо, и что скажут нам – и все были довольны. Ведь в то время радио ещё не дошло до нашей кубанской глухомани. Всё было самодеятельно и делалось просто от души, о плате никто не думал. Это теперь говорят (повторяя за Ф.И. Шаляпиным), что «бесплатно только птички поют»... А мы в то время не стеснялись быть птичками в одной компании и находили большое удовольствие от такого рода самовыражения, весело было нам и нашим слушателям – молодежи. Вот так и проходили мои пионерские годы...

В это время я был и участником духового оркестра в Отрядной, который намного раньше обосновали несколько жителей Отрядной, бывших солдат старой армии, музыкантов. Некоторые возвратились домой после войны, революции и гражданской войны со своими собственными духовыми инструментами, подаренными им начальством за то, что они играли в составе того большого сводного военного оркестра царской армии, который играл в 1913 году на торжествах в дни 300-летия дома Романовых.

В нашем оркестре таких музыкантов было двое. Оркестр состоял из 13-16 человек. Несколько инструментов остались в бывшем доме атамана станицы, брошенные музыкантами в то бурное время. Все как один наши духовые инструменты были очень старыми, ветхими, помятыми, десятки раз запаянные и залитые воском. Играть на них было не так легко, но музыканты всё же играли на них. Новые инструменты – уже выпуска Ленинградской фабрики – были приобретены только в 1935-1936 годах. Базировался наш оркестр при «Осоавиахиме», музыканты были любители, далёкие от профессионализма, но играли в оркестре только из-за любви к искусству, к музыке. На зарплате был лишь наш руководитель оркестра. Во всём районе оркестр был единственным, поэтому нам приходилось очень много разъезжать по станицам и хуторам района.

Время было очень бурное и трудное: начало коллективизации, раскулачивание кулаков-богатеёв, которые оказывали сопротивление коллективизации. С их стороны началась месть и открытый террор, убийства активистов, поджоги колхозного необмолоченного хлеба в скирдах, колхозных построек, травля скота и пр. Почти каждый день были происшествия: то убили милиционера, то члена сельсовета, то какого-нибудь активиста, то жену какого-либо партработника, то председателя сельсовета или оперативника НКВД. Нашему оркестру приходилось очень часто играть на таких похоронах как в Отрадной, так и на выездах по району. Конечно же, все праздничные торжества, в том числе и местного значения, как, например, начало посевной или уборочной компании, или окончание уборочной, или собрание по чистке партийных рядов или еще какое-нибудь общественное мероприятие – наш оркестр всегда был «при деле»!..

На похоронах музыкантов угощали за поминальным столом, а все игры не похоронного характера – были без оплаты, на общественных началах. Оркестранты были уже довольны лишь тем, что им пришлось ещё раз продемонстрировать свою любовь к искусству, лишний раз получить одобрение слушателей, любителей духовой музыки. В местном летнем саду отдыха, который называли в Отрадной «Профсоюзным садиком» (он был на том месте, где теперь построен Дом культуры Отрадной, позади, за самим Домом) была эстрада-раковина и перед ней несколько рядов скамеек для слушателей. Наш оркестр два раза в неделю регулярно в этой раковине-эстраде играл просто так, для слуха, без всяких билетов, играл модный в то время так называемый «садовый репертуар»: марши, вальсы, некоторые романсы, песни и т.д. Никогда и никто из музыкантов не думал о какой-нибудь плате за это. Играли для души, а любители духовой музыки с удовольствием слушали выступления нашего оркестра, наши концерты под открытым небом, аплодировали нам от души, и все были довольны!..

Среди членов этого оркестра были и старички, убелённые сединами, бывшие военные музыканты, было и много молодежи – местных любителей музыки, в их числе было двое совсем малолетних пацанов – это был я и ещё один такой же подросток. Мы сначала с ним играли на альтях, потом стали играть на трубе. Повторяю, что оркестр был единственным в районе и поэтому спрос на него был большой. В районе было около десяти станиц, много хуторов и посёлков, и мы буквально чуть ли не через день куда-нибудь выезжали на игру или на торжество, или на похороны.

Помнится мне такой случай. Летом, в 1930-м году, к нам в станицу прибыл кавалерийский полк красноармейцев с оркестром. Об этом мальчишки быстро узнали, и мы пошли к ним, к музыкантам полкового оркестра. Узнали, что рано утром полк выступает в станицу Удобную – это 20 с лишним км от Отрадной в горы. А за день до этого, там же, в Удобной, был убит оперативный работник НКВД, и наш оркестр поехал на его похороны. Там мы узнали, что полк красноармейцев имел задание поймать живым бандита Козлова. Этот бандит – настоящий враг Советской власти, в предгорьях скрывался ещё с 1918 года, его никак не могли поймать. Он, как руководитель банды, вместе со своей дочкой наделал много бед в станицах предгорья. Убивал местных активистов, партийных работников, поджигал колхозные постройки, хлеб в стогах, губил колхозный скот, в общем, был активнейший враг советской власти, причём с оружием в руках. Его давно заочно приговорили к расстрелу, но он был неуловим, всегда, видимо, предупреждался сочувствовавшими ему, уходил, скрывался в лесах до 1930 года.

И вот этот полк, этого Козлова, как волка, обложил в лесах со всех сторон, и он был вынужден сдаться. Дочку свою он сам убил и без кровопролития был взят в плен. После похорон оперативника мы ехали домой на подводах, и видели, как впереди нас везли этого бандита, тоже на подводе, со связанными руками. Его потом судили в краевом центре, из его банды к тому времени никого не осталось в живых. Последние годы он действовал со своей дочкой.

III

Священник Бессарабов. Закрытие Отрадненской церкви. Баянист Филимонов. «Фапса». Директор Нижегородской ярмарки Богомолов. Станичный юмор

Недавно на улице увидел одного деда, который мне почему-то показался знакомым, вроде я его когда-то, где-то встречал и знаю. Я никогда не жаловался на свою зрительную память, как говорится, миллион мыслей в секунду, и я вспомнил вот что: до 1933 года в Отрадной был такой красный партизан гражданской войны – так называли всех участников той войны, боровшихся за советскую власть – бывший пулемётчик Бессарабов. Надо сказать, что в нашем районе много было красных партизан, в Отрадной было даже два орденоносца Красногос Знамени – Шпилько Назар Трофимович и еще один партизан, впоследствии спившийся. А Шпилько был долго бессменным директором Отрадненской МТС. Такие машинно-тракторные станции всюду организовывались в ходе коллективизации по стране. Так вот, этот Бессарабов, оказывается, был священником в Отрадненской церкви в годы Первой мировой войны. Во время гражданской войны он из церкви ушел в партизаны и там проявил себя как настоящий боец, был пулеметчиком в отряде партизан нашего района. После гражданской войны он снова стал попом в церкви, и его в Отрадной стали называть не иначе, как «советский поп».

При «советах» он продолжил служить в церкви Отрадной. Во время своих богослужений он не предавал анафеме советскую власть, ничего плохого никогда не говорил в своих проповедях по адресу коммунистов и работников аппарата советской власти. Наоборот, иногда, если позволяли обстоятельства, он в проповедях, как умел, говорил о них доброжелательно. По этому поводу у него были свои неприятности в отношениях со своим церковным начальством. Я эти подробности знаю потому, что мой отец был руководителем большого «светского хора» (так называли в то время хор теперешней самодеятельности), в отличие от хора церковного, которым также руководил мой отец, как большой любитель пения. Хористы у него были почти наполовину состоявшие в обеих хорах. Молодежь «светского хора» ходила петь и в церковный хор. Но из людей старшего возраста, по понятным причинам, не все ходили петь в «светский хор». Всех объединяла любовь к пению. Хор был как церковным, так и светским, очень хорошим, многочисленным. Так вот, по поводу этих церковно-хоровых дел у нас в доме часто бывал священник Бессарабов, как его часто называли: «батюшка-красный партизан». Он был высококультурным, обаятельным человеком, к тому же большая умница. Ему не приходилось чувствовать на себе плохого отношения со стороны его «паствы», как называют по церковному всех верующих. Он умел строить свои отношения с верующими не в ущерб своим церковным обязанностям, находил необходимые слова и действия в то атеистическое время, и «паства» всё ему прощала, никогда не напоминала о том, что он партизан с красными и т.п. Был он чудесный рассказчик, всегда находил общий язык в отношениях с любыми людьми, был очень остроумным и всегда весёлым. Когда он шел по улице, все с ним почтительно здоровались, старушки – так те просто кланялись ему. Он не был высокомерным, напротив, был ко всем очень доброжелательным. У нас дома он всегда нас, детей, смешил чем-нибудь, и мы никогда не догадались бы, что с нами так просто и весело говорит «батюшка», как было принято называть всех попов в то время. На его службе в церкви всегда не хватало места, народ стоял на паперти и возле ограды церкви, как бы во дворе церкви, и все были довольны его проповедями, никогда никто не покидал церкви раньше, чем окончится служба. К нему домой наблюдалось настоящее паломничество. Приходили к нему и днём, и ночью, все кому не лень, и все от него уходило утешенными и успокоенными, во всяком случае, оставались довольными после общения с ним. К нему даже приходили верующие с просьбами, как больные приходят к врачам со своими недугами. Всем он находил нужное слово и обиженных, недовольных людей никогда не было. Он продолжал служить в церкви вплоть до дней, когда была объявлена сплошная коллективизация. А перед этими событиями, за несколько месяцев или может быть не больше чем за год, ему здорово влетело от его церковного начальства, которое терпело его службы как «советского попа» только потому, что на него не было никаких жалоб от верующих, не к чему было церковному начальству придираться. Он продолжал бывать в нашем доме, и я помню, как мой отец с ним на эту тему беседовал.

Моя бабушка по матери была одной из самых фанатичных верующих, молилась очень страстно и самозабвенно, и как только могла, всегда меня тащила с собой в церковь и рассказывала мне обо всем, стараясь меня хоть чем-нибудь заинтересовать в церкви. Я помню пышные и красивые пасхальные всенощные, когда батюшка кропил пасхи, куличи и прочую снедь, освящая всё святой водой. Мне очень нравилось церковное песнопение, когда хор пел,

а в большие праздники он всегда был по составу в два раза больше, я видел, как мой отец руководил хором, пел и я. Мне была приятна музыка, я с пяти лет уже вовсю играл на бала-лайке, а в 10 лет был музыкантом струнного оркестра, на домре играл, а потом стал играть и в нашем духовой оркестре. Поэтому мне было приятно слушать красивое хоровое пение. Это и было причиной того, что я охотно ходил в церковь, когда бабушка брала меня с собой. Я никогда не противился этому желанию моей бабушки. И там я часто видел этого «советского попа», батюшку Бессарабова в действии, облаченным в свои ризы и помахивающим кадилом, а также поющим иногда с хором. Он во время проповедей в церкви всячески восхвалял советскую власть, активно агитировал граждан Отрадной вступать в колхозы. Ему приходилось терпеть большие нагоняи со стороны его духовного начальства. На этой почве Бессарабов стал выпивать. Так вот, несмотря на то, что в прошлом он был партизаном, его лишили избирательных прав, за то, что он продолжал свою деятельность как священнослужитель, в то время это было непростительно.

И вот этот батюшка стал частенько бывать под хмельком. Я помню, как его один раз зарисовали в стенной газете, которую выпускали в нашем станичном совете. Стенгазеты, которые регулярно тогда выпускались в Отрадной, всегда вывешивались в нашей избе-читальне и на улице, на стенде. Будучи пионером, я часто был в избе-читальне, выполняя пионерскую общественную работу по регистрации посетителей избы-читальни, эти стенгазеты все знал наизусть. Однажды увидел в ней карикатуру и под ней заметку о том, что поп Бессарабов читает проповеди в своей церкви в пьяном виде. Нарисован он был очень похожим. Этот случай мне запомнился, и я у своего отца спрашивал, правда ли, что он был пулемётчиком в партизанах. Отец мне сказал, что всё – правда. Пьяного батюшку, при полном облачении, нарисовал наш школьный учитель и художник Галушко Петр Митрофанович, он был тогда учителем рисования. Потом для Бессарабова настали дни гонений и со стороны районного начальства. Он стал больше пить, и, в конце концов, его от службы отстранили. Не знаю, какое начальство это сделало, но он куда-то уехал, и больше никогда в нашей Отрадной не появлялся, а в Отрадной церковь закрыли.

В этой «кампании» по закрытию церкви я принимал самое активнейшее участие, собирал подписи за закрытие церкви среди жителей станицы и насобирав более полутора тысяч подписей. У меня был велосипед, в то время это было большая редкость, примерно такая, как теперь автомашинка у станичного жителя, и я, пользуясь «собственным транспортом», объездил всю Отрадную. Таким образом, я разъезжал на велосипеде куда хотел и когда хотел, собрал сотни подписей за закрытие церкви, больше всех было подписей комсомольцев Отрадной.

Так вот, тот старик, которого я встретил, был очень похож на того бывшего партизана – попа Бессарабова. Небольшого роста, не полный, такая же борода, «козлиная», и походка походка. В связи с этим воспоминанием всплыло в памяти и ещё одно.

Был в Отрадной такой мастер на все руки: отличный кузнец (работал в колхозной кузнице очень долго), он же отличный охотник и мастер по ремонту охотничьих ружей, он же очень хороший дрессировщик охотничьих собак (натаскивал их, как говорят охотники), он же прекрасный баянист. У него имелся хороший баян – хроматическая гармошка, звучавшая как баян, называется она литературно – хром, но жители почему-то говорили гром. Так вот, этого баяниста во всей Отрадной называли Гаврюня Филимонов, «который на гrome играет». Гавриила Корнеевича Филимонова знали все не только потому, что он был баянист, охотник, который починяет ружья, известен он был более как «тот самый кузнец», который отучил казаков ходить к нему в кузницу... Короче говоря, «слава» у него по станице была очень веселая и смешная. Его все уважали и в то же время побаивались, потому что он был человек с большим чувством юмора, мог в любую минуту рассмешить или, как говорят, разыграть любого человека, невзирая ни на возраст, ни на профессию, ни на его образование. Примеров тому я помню очень много.

Вот один из них до сих пор помню, а прошло уже более 60-ти лет. Какой смех тогда вызвало слово «фапса», сказанное кем-либо вслух в любой компании станичников...

А, это та «фапса», которую Гаврюня приправил за колёсную мазь, или за «пивной сироп», или за мазь от облысения, или за слабительное, или за несмываемую краску, или за средство быстро точить косу при сенокосе, или за клей самый-самый, который все клеит, или за настойку от мозолей, или как средство против клопов и тараканов. В общем, незаменимое

бельгийское средство от всего – «фапса» или состав ЭЧС-2 бельгийского профессора...

Впервые он его «пустил в оборот», как говорят, средство получило огласку, после его грандиозного скандала с его школьным товарищем, другом и детства и юности. Они даже женились в одну неделю, ухаживали за невестами из одного двора. В общем, были друзья до гроба, как говорят. И вдруг все станичники узнали о том, что Гаврюня со своим неразлучным Митей Пурховым подрался!.. Это же как гром среди ясного дня!.. Никто не верил, пока не увидели их обходящими друг друга по разным сторонам улицы. Тогда поверили. И тогда Гаврюня сам рассказал, в чем было дело.

Гаврюня был ещё и любитель-пчеловод, у него было всегда 8-10 ульев пчёл. Стояли ульи у него во дворе, в садике, под фруктовыми деревьями, и Митя Пурхов тоже был таким любителем пчёл. Жили они рядом, по дружбе вместе возились с пчелами и всегда вдвоём ездили в г. Баку продавать первые взятки майского мёда. В Баку он всегда был дороже. Всю жизнь ездили вдвоём и возвращались также вместе. А в один год Митя Пурхов приехал сам и Гаврюню ругает матом, да с такой злостью, что все удивились – такие были друзья и вот что-то случилось. А что?.. Все Митю спрашивают. И Митя рассказал, что они в Баку на базаре подрались и разругались навек. Это было верно, потому что до самой смерти Мити они не помирились, были врагами, хотя сам Гаврюня, как всегда смеялся и говорил, что он, оказывается, плохо знал Митю, этого «дурака»... На базаре стояли рядом, и уже продали больше половины мёда, подсчитывали выручку и на завтра собирались ехать домой, в Отрадную. К Митиной бочке мёда подошел один перс и спрашивает цену. Митя назвал. Перс спрашивает у Гаврюни, тот назвал такую же цену. А перс говорит, указывая на мед Мити, – у него мёд жёлтенька чуть. А Гаврюня ему отвечает: «Да, есть чуть-чуть, зато мёд его с фапсой...» И всё! Ураган разразился на весь базар. Перс говорит: Да, его мёд мешиной (смешанный с чем-то)... Гаврюня просто, по его привычке, хотел посмеяться вместе с ними. Перс взял мед у Гаврюни и ушел, а Митя на Гаврюню с кулаками: какая фапса, кто мешал мёд, вместе качали, улики стоят почти рядом. Ты сам, гад, намешал с чем-то свой мед, а сказал, что у меня с какой-то «хваспой», что это такое за «хваспа», никогда не было её у меня. Короче, лезет в драку. Гаврюня как его ни успокаивал, как ему не пояснял, что это он пошутил, что никакой фапсы нет на свете, что он эту фапсу недавно «приправил» бабке Голданихе от пота ног. Дал ей натертого кирпича с мелом пополам. А другому казаку дал кусочек засохшего мыла, почерневшего от времени и твёрдого, как деревяшки кусок – на выведение мозолей. Приводил другие его разыгрывания, но Митя был твёрд в своих выводах и очень обиделся за то, что перс у него не стал покупать мёд. Короче, они дали по морде друг другу и разругались как мальчишки. Митя уехал один, а через день Гаврюня приехал, и на все расспросы об их скандале отвечал всем, как я уже описал. Но эта «фапса» так и осталась тем словом, при упоминании которого у всех невольно смех подступает. И кого только этот Гаврюня не путал, не разыгрывал, над кем только он не смеялся. Все его розыгрыши были не такими злыми, всё было в пределах только смешного, и это слово до сих пор в станице, как говорят, «гуляет» в разговорах и воспоминаниях о Гаврюне.

Я сам это слово распространил по всей Колыме. Не раз разыгрывал некоторых всезнаек и таких, которые всё видели, всё пили, всё ели и всё знают...

Бывший первый директор Нижегородской ярмарки (первая в стране при советской власти была такая в 30-х годах), Богомолов, был у нас в лагере в Оротукане зав. каптёркой (склад так назывался в лагере). Мне, как завхозу нашей, только что организованной культбригады, понадобилась краска для «сценических костюмов» – форменных рубашек оркестрантов, и я попросил у него какой-нибудь краски, чтобы из белых (простынного материала) сделать рубашки другого цвета. Он дал мне бутылку фиолетовых чернил, больше ничего не было у него. А чтобы не полиняли рубашки после первой же стирки, я у него попросил фапсы для закрепления после окраски. Он, как специалист, знает, что чем-то закрепляется цвет или краска, и переспрашивает меня, как называется. Я говорю ему «фапса» – бельгийский состав. Он сделал умное лицо и говорит: «Да, я совсем забыл, есть же такой закрепитель, спрошу, говорит, на базе». И всё! И пошла писать контора! На базе тоже были знающие, слышавшие, позабывшие и т.д. И в течение месяца вся база, весь поселок, только и разговоров было про эту фапсу. Звонили в Магадан, писали в письмах на материк. Никому не хотелось быть невеждой, незнающим такого простого товара. Друг перед другом похвалялись, кто и что знает и

знал на воле, а вот здесь, разве что можно достать. Так и не достали, но никто не признался в незнании, а главное то, что «такое какое-то что-то он видел или слышал». Ну, а мои друзья, которых я в это дело посвятил, понятное дело, смеялись, да и только!

Всю медицину Оротуканского ЮГПУ (Южное Горно-промышленное Управление, так назывались в то время теперешние ГОКи – горно-обогачительные комбинаты), в расшифровку этой «фапсы» втянула зав. медучастком Оротуканского лагеря, жена начальника лагеря, врач, к которой я также обращался за этой фапсой. Как закрепитель красок, я даже назвал ей точное название бельгийского состава «ЭЧС-2». Это проходило за серьёз, потому что наши руководители культбригады время от времени на самом полном серьёзе спрашивали, как зав. каптёркой Богомолова, также и нашего лагерного врача: «Ну как, не звонили Вы в Сануправление насчет фапсы? – Звонила, обещались дней через пять-семь сами позвонить. Да вы не беспокойтесь, достанем! Там у меня такой дружок есть, что он чёрта из-под земли достанет. А эту фапсу – запросто, это же не отравляющее какое-нибудь!..»

Никто не хотел признаваться в «невежестве». Это относится, прежде всего к тем, которые всегда похваляются – «всё знаем, всё видели» и т.п. Конечно, люди с чувством юмором сразу слышали «что-то не то», и просто улыбались, или многозначительно молчали, мол, посмотрим, что будет дальше. И до сих пор, и в Магадане, и в Отрадной это слово так и не расшифровали и нет-нет, а кто-нибудь, желая показаться знающим, вдруг скажет: «Так, наверное, фапсы и не хватало!», если дело касалось чего-нибудь неудавшегося с покраской или с лечением мозолей...

А вот рассказ, как Гаврюня отвалил отрядненских казаков приходить к нему в кузницу без дела, так, побалагурить, покурить и просто посидеть у Гаврюни в его весёлой кузнице, как знали, что он всегда кого-нибудь там же разыграет или что-нибудь приправит кому-либо. Он со своим помощником работает у наковальни или у горна, а казаки с цыгарками сидят под стенками кузницы, всегда не менее 5-7 человек. Гаврюня, наклонившись, смотрит на землю-пол кузницы и тихо, почти про себя бормочет полунепонятно: «Вот сволочь, закатилась и не найдёшь...». А сам, не глядя на казаков, вроде усиленно ищет чего-то. Ну, ясное дело, казаки наперебой: «Гаврил Корнеевич, чего ты ищешь?» – А он так, между прочим, тихо говорит: «Да гайка, стерва, закатилась куда-то». Как-будто неожиданно нашел её, говорит казак: «Да вот же она, подай, вон, у тебя под ногами...» – Тот, не думая долго, хват её рукой и завопил на всю станицу, кричит не своим голосом, а пальцы в рот засунул и ходу из кузницы... Побежал по улице... А Гаврюня ему и другим казакам вслед: «Ну вот, не будут больше мешать работать». Гайку-то он чуть не докрасна накалил в горне, незаметно тому казаку под ноги подбросил. Но от этого не стало меньше зевак в его кузнице, всё равно приходили, как будто ждали «очередного номера». И дождались! Вечерами, чтобы никто не видел, Гаврюня переставил в своём садике на новое место туалет, или по-кубански – сортир, выкопал для него новую яму рядом со старой. Старую яму чуть-чуть присыпал землей и травкой посыпал. Через день пришел к нему хозяин ружья, взять его после ремонта, который делал Гаврюня как мастер. «Готово!» – сказал Гаврюня. Сейчас будем пробовать, как бьет твой дробовик, кучно или нет. И сам трах-бах из него, и говорит хозяину: «А ну, беги, неси мишень, вон она (кусочек бумаги на палке), палка стоит рядом с сортиром. Хозяин, сломя голову, на радостях, что ружьё Гаврюня починил без «резины», как говорят, побежал за мишенью... А Гаврюня, выстрелив из ружья, поставил его к стенке, а сам, не глядя в сторону туалета своего, совершенно спокойно, не спеша, пошел со двора куда-то. Было при этом двое или трое казаков, они со смеху чуть в штаны не наделали. А тот хозяин, еле выбравшись из ямы, весь в этом самом «удобрении», отряхиваясь и беспрерывно чихая и кашляя, с проклятиями в адрес Гаврюни, бегом, побыстрее к речке Уруп, купаться, отмываться... Те казаки, свидетели этого «номера», поспешили сообщить жене «утопленника», мол, иди на Уруп, там твой Серёга отмывается, неси ему чистую сменку.

Дней через пять жена пришла за ружьем к Гаврюне, а он ей поясняет: «Я же ему дураку, кричал вслед, бери левее, а он не расслышал и взял правее, ну и этого, самого, я же не знал, что он плавать не умеет, хорошо, что яма была чуть выше пояса... Скажи ему, нехай не обижается, раз моего совета не расслышал». Этот номер до сих пор помнят в Отрадной...

Долго смеялись и с этого гаврюнинного «номера».

Среди бела дня по улице вскачь несётся всадник без седла (тогда не у всех были сёдла),

на мешочной подстилке, которую всадник потерял. А за ним, вернее за лошадьё, две собаки злющие – волкодавы породой, с громким лаем несутся, пугая всех, кто идёт по улице!..

Что такое?.. В чем дело?..

Один казак говорит: «Это собаки Саши Нечаева, того самого, что живёт под горкой, напротив пивзавода, вон видна труба от его печки на доме. Чего он собак спустил с цепи, никто не знает». А парень-всадник, завернув за угол, остановившись, говорит: «Я нарочный из Удобной, первый раз послали меня с пакетом секретарю РИКа, отдать лично в руки. И один человек, возле кузницы стоял, я у него спросил, где РИК? А он говорит, сегодня они все на ударнике, ты свежи домой! Секретарь дома, и живёт вон там, и рассказал как к нему домой проехать. Я и поехал, стучу в ворота, а он кричит: «Чего ты ломишься?» – Я ему говорю: «Примите вот пакет, запечатанный тремя сургучными печатями...» А он как закричит на меня: «Какой пакет, мать твою так раз так, а ну давай отсюда, опять этот Гаврюня направил, кажется, я его убью скоро, и спускает с цепи своих собак, ну я и ходу от его двора».

Оказывается, это уже десятый случай, когда Гаврюня к этому Саше Нечаеву направляет всех, кому нужен или зубной врач, или повивальная бабка, или начальник пожарной команды, или отрядненский дьякон, или заготовитель кротов и других мелких пушных зверьков, или продавец коровы, которой у этого Саши Нечаева сроду никогда не бывало, или стекольщика, вставить стёкла в раму окна...

IV

Кампания по выборам. Мой арест. Миша Пачин. Первый допрос. Размышления по дороге в Армавирскую тюрьму. Жора Лизогубов. Допросы и пытки. Сельхозколония. Подготовка к этапу на Дальний Восток

Самым страшным днём в моей жизни (а прожил я на белом свете к тому моменту всего 21 год, так мало!) был день 18 ноября 1937 года, когда мне пришлось расстаться с вольной жизнью, с родителями, братом и сёстрами, с домом, со всей станицей Отрадной, со всей Кубанью – всерьёз и надолго. Увидел всё это снова я только через долгих 18 лет – в 1955 году.

В этот день, перед вечером, мы своим духовым оркестром обслуживали один из избирательных участков станицы. В том году впервые в стране проходили выборы депутатов в Верховный Совет СССР.

По окончании игры, в компании из пяти моих друзей, мы пошли пить пиво в новый, только что отстроенный ресторан (он до сих пор стоит там же).

Мы не заметили, как к нашему столу подошёл парень в форме НКВД – всем нам известный Вася (так его назовем), который сказал мне: «Выйдем на минутку на улицу». Я встал и пошел с ним. За дверью ресторана он мне предложил «пройти с ним» в райотдел НКВД. «Зачем?» – спросил я. «Тебя вызывает начальник РО НКВД Романов»... Я возвращаюсь к ребятам за своей кепкой, все наши кепки лежали на стуле возле стола, говорю им об этом. Они все четверо, не сговариваясь, поднимаются с мест, кстати, пиво надо было снова заказывать, и мне говорят: «В таком случае мы тебя проводим до самого РО НКВД»...

И мы всей компанией пошли, этот Вася нас всех сопровождал. От ресторана до НКВД было недалеко – расстояние всего в одну автобусную остановку. Мы были все в недоумении, шли, рассуждая о причинах моего вызова, и никто не мог даже предположить, зачем я понадобился самому Романову. В разговорах об этом подошли к зданию НКВД, куда вход был через калитку в заборе, а потом по крыльцу в самое здание. Мои друзья со мною не прощались, просто все, как и я, думали, что это ненадолго, что всё выяснится быстро, о чем и Вася сказал нам всем, что, мол, Романов хочет что-то выяснить, после чего ты пойдешь домой...

На том и решили, и мои друзья сказали, что будут ждать меня за тем же столом, мол, ещё пивка попьём, приходи...

Вася ввёл меня в кабинет Романова, который сидел за своим столом, а рядом с ним по обе стороны от него сидели секретарь ВЛКСМ Евтушенко и следователь НКВД Худасов, и ещё военный, которого я не знал.

В ноябре 1937 года обстановка была тревожная. Уже прогремели на всю страну процессы над вредителями и троцкистами всех мастей. Кругом только и было слышно разговоров о всевозможных врагах. В нашем районе за два года три раза переменялось почти все

начальство района. Остались только начальник РО НКВД Романов и первый секретарь РК ВКП (б) Команев. Всё районное начальство было заменено, а председатели всех колхозов района «организационно укреплены», т.е. арестованы под лозунг «организационно-хозяйственного укрепления колхозов». Я отлично помню, что тогда ходили разговоры о том, что «вот таких-то и таких-то – ни за что, а взяли». Был в нашей типографии бухгалтер Овражко, которого арестовали, а он был такой известный своей порядочностью и честностью человек, про которого думать плохо было просто грешно. Или сын фотографа-заики Пачина – Миша восьмиклассник, затмивший своими знаниями по математике и физике преподавателей-профессоров. Они ему устроили экспертизу, на которой он всех их четверых так разделал, что им деваться некуда было. Они-то, эти профессора и сказали, что он «опасный элемент», и Романов его арестовал. Он так и погиб в Армавирской тюрьме, а за что, так до сих пор никто ничего и не знает. Миша в свои 16 лет по знаниям уже был больше, чем профессор, мог бы быть и вторым Ландау.

Если говорить правду, то во время тех арестов каждый дрожал «за свою шкуру», и уже об арестованных думал так, что «наверное, чего-то наделали», мол, раз взяли, значит было за что и т.д., не допуская, однако, мысли о том, что и с ним такое же может случиться.

Таким простым смертным, какими были мы – активисты комсомольские, а иногда даже больше чем активисты – приходилось только удивляться и думать, неужели Овражко, этот честняга-бухгалтер мог чего-нибудь сделать, чтобы и его арестовали? И неужели Миша Пачин – восьмиклассник, а уже натворил дел. Также и о других остались только домыслы и сплетни... Я этого Мишу отлично знал. Он учился на три года позже меня – вместе с моим младшим братом. Был у нас дома много раз. Мальчик был не по годам серьезным, начитанным, и был не по годам умница. В начале 1938 года я его два раза видел в Армавирской тюрьме, неузнаваемо худым и изможденным. Мы выходили из камеры на прогулку, а их камера возвращалась с прогулки, что было большой редкостью в тюрьме и что строго не допускалось.

В моей голове в те минуты, как говорится, мелькали миллионы мыслей, и всё о таких случаях арестов. Но я никак не мог сравнивать с ними себя, потому что за собой никакой вины не чувствовал. Это мне и придавало уверенность, что Романов всё выяснит (только я не знал, что именно) и меня с «миром отпустит». Наивная была душа!..

Но, тем не менее, я себя считал правым и ничего не боялся. Мне нечего было бояться, я не робел, хотя и был озадачен и волновался.

Ведь в то время само слово «тюрьма», «арест» – были почти что ругательными словами, во всяком случае, в нашей семье, и даже больше, – в нашем обширном клане Смирновых (я писал о том, что у нас в Отрадной было шесть бабушек по отцовской линии, у которых, таких как мой отец было по два-три, а у них – отцов, таких как я было не менее четырех детей), да по линии матери родни было не менее 30-ти человек. И все были жителями Отрадной. Никого и никогда из «наших» во все времена, ни одного человека не арестовывали, слово «тюрьма» для нас было страшным, им пугали детей. Мы просто боялись этого слова. А когда все наши узнали о том, что меня и моего отца арестовали – это было настоящей сенсацией, как гром среди ясного неба... Меня очень угнетала мысль о том, что я попаду в тюрьму, чего я, как и все наши Смирновы, боялся, как огня.

Для меня Романов олицетворял собой образ страшного гения. Аресты ведь шли по стране денно и ночью. И я как увидел его, и рядом с ним сидящих с такими враждебными взглядами и суровыми лицами, то сначала испугался, появилось ощущение, как будто бы они наконец-то изловили страшного преступника, вора, бандита или убийцу, и им оказался я. Это всё я продумал и пропустил через свою бедную голову, когда оказался «перед ясны очи» этого злодея. Но никакой злобы на него и «иже с ним» у меня ничуть не было. Ведь я не был в чем-нибудь виноват и ничего не боялся, в силу чего и в них не мог подозревать ничего враждебного по отношению к себе. Такими, наверное, были все, кто попадал в подобные ситуации. Все знали об арестах, много было разговоров об этом, но никто, (и я не составлял исключение), не допускал мысли о том, что это может вплотную коснуться и их.

Я подошел к столу Романова, он меня измерил взглядом снизу вверх и спросил: «Смирнов Николай?». – «Да» – ответил я. И тут же спросил его: «А по какому вопросу вызвали меня?». ... Романов отметил галочкой мою фамилию в списке, лежащем перед ним, и ответил:

«Завтра узнаете». И приказал милиционеру Банникову отвести меня в милицию, в камеру. Я снова спросил Романова: «Что я такого сделал, за что вы меня направляете в милицию на ночь?» Романов повторил, повысив голос: «Всё завтра узнаете, уведи его»...

Я весь дрожал от злобы и бессилия, сопротивлялся, не хотел выходить. За что вы!... Договорить не дали, меня грубо подтолкнул милиционер Банников и вывел из кабинета. Вдогонку мне Евтушенко сказал: «Ещё сопротивляется!..»

Я хорошо запомнил его слова, и также хорошо запомнил, что в списке на столе у Романова было записано не менее сорока человек – в два столбца на листе.

Фамилии записанных я не смог разобрать, было далеко и вверх ногами, но галочку, которой Романов отметил мою фамилию, я видел отчетливо.

По дороге в милицию – всего один квартал от НКВД – я весь дрожал от негодования и, конечно же, не мог разговаривать, тем более с этим Банниковым, которого вся Отрадная знала как дурака с наганом, из-за его привычки доставать наган, когда надо и когда не надо. Вот и сейчас он наставил его на меня – это он сделал ещё в кабинете Романова, и повёл по улице в милицию, где сдал меня дежурному, а тот посадил в камеру.

Внутри двора милиции стояла хата из двух комнат, которые назывались камерами. Окна у них были без решеток. В одну камеру он меня и впахнул, где сидело очень много народа. Она была переполнена, стоял страшный смрад – накурено было до предела, топор мог свободно повиснуть в дыму, была духота, все лица были такими мрачными и понурыми, как на похоронах.

Это и было моим «крещением», первым знакомством с тюрьмой, которое на меня произвело очень тяжелое впечатление и оставило в душе какой-то неприятный осадок на всю жизнь. Я никогда не забуду до самой смерти тот самый момент, когда я чуть не свалился от вони, от самого неприятного запаха на свете – такой можно испытать только «вплотную познакомившись с парашей». Такие чувства, по-моему, испытывал каждый, никогда не бывавший в этих камерах, которого впахнули туда с улицы, со свежего воздуха.

Наверное, поэтому я никого из арестованных, переполнивших эту «клоаку», эту зловонную камеру – не узнал, не знал и не мог знать, кроме одного – председателя Попутненского сельпо, расчетный счет которого в Госбанке был на моей группе. Он тоже меня узнал, но никакого разговора ни с ним, ни с кем-либо другим не было. Я, как в первые минуты присел на какую-то скамейку, так всю ночь на ней и просидел, не заснув ни на минутку. Я ни с кем не общался, я их просто никого не знал. В голове был полный сумбур. О чём только я не думал, и все мысли складывались в одну-единственную – за что же все-таки меня сюда впахнули?... Никто меня не спрашивал – как, за что? Но некоторые реплики в свой адрес я слышал отчетливо – «ещё одного прихватили», или «наверное, прямо с улицы, видите – в костюме». Что они имели ввиду, я не знал, но в некоторых репликах я услышал неприятные для меня слова, вроде: «доигрался», «допрыгался», «вроде молодой, а уже...», «...и они знают, кого брать» и пр.

Я ни на что не обращал внимания, старался не слышать. Всё думал, когда же выяснится «всё это» и что же со мною будет дальше, долго ли ещё придётся тут быть. Сверлила мысль в голове – как сообщить домой о себе родителям, которые, разумеется, были все, особенно мама, в большой тревоге за меня. Ведь я не пришел домой ночевать, где я, и что случилось – они ведь не знали.

Уже давно был рассвет, начинался обычный деловой день, я все сидел и думал о себе и родителях. Но разговоры в камере, которые я слышал, наводили меня на грустные размышления и выводы. Никто из всех сидящих не надеялся отсюда выбраться, этой надежды должен был быть лишённым и я. Так, потрясенный и совсем растерявшийся от таких рассуждений, не спавший всю ночь, и вконец выбившийся из сил, я подошел к окну и увидел во дворе своего дружка Жору, с которым вчера вечером пил пиво, и который меня с ребятами провожал до кабинета Романова. Жору тот же Банников усаживал на груженную доверху картошкой автомашину, въехавшую с улицы через старинные с крышей ворота. После чего подошел к окну нашей камеры и приказал мне выходить и усадил меня рядом с Жорой, усадив нас лицом вперед, он наставил свой наган нам в затылок и крикнул шоферу «поехали». Грузовик выехал в раскрывшиеся ворота со двора милиции, быстро-быстро, повернув на дорогу, ведущую в Армавир, и помчал нас, прибавляя скорость. У ворот милиции и на улице была большая

толпа народа – родственники и знакомые, сидящих в камере, где мы были с Жорой, и тех, которые находились в двух подвалах, под зданием большого дома милиции. Грузовик быстро проезжал по образовавшемуся из толпы народа коридору, но в этой толпе ни я, ни Жора с высоты кузова грузовика так и не увидели никого из наших родных или знакомых. Пока наши родители ходили к Романову узнать про нас – грузовик все быстрее увозил нас от родной станицы, а родителям сказали «завтра узнаете». Но это было обещанием. Нам не было понятно, почему в тот день только нас двоих увезли в Армавирскую тюрьму. Но нам было в те минуты не до этого, и мы не глубоко задумывались об этом. Сидя в грузовике, не обращая никакого внимания на милиционера с его наганом, направленным в наши затылки – мы начали разговор. Я рассказал Жоре, как меня из ресторана привели к Романову и что он мне там сказал. Жору взяли ночью из дома, ему тоже сказали, что там узнаете, в чем дело. И вот мы, в полном неведении – за что и куда нас везут, не падаем духом, что значит молодость, и с чувством полной невиновности ехали навстречу неизвестности – мы ничуть не сомневались в том, что это «недоразумение» вскоре прояснится, нас отпустят, как говорится, с миром, мол, куда им деваться, что Романов нам может сделать, если мы ничего плохого не сделали и т.д.

Работали мы хорошо – я в Госбанке, Жора – заведующим Домом культуры и руководителем духового оркестра. Оба были активными комсомольцами, играли в духовом оркестре, как и все наши музыканты, из-за любви к искусству. Жора за руководство и «нотную писанину» для оркестра не получал ни копейки. На работе, при нашем неприметном деле не было причин думать и говорить о каком-то там вредительстве или подрывной деятельности против советской власти. Хотя в те времена только об этом и было разговоров, и очень много. «Враги народа» нам казались настоящими врагами. В газетах официально об этом писалось очень много, все были уверены в правдивости написанного. Но применительно к нам, в нашем положении, мы, сидя в машине, об этом боялись даже подумать и никак не могли эти слова относить к самим себе. Мы были полностью уверены в своей непогрешимости и невиновности. Наша комсомольская жизнь в те времена была вполне в духе того времени, мы были активистами именно в комсомольской общественной работе, на что тогда обращалось особое внимание. Я, например, на своем велосипеде всю станицу объездил по сбору подписей за закрытие церкви. Собрал их около двух тысяч, антирелигиозная кампания была в самом разгаре, поэтому больше всех подписей поставили наши активисты-комсомольцы. Во время испанских событий все комсомольцы собирались, готовились ехать на помощь испанской революции, для чего у нас проводились тренировки, учились работать в противогазах, и это было по всем учреждениям и предприятиям. Я в своем Госбанке был рекордсменом, проработал не снимая противогаза весь рабочий день. Почти все наши комсомольцы были членами «легкой кавалерии» – прародительницы теперешнего рабочего контроля. Членов «легкой кавалерии», очень многие совслужащие, кого это касалось в смысле разных проверок, просто побаивались, и при виде комсомольцев-«кавалеристов» у них портилось настроение. В то время очень модно и престижно было носить (конечно, сначала надо было достать-купить) «юнгштурмовскую» форму – гимнастерку с карманами и полугалифе брюки защитного цвета (хаки) и кожаный ремень с портупеей. Для многих комсомольцев это было мечтой номер один, не все имели возможность купить или достать её как дефицитную в те времена, а кто имел её – те демонстративно щеголяли в ней на зависть всем нам, не имевшим такой формы. Один вид членов «легкой кавалерии» заставлял трепетать тех, кому предстояла внезапная, неожиданная проверка их деятельности, так как все знали о самой справедливой и честнейшей работе «кавалерии» по проверке, никогда и никому ничего не прощавшей и не терпящей никаких, даже самых малых нарушений... Быть членом «легкой кавалерии» было очень почетно и престижно, желающих быть ими было много, но не всех туда принимали. Жора долго был её членом, а я увлекался спортом, был страстным футболистом. По своей инициативе собрал ребят. В течение недели мы, повыдергивав из земли крупные бурьяны и сорняки, расчистили и разметили площадку для футбола. Стойки и перекладины для ворот я сам достал у прораба, строившего в то время новую школу. И долго, лет, наверное, десять, стадион действовал. Находился он на площади, перед незакрытой тогда ещё церковью, где сейчас вырос прекрасный парк. В летнем садике, за Домом культуры, также по моей инициативе, мы сами сделали две площадки для волейбола, на которых по вечерам и в выходные дни происходили настоящие соревнования – ежедневно! – самодеятельных волейбольных

команд, тут же формирующихся, игравших «на вылет» – по-олимпийски.

Я был капитаном футбольной команды и активным членом нашего отличного драмкружка, в котором и Жора принимал активное участие, всегда отлично исполнявший все роли, какие ему приходилось исполнять. Я тоже был членом драмкружка, и особенно хорошо исполнял роль Сенечки Перчаткина в спектакле «Квадратура круга». Меня за эту роль очень хвалили, если бы тогда было «в моде» в нашей станице награждать грамотами, то я был бы первым претендентом на таковую.

Наша юность (хотя Жора с мая 37 года был уже женат) была ясной и безмятежной, никто и ничто не омрачало горизонтов нашей комсомольской жизни.

В то время, в те дни, хотя и тревожные, в связи с «процессами разных блоков», о которых мы читали в газетах – мы жили без тревог за себя, никогда не думали о том, что «это» могло в какой-то мере касаться нас, боялись об этом думать, а вернее, просто не думали...

Еще до женитьбы Жоры, от которой я его отговаривал, после «ночных дел» нашей молодости, связанных с нашими «барышнями», как тогда назывались любимые девушки – я ходил к нему ночевать, чтобы домашних своих «не булгачить» своим поздним возвращением домой. Мы очень часто по пути к нему пели песни – что значит молодость – а песня «Ой, да ты калинушка!» была нашей любимой. В два голоса (ведь мы оба были музыканты) она у нас «звучала», как говорят у музыкантов.

И вот, сидя в грузовике на картошке, мы, наговорившись на тему – «ничего нам не будет, потому что не за что!», как-то не сговариваясь, начали вдруг петь, затянув нашу любимую «Ой, да ты калинушка!» А потом всё громче и громче пели её, назло этому дураку с наганом, который он всю дорогу держал нам в затылок, и Романову и всем «этим», и пели с таким воодушевлением и желанием, как будто бы она была наша последняя лебединая песня (чем она, как показали наши дальнейшие «дела» и оказалась в действительности). Но факт был фактом, что значит молодость! Двух молодых людей под дулом нагана везут в тюрьму, а они, как ни в чем не бывало, поют во всё горло!

С этой песней и привёз нас в Армавир Банников, ни разу не пытавшийся прервать наше пение, сидел сзади нас, не выпуская наган из рук, и дрожал от страха, боялся, как бы мы не убежали от него. Он нас сдал дежурному Армавирского НКВД, где нас посадили по разным камерам.

Я попал в камеру, где старостой был Фанов – я уже писал о нем. Первый допрос вёл следователь Отрадненского НКВД молодой парень-практикант со школы НКВД, у него на петлицах были буквы «Н.Ш.» (какая-то школа). Я его знал, потому что девушка, за которой он ухаживал, была прежней моей партнершей на танцах, с которой я часто танцевал, звали её Маруся Михина. У меня была своя барышня, за которой я ухаживал, но всё равно этот молодой следователь на первом же допросе меня предупредил: «Если не подпишешь протокол, я тебя от танцев отучу, ты у меня погубишь в лагерях»...

В начале допроса, на мой вопрос: «За что я тут нахожусь?», он мне дал на подпись «Анкету подозреваемого», в которой были вопросы установочные: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц, число, кто родители, образование, член ли ВЛКСМ или партии, место работы. Внизу подпись собственноручная. Я не стал подписывать, так как в графе «Членство в ВЛКСМ» стояло «Не член». Спрашиваю его: «Почему же я не член ВЛКСМ, когда я член его?..» Следователь мне ответил, что я теперь исключен из ВЛКСМ. – «А кто и когда меня исключил?» – Он мне сказал так: «Вот теперь ты уже исключен, потому и не член, ясно?..» Тогда я поставил свою подпись на этой анкете, расписался... И спрашиваю его: «А в чем я подозреваюсь, можно узнать?..». Следователь мне строго сказал: «А теперь я тут спрашиваю, а ты будешь только отвечать. Я всё буду записывать, а ты потом подпишешь, и всё узнаешь, ясно тебе?»

И вот он мне задаёт первый вопрос: «Знаешь ли ты Исакова Ивана Ивановича?» Я такого никогда не знал, и не слышал такой фамилии, так и сказал ему. Следователь настаивал на том, чтобы я сознался и сказал – да, знаю. Я же ничего и слышать не хотел про эту фамилию и сказал ему, что не знал и не знаю... Он долго меня донимал этим вопросом, но я был непреклонен, так как не знал такого никогда. Тогда он мне напомнил о том, что когда я по комсомольскому поручению в 1932 году помогал уполномоченному НКВД Агаркову составлять списки на привезенных из предгорных станиц раскулаченных – так о чем я с одним из них

разговаривал, с этим самым Исаковым?..

Я помнил ту работу, что делал по поручению как комсомолец, и сказал ему, что их там было больше сотни человек, я ни с кем не разговаривал, записывал только их фамилии, имя, отчество и откуда был привезен в Отрадную – и всё. Мне с ними было не о чем говорить и меня предупреждали о том, чтобы я не нарушил этого правила, что я и сделал – только переписал их в список и отдал его уполномоченному Агаркову. Ни с кем и ни о чем не разговаривал.

Следователь просто изводил меня этим Исаковым, но я наотрез отказался от этого Исакова, потому что не знал его. Тогда следователь говорит мне: «А ты знаешь, где сейчас этот твой Агарков?». На что он намекал, я не мог догадаться, но хорошо запомнил, почему то – «где»?.. И больше об этом ни слова не было сказано. Я, разумеется, промолчал, потому что не знал и «где», и что он имел в виду...

Тогда он мне задал второй вопрос: «Ты говорил о том, что Сталин не умеет руководить страной? Говорил? Отвечай! Где и кому?.. Ну!..» Я отвечаю ему: «Нет, никому и никогда я так не говорил». «А ты ещё восхвалял Германию! Сознаться – где, когда и с кем! Ну!» Отвечаю ему, что никогда и ни с кем я не восхвалял Германию, понятия об этом не имею. И вообще, такие вопросы для меня слишком серьёзные – и подобного не говорил и сам не слышал ни от кого. Нет и нет.

Следователь строго посмотрел на меня и сказал: «Ты не валяй дурака, пока по-хорошему – сознавайся, не отбрёхивайся». Но я твердо настаивал на своём, и ни с чем не был согласен. На все его вопросы ответил еще несколько раз – нет, нет, нет... На эти три вопроса и ответов на них, состоящих из нескольких фраз: нет, нет, нет – «Не знал я Исакова», «не восхвалял Германию», «Не говорил о том, что Сталин не умеет руководить страной – он исписал три полных страницы на трех листах бумаги, закрыв газетой всю страницу, и оставив мне для подписи чистую строчку – в начале которой было написано «всё выше написанное с моих слов записано, больше ничего добавить не могу» – и подпись моя должна стоять, я должен сам подписать это. Каждую страницу в отдельности. Я не стал ничего подписывать и попросил его дать мне самому прочитать написанное. – «Я же тебе всё прочитал только что. Ты слышал?.. Ты что, не доверяешь Советской власти?» – Я ему говорю, что меня смущает то, что на ваши три вопроса и мои на них ответы, состоящие всего из нескольких слов – «нет», «не знаю», «не говорил», «не слыхал» – вами исписаны три полных страницы – «Почему так много записано?» – Он мне ответил, что это пояснения моих ответов. «Тебе ясно?..» – Я прошу его дать мне самому их, эти пояснения, прочитать. «Нет, не дам» – и пододвинул мне поближе закрытую газетой страницу протокола. – «Бери ручку и подписывай», – приказал он мне...

Это опять началось сначала, и так часа три он меня всё заставлял подписывать, крича и угрожая, и страшно выражаясь матерными словами... Но я стоял на своём и ничего не хотел подписывать.

Я ведь писал о том, что в первый же день, когда меня посадили в камеру, и как новичка определили на «парашу» – «поселили на временное жильё без прописки», пока не освободится более приличное место – староста Фанов меня предупредил о том, чтобы я ничего не подписывал, не прочитавши сам написанное следователем, и чтобы я не верил ни одному его слову – обманут, сказал он. Но я и без него решил сам так делать и только ждал, когда меня начнут бить, я к этому был готов. Знал, что они бьют всех беспощадно – знал, и только ждал начала. И сказал следователю, что он меня может убить, но я ничего не подпишу не прочитавши.

На первый раз он меня продолжал допрашивать с утра до позднего вечера. От его кабинета до нашей камеры, находящейся в другом здании, меня водили через площадь, каждый раз под дулом пистолета, направленного в затылок. Иду, руки назад и голову вниз, а сам затылком чувствую дуло пистолета, хотя пистолет и не касается моей головы, но такое чувство меня ни разу не покидало. И только я расположился в камере спать по очереди, вытянув ноги, только успел ответить на вопрос: «Подписал?», словом «Нет», не успел глаз сомкнуть, как меня снова повели на допрос.

В том же кабинете сидел уже другой следователь, не Отраденского РО НКВД, я этого не знал. Когда меня ввели к нему, он что-то писал, и, не поднимая головы, приказал мне стать к стенке лицом и не садиться. Сам продолжал писать. Другой следователь сидел за отдельным

столом и печатал на машинке.

Я стал лицом к стене, как было приказано, «в стойку», и стоял долго, пока ноги не устали – машинально присел на пол. Следователь, увидев это, как кот на мышь набросился на меня и сапогом наподдал мне по бокам. Закричал страшным голосом: «А ну вставай гад, мать твою...» – и понес меня... «Будешь стоять до тех пор, пока не захочешь подписать протокол, понял, паразит?..»

Первый следователь, и этот, и потом еще один – трое всех – со мной «работали» по очереди – и все как один страшно ругались матом, как только хотели. Поэтому я тоже ответил им тем же, и сказал: «Не дадите прочитать, не буду подписывать, хоть убейте меня». На что они разражались диким матом, и, угрожая чем только могли, кричали на меня как бешеные.

Тем не менее меня снова – после того как сапогом набили мне бока – поставили к стене лицом «в стойку». Я стоял, пока ноги терпели, и присел на пол опять. Следователь «тигром» на меня набросился и стал бить рукояткой нагана по плечам, рукам, выше локтя и под бока, страшно ругаясь и крича. Бил как хотел, мне было невыносимо больно. Пока не устал сам, сел за стол и сказал: «Я тебя заставлю, гада, все подписать». И отправил меня избитого, как собаку, в камеру. Только привели в камеру, как через полчаса снова повели в НКВД. На этот раз был другой следователь. И снова – то же самое: я стоял, пока не устанут ноги, потом садился на пол. Он снова бил меня сапогами по ребрам и бокам, бил не стесняясь, и даже с каким-то удовольствием, но я ни звука не произносил, молчал, только голову руками закрывал. «Подпишешь, гад? Убью, как собаку!» – А я всё твердил: «Хоть убей – не подпишу»...

До поздней ночи он со мной возился, потом все угрожал, бить перестал, и, положив руки на стол и голову на руки, вроде задремал, приказав тому, который сидел за машинкой и все печатал что-то: «Не давай этому гаду сидеть ни минуты, пусть стоит, пока не подпишет»... Я стоял, но когда ноги устали совсем, сел, и до того уставший был, что стал дремать, сидя на полу...

Этот следователь, увидев меня снова на полу, бросился ко мне и начал меня тоже сапогами бить по чёму попало. Закрыв лицо руками, я согнулся в дугу и все боялся, что он мне в лицо попадет сапогом, терпел, а тот издевался надо мною. Я, стиснув зубы, катался по полу и решил – пусть, гад, меня убивает, не буду подписывать, и так ему и прошипел сквозь зубы: «Не... не подпишу...» Ему, наверное, надоело меня избивать, потому что я не произнес ни звука – избил он меня как собаку. Лицо мое было сплошной кровавый шар, губы разбиты, кровоточили, нос распух, как кувалда стал, весь в крови, руки, ноги, ребра болят страшно, но я терпел, сам удивлялся – откуда у меня это?..

В двенадцать часов ночи он разбудил спящего следователя, вроде как показать тому, как он меня «разделал» – отправил меня в камеру по знакомой дороге через площадь. В камере, конечно, не спали, все знали, что меня «взяли в оборот», ждали, каким я приду и приду ли вообще... При моем появлении все на меня уставились: «Что с тобой? Били?..» – Я говорю: «Как видите». А губы мои были как украинские вареники – и смех и грех... Посыпались реплики: «Вот, гады, что делают». Все мне сочувствовали и жалели меня. А староста Фанов сказал: «Вот видите, что они сделали с пацаном (я был малого роста, худеньким парнишкой, несмотря на то, что мне уже был 21 год, меня в сентябре 37 года призвали в армию). А как нашему брату там достается?» – продолжал Фанов. – «Ну что, конечно же подписал, раз вынес такое, а?» – «Нет, и не думал подписывать» – сказал я и улегся на место «спать с вытянутыми ногами», указанное мне Фановым, немного, как мог пообтёршись тряпочкой. Место было удобное – в углу, чтобы никому не мешать, и чтобы меня никто не беспокоил.

Но и часа не прошло, как меня снова вызвали на допрос. «Ну, гады, хотят сломить тебя во что бы то ни стало. Держись до конца, раз уж начал, ведь снова бить будут» – посоветовали мне в камере. Я шел, еле передвигая ноги. Конвоир, видимо, не меня первого таким видел, не торопил меня и тихо шел, наставив наган мне в затылок.

В том же кабинете меня встретил мой первый отраденский следователь-практикант. Сидел за столом, накинув на плечи шинель, как Наполеон на известной картине. Громким голосом и тоном, не допускающим возражений, приказал мне: «Садись и подписывай, бери вот ручку». И держит её передо мной, ждёт, когда я возьму её. Я, полусонный и избитый, как собака, даже не посмотрел на него, не двигаясь с места, сказал как можно отчетливее своими губами, как вареники: «Не читавши – ничего не подпишу, даже и не старайтесь»...

«Ах ты, гадина, мать-перемать...», – заорал он на меня, вскочил из-за стола и подошел к двери в соседний кабинет, где у них было что-то вроде бытовки. Там стояла тумбочка и кровать. «Иди сюда, гад паршивый» – и хватает меня за руку, а я, не сопротивляясь, свободно даю ему руку, а сам так устал, и так спать хочу, ведь они со мною третьи сутки работают по очереди, сами-то спят, а мне и часа не дали заснуть. Он схватил меня за руку, расправил мои пальцы в ладонь и направил их в щель двери со стороны подвески её и начал за ручку закрывать её, чтобы дверью сдавить мои пальцы. Когда пальцам стало больно, я сжал их в кулак, и они свободно выскользнули из щели. Он попытался во второй раз проделать такую процедуру, но я опять сжал пальцы в кулак, хотя он и хотел быстро захлопнуть – я также быстро не дался. И видя, что у него с этим приёмом ничего не вышло, рассвирепел, и неожиданно, со всего размаха дал мне по лицу увесистого «леща» – не кулаком, но я от удара упал на пол. Тогда он начал бить меня, лежащего, ногами по бокам, по спине. Я голову закрыл руками, но он не старался бить по голове, лупил меня ногами, как хотел. Я крутился по полу, не издавая ни звука, терпел, и всё больше укреплялся в своём упорстве. «Все равно не подпишу ни...» – сказал я ему отчетливо и ясно...

Следователь сел за стол и спросил меня:

– А Булгакова Анатолия ты знал, он отрядненский житель?..

Я, сидя на полу, опершись спиной о стену, говорю:

– Да, знал. Мы ходили вместе в школу. Потом я пошел работать в Госбанк, а он стал трактористом в МТС.

– А какие у тебя с ним были отношения? О чем говорили, когда на велосипедах гоняли по станице, отдыхая, о чем сговаривались?

В те времена велосипеды были такой же не всем доступной редкостью, как теперь автомашины. У этого Толи и ещё у некоторых ребят они были, и мы часто, точно как теперь мотоциклисты гоняют по улицам – также и мы на своих велосипедах вечерами «стайкой» носились по Отрадной. Этого Антона и меня в сентябре призывали в армию – первыми по списку. Наш военком его спросил:

– Ну, ты куда хочешь пойти служить?»

Толя ответил:

– В танкисты.

– Ну, вот туда и пойдешь

– А ты музыкант, куда хочешь?

– В школу военные дирижеров

– Ну, вот и поедешь в Саратовскую школу – обрадовал он меня. Но это ведь было в сентябре?.. С этим Толей мы учились в одной школе с первоклашек...

– Так о чем вы с ним сговаривались, ну-ка расскажи?

– Я не дружил с ним, как с другими ребятами и никаких разговоров «по душам» у меня с ним не было, он парень другого «плана». Был ближе к технике, а я ближе к музыке, и никогда с ним ни о чем не разговаривал. А на велосипедных прогулках не было времени для разговоров, мы больше в «обгонялки» играли.

– Значит, ты и это отрицаешь?.. Не хочешь признаваться, отвечай!..

– В чем мне сознаваться? Я с ним никогда не был близок, и знаю его только потому, что учился в одном классе, но я с ним никогда, кроме «здравствуй» не говорил.

– А вот он сознался во всем, а ты молчишь...

Тут я понял, что и Толю арестовали. А следователь опять похлопал рукой по папке и сказал, что, мол, «у нас всё здесь про вас есть, не отпирайся и подумай, мол, тебе никогда не отвертеться от твоей вины...»

Я сидел как ошарашенный, смотрел на следователя и на его папку, соображая, что же там может быть?.. У меня и мысли не было о том, что в той папке может находиться что-либо меня компрометирующее, что-нибудь «против меня». У меня вообще не было кого-нибудь из близко знавших меня друзей или знакомых, которые обо мне могли знать или подумать что-либо плохое. Я ничего не украл, никого не убивал, не пил, как некоторые мои товарищи уже «увлекались этим делом» – я им на гитаре играл, когда бывал в таких компаниях...

Комсомолец я был активный, мне всегда было приятно слышать хорошие отзывы обо мне от секретаря РК ВЛКСМ Пурисова, хорошо знал заместителя его по спорту Радченко – наш

футбольный начальник был он – команда наша называлась «Командой РК ВЛКСМ». С ним я, как говорят, «ладил», и вообще у меня не было причин сомневаться в своей «правильной жизни» в то время. Я потому считал себя таким, какими в то время стремились быть все молодые люди «нашего круга», если так можно выразиться. И все мои друзья и товарищи были для меня хорошими. И у нас не было оснований кого-либо считать не таким как я, а я ни с кем не ссорился и не ругался, у меня не было никаких врагов или недоброжелателей – я так считал и был в этом уверен. В своем окружении – мои друзья и товарищи – все были старше меня и не я к ним, а они ко мне все тянулись – может быть потому, что я был – во-первых, музыкант, никогда не унывающим, всегда веселым и шутником. Так рассуждал и думал про себя. Я все глядел на папку и никак не мог подумать о том, что в той папке может быть что-либо плохое про меня...

Это уже в третий раз следователь мне намекал на неё, но я ничему не верил и не хотел этого. Не обращал никакого внимания на его слова. Никакой вины я за собой не чувствовал, ничего плохого я не сделал, за что меня можно было арестовывать. И я, осмелев, спросил его: «Так вот за это вы меня и арестовали? За то, что есть в вашей папке?»

– Не всё ещё, – сказал следователь. – Вот ещё одну фамилию – ты знаешь же кто такой на самом деле Лизогубов, ты же знаешь, что его дед был богач?..

А я все думал – почему он меня расспрашивал про Исакова, про Толю, а про Жору, с которым меня привезли «на одной картошке с песней» в Армавирское НКВД – до сих пор ни слова?.. Это как-то подсознательно само в моей голове промелькнуло на миг, и потом ушло, а вот теперь я об этом подумал...

– Я знаю его, как своего близкого друга, как музыканта и руководителя оркестра. Знаю, что он без отца и без матери остался и всю жизнь живет у родной тети Саши – материной сестры, муж которой – Карпенко – работал ранее после гражданской войны в ГПУ, а потом в НКВД – теперь он председатель райпотребсоюза...

В ГПУ не держали бы кого попало, а Карпенко был известен всей Отрадной. Он совсем недавно перешел на другую работу. А Жора Лизогубов – это не тот человек, который мог кого-либо заставить подумать о нём плохо. Его «отчим» не держал бы в доме у себя какого-то там «внука богача-деда»... Жора после службы в армии, где стал очень приличным трубачом – вот уже несколько лет работает зав. Домом культуры и руководителем нашего духового оркестра. Так я следователю рассказал, хотя знал о том, что все это ему давно известно...

– А что вы с ним всегда обсуждали, о чем сговаривались, ведь вы же часто ночевали вместе – признавайся?

Я подумал – ну что ему сказать? О чем могут говорить два друга после своих свиданий с «барышнями», два молодых парня, у которых в мыслях то и дело были одни «юбки», грубо говоря. Работа, как его, так и моя – как говорится, «на высоте». Здоровье у нас отличное было, настроение всегда хорошее, мы себя вели очень «патриотично» и в духе времени. Никаких замечаний нам никто не делал – не было причин к этому. Мы себя считали настоящими комсомольцами-ленинцами, об этом в то время только и было разговоров... Это я ему скажу? И вспомнил – он, говорю, жениться собирался, а его я отговаривал от этой затеи... Так оно и было в течении двух лет, как только он познакомился со своей будущей женой. Я отговаривал его жениться, боялся потерять лучшего друга, что всегда случается, когда один женится...

– Так что же ты скажешь про него? – спросил следователь.

– То, что он друг мой самый лучший, и всё, больше ничего не спрашивайте, я вам всё равно не верю, пока вы не дадите прочитать мне самому протокол обо мне.

Я был на пределе сил, спать хотел ужасно, а он меня уже третий час «уговаривает». Я обратил внимание на то, что он ничего больше не записывал и все мои последние ответы на его вопросы так и остались «в воздухе». За вторым столом не сидел тот, который все печатал на машинке до этого.

Сам следователь тоже, наверное, порядком устал, ведь видно же, – он молодой, чуть старше меня, но это было по нему видно. Убедившись в том, что с «пальцами» ничего не вышло, снова поставил меня в «стойку», а я сразу сел на пол. Он презрительно посмотрел на меня, подошёл, и, как шофер по спустившему воздух колесу машины, – несколько раз ударил меня по бокам ногой, велел подняться и отправил меня в камеру. Там – всё с начала – пошли расспросы, но я буквально валился с ног. Мне дали место спать «с вытянутыми ногами». Улег-

шись, я коротко сказал: «Не подписал», – услышав ободряющее «молодец» – не помню, как уснул.

Через три часа меня снова повели к следователю. Шли третьи сутки, в течение которых я спал всего три часа. Выходя из камеры, я сказал Фанову: «Иду, не знаю, что со мной будет, но все равно ничего не подпишу»...

В кабинете на этот раз собрались вместе все три мои мучителя. Сидели за столом свежесбранные, с лоснящимися щеками, наодеколоненные. Высокомерно меня смирив своими взглядами, и один из них сказал: «Ну вот что, такую мразь убить не жалко, если он сейчас не подпишет свои протоколы, тем хуже для него, его и бить уже некуда, на кого он похож, вы посмотрите на него. Иди к столу, в последний раз, по хорошему, бери ручку и вот здесь распишись...»

Я подошел к столу, но никак не подписывать, а так просто, механически, и сам того не ожидая, вижу на столе лежит первая страница протокола – анкета и на одной строке увидел написано слово «кулак», смотрю дальше – фамилия в начале анкеты – моя... Я озадаченно спрашиваю их: «А почему это я бывший кулак? У нас сроду дома своего никогда не было. Мы всю жизнь по чужим квартирам в наем жили. Отец мой простой портной и никогда кулаком и быть не мог?..» – «А где ты это видишь, где написано?» – встревоженно как-то спросил один из них... А-а-а вот где, – так это ж анкета, но это теперь уже не имеет никакого значения...» И они, трое, многозначительно посмотрели друг на друга – кто же допустил такую «промашку», забыл закрыть газетой начало протокола, но сами все молчали, и один из них быстро убрал под газету эту страницу.

Я же ещё больше укрепился в своем предположении, что в том протоколе написано Бог знает что, ещё больше стал им не доверять, и твердо и решительно сказал им, набравшись духу: «Вот что – вы сейчас можете убить меня на этом месте, но я ничего подписывать не буду, не буду, не буду». Отошел от стола, сел на пол к стене... Минуты три они вполголоса о чем-то совещались, а я сидел на полу, клевал носом, чуть не засыпал. Тогда первый, мой Отраденский следователь, пинком сапога поднял меня с пола, подвёл к столу и говорит: «В последний раз спрашиваю, ты будешь подписывать по-хорошему?» (Это после побоев-то!).

«Нет, всё равно не буду, нате, убивайте меня на месте», – сказал я ему... Сказал, а сам испугался, не знаю чего, но испугался, думал сейчас он мне к-а-а-к д-а-а-а-с-т по морде... и кажется мне, что я побледнел. Ну, вообще то, я здорово струхнул тогда, аж сейчас помню всё... Не помню его лица, не помню, что делали те, двое следователей, не помню, что я сам делал – это я описываю своё состояние именно в те минуты – после мною сказанного своего «последнего слова» – это в те минуты я был в такой прострации... Прошло какое-то время, оно мне казалось долгим – я же ждал избиения, более жестокого, и ко всему был готов – я же сказал им: «Нате, убивайте»... Следователь сгреб со стола протоколы, сунул их в ящик стола, и проговорив на ходу: «Ну и ... с тобой!» – приближаясь ко мне: «Сгною в лагере, все равно погибнешь тварь», со всей силы ударил меня по лицу кулаком под подбородок, а когда я покачнулся и уже падал на пол – он ногой с такой силой поддал мне под зад, что я до двери долетел по воздуху. Там стоял конвоир, поднял меня, поставил на ноги и спрашивает следователя: «В камеру его, да?»... – «Да, отведи эту тварь, всё равно подохнет в лагере, я ему устрою веселую жизнь»... И всё. Это я отлично помню до сих пор, как помню и тот момент, до этих «заключительных речей прокурора» и «последнего слова обвиняемого», если не грешно это всё сравнивать с «судом правым, скорым и милостивым»...

А тот момент, когда следователь, прищурившись, приближался ко мне, а я весь сжался в комок внутренне и закрыл глаза, точно помню от предчувствия чего-то страшного – глаза закрыл – и в этот момент получил «удар зубодробительный, удар скуловорот», тот самый «последний его удар по лицу», а как летел по воздуху к двери – вот этого не помню.

«Последним словом подсудимого» или «обвиняемого перед вынесением ему приговора» (как «при настоящем суде») были мои слова – «Нате, убивайте на месте, но я вам ничего не подпишу». А последнее слово прокурора (как на суде всегда делалось), а в данном случае и судьбы – были слова следователя – «всё равно подохнет в лагере, я ему устрою веселую жизнь»...

После обмена репликами и прощальными рукоприкладствами и ногоприкладствами, между «правым» и «виноватым» меня в последний раз повели по знакомой дороге в камеру. На

этой дороге, когда меня водили днём, я слышал, как проходящие и встречные люди, глядя на меня, идущего под наганом конвоира, произносили: «Такой молодой, с виду и не подумаешь, а уже чего-то натворил». Они видели во мне настоящего большого преступника. Меня же это доводило до страшной злобы на Романова...

– «Гляди, как ведут, видать опасный», – и другие реплики в том же духе, причем не один раз...

На этот раз конвоир наган не наставлял на меня, видимо потому, что я «так прилично выглядел» (куда там мне убежать!), еле-еле двигал ногами, шёл ссутулившись, исхудавший, весь избитый, со сплошным синяком вместо лица, полусонный и голодный, как бездомная собака – прямо жалкое зрелище...

Но в камере меня, «как зрелище», встретили сочувственно и жалели меня, увидев моё лицо в полсиняка и вполпухлого куска мяса, спросили: «Это что, опять били тебя, гады?..» Я ответил всей камере сразу: «Это следователь хотел дать мне ногой поджопника, а я увернулся»... И двумя словами – «нет, н-е-ет!».. было всё сказано и понятно. «Молодец», – сказали все, а староста Фанов изрёк многозначительно: «Они тебя больше не вызовут, раз ты наотрез отказался подписывать. Они же знают, что по-хорошему тебя не уговорить, а по-плохому – чем больше они тебя бьют – тем больше у тебя на них злобы. А дела-то у тебя нет никакого! Вот, что они сами выдумали, на том и будет конец. Ложись, отсыпайся». Что я и сделал. Спал почти 20 часов, правда, с перерывами...

На этом закончились, во-первых, мои мучения, физические и следственные, я им не нужен стал; во-вторых, всякие надежды на конец «предвыборной изоляции подозрительного элемента» – этого, как ни странно, все ждали как-то подсознательно, верили в какое-то чудо; в-третьих, – все надежды на справедливость, когда мы, сидя в грузовике на картошке рассуждали с Жорой: «А что они нам сделать могут – мы же ни в чем не виноваты?»

И на этом вообще кончилось «моё дело». Ведь в дальнейшем никакого суда не было, никакого приговора мне никто не зачитывал, на какой срок меня осудили – я не знал, за что же, в конце концов, меня мучили, определили меня в тюрьму или лагеря – я также не знал...

Мне разрешили лежать с «вытянутыми ногами» дня три, пока я не пришёл в общетюремную норму. У меня все тело болело, я не мог сразу подняться, болели руки, ноги, рёбра, спина. Лицо моё было точно как печеное яблоко, и по опухлостям, и по цвету, губы распухшие и глаза в подтёках, усталость была невероятная. Легче стало от сознания того, что больше не вызовут на допрос – с одной стороны, а с другой тяжело давила неизвестность – что же дальше будет со мной, да и со всеми такими, кому «судьба улыбнулась в 1937 году». Ведь никому из таких как я не предъявляли никаких обвинительных заключений, полагающихся перед судом. А по газетам знали, что всех тогда сажали именно судом, таких как Рыков, Пятаков, Радек, Зиновьев и всех участников разных блоков и групп, – читали все подробности об их «признаниях». И все для себя ждали именно суда, который по закону должен был определить – кого домой, а кого в тюрьму... Но ждали все, а суда то – и не было?.. А об этих «тройках» тогда и понятия никто не имел...

Через некоторое время, меня в числе оформленных (как потом узнали 2/ХП-37 г.) перевели в Армавирскую общую тюрьму, где мне пришлось «отведать прелестей» общей вшивой и вонючей камеры и тюремного изолятора.

Из тюрьмы, нас человек 100, этапом, перевели в барак сельхозколонии, где раньше отбывали сроки «принудчики», которых куда-то увезли.

Дождь, на дороге без покрытия – грязь невылазная, нас, строем по пять человек, с усиленной охраной и собаками, гнали в эту сельхозколонию, находившуюся в 6-7 км от города. Возле железнодорожного переезда, у закрытого шлагбаума, раздалась команда – «Садись (куда, в грязь, в лужи?) С-а-а-д-и-и-и-с-ь, чего рассусоливаешь!» – собакам тоже подали команду. Они г-а-в, г-а-в – овчарки большущие, зубастые, злые – только и ждут, когда их отпустят, чтобы схватить любого. Все мы впервые в жизни это видели и на себе испытали эти «прелести». Кто не решался в грязь садиться, а больше ведь некуда! – на того взмах прикладом. И он сразу уселся в лужу. Дождь поливает нас сверху, и мы сидим в лужах, ждём, когда шлагбаум откроется. Конечно, все наши вещи – мешочки, сидорки, сумочки, рюкзаки – все в грязи. Так положено, ведь сидячий не побежит, потому стоять никому не разрешали...

В этом этапе я встретился со своим отцом и с Жорой. В бараке, где нас поместили человек

200-250, мы расположились как на пикнике – прямо на полу, без матрацев и подушек. И за многое время хоть выспались по-настоящему – все «с вытянутыми ногами», и не по очереди.

Было не так тесно, как шумно. После переполненных душевых и вшивых камер, в бараках колонии было намного лучше, хотя парашу дежурные по двое выносили, так как на улице никого не выпускали.

Через месяц, здесь, нас всех родные просто «обнаружили». Жители Армавира видели этот этап – переход в колонию, и наверное, сообщили всем, искавшим своих, вроде нас с отцом.

Почему не сообщали родным сведения о нас «романовы», всё это выяснилось в разговорах в этой колонии. Но как бы там ни было, мы в один день получили на троих два мешка продуктов и мешок тёплых вещей от моей матери и родных Жоры (его жены, сестры и тётки). Все они нас увидели, а мы их – иногда, в редкие дни, когда желающих поработать на свежем воздухе, под конвоем выводили в поля убирать остатки моркови, свеклы, картофеля.

В один такой наш выход в поле, они, к великой обоюдной радости и увидели нас, возвращающихся после работы. Передачи наши были просто богатыми, да не только мы, все, кого перевели в колонию до этапов – получили эти долгожданные передачи. Столовой не было, привозили один раз в день какую-то болтушку из кусочков моркови и свеклы – хуже в десять раз тюремной баланды. Питание было отвратительным, поэтому, наверное, и разрешили передачи.

После продолжительного голода в тюрьме, здесь для нас, с передачами от родных, жизнь была просто как праздник. Очень многие, не удержавшись, не послушавшись добрых советов, в первые же дни объелись настоящей вкусной едой и, конечно, все заболели расстройством желудка, в том числе и мой дружок Жора.

Вместе с нашими родственниками была и мать того Толи Булгакова, которого мне «шил» следователь. Толю мы в нашем бараке обнаружили, и я с ним разговаривал, как, впрочем, и с Жорой и отцом. Толя рассказал, что его спрашивал следователь про меня. «Всё, что я знал про тебя, и вообще, как в школе учились, я ему рассказал, а следователь всё точно записал и мне прочитал, дал подписать. Я все подписал. А что, не так что сделал?» Жора, как и отец, тоже всё подписали, как говорят, «с первого предъявления». «Ведь он же нам прочитал – записано всё, как отвечалось».

И отец и Жора, совершенно одинаково реагировали на всё и «сразу рассказали следователю, что мы ни в чем не виноваты, он так всё и записал», – сказали они.

Я спросил у отца, Жоры и Толи: «А вы что, не видели, что на ваши ответы «нет», «не слышал», «не видел», «не говорил», т.е. фактически из двух или трёх слов – следователь исписал на каждый ваш ответ по целой странице листа бумаги? Почему так много написано, не спрашивали его? Не просили у него сами прочитать написанное?» Отец говорит: «Так он же следователь, он должен правду писать – то, что мы говорили. Он написал и нам всё прочитал. Все было правильно, и я сразу всё подписал». Так же и Жора, и Толя..., они и мысли не допускали о том, что следователь мог их обмануть, верили ему безгранично и со всем соглашались, что он им читал. Отец говорил – на то и следствие шло. Я им всем возразил, причем ошарашил их своим доводом, они, наверное, и сейчас помнят об этом. Я им сказал так: «А раз так, все как вы сказали он записал, тогда зачем было вас арестовывать и вообще, зачем это следствие?...» Они рты пооткрывали и долго соображали – а и вправду! – зачем же вся эта канитель?... Они подписали, я не подписал, как и многие, а всем по десять лет «определили»: по тем «правильно записанным» и «правильно прочитанным» ответам...

У меня на теле были ещё мало-мальски заметны следы гуманного обращения, и я рассказывал, как меня лупили. Их же, никого даже пальцем не тронули, но таких как я, они в своих камерах видели, и мой рассказ для них новинкой не был. Никто из них троих, как и всех остальных, кто был с нами в бараке, да и во всей колонии – никто не знал ни своих сроков, ни причин, за что они их получили. Всех тройка «обслужила».

Вскоре нас снова этапировали в тюрьму, где формировали этапы уже по лагерям. Я вместе с отцом попал в один этап – в Усолье. Так было написано на красных небольших вагонах с решётками – прочитал, когда нас вели перед посадкой в санпропускник. Там меня врачи забраковали – у меня сильно нарывал указательный палец на левой руке. Меня в «отсев» – так было тоже написано на вагоне, куда меня и других с разными болезнями посадили и привезли обратно в тюрьму. Отец поехал один, без меня, попал в Архангельскую область на

станцию Пукса, где и пробыл до самого дня реабилитации.

Через некоторое время палец зажил, и я был оформлен на этап во Владивосток. Как нас «обыскивали» и смотрели «туда», заставляя меня краснеть от стыда, как нас везли по железной дороге с «молотками», на пароходе до Магадана – я уже писал.

Толя Булгаков погиб на Колыме, а Жора, освободившись в 1947 году, уехал с Колымы на Кубань, к себе домой. В Отрадной муж его сестры Л.С. Немченко был в то время прокурором Отрадненского района и, зная Жору, как своего сына, он приказал ему немедленно возвращаться домой, взял его под свое покровительство. На работе его восстановил, и Жора несколько лет работал на прежней должности – заведующим Домом культуры. Потом прокурора сменили, а Жору снова посадили. Это уже было время «второго покоса» – в 50-е годы. Потом его всё же выпустили, реабилитировали, но он уже не работал, как пенсионер дожил до 1987 года и умер дома, на руках у жены от паралича. Отец мой, тоже реабилитированный, прожил до 1979 года и умер пенсионером в Ростове-на-Дону, дожив до 90 лет...

V

НЭП. Первый «Фордзон» и «лампочка Ильича» в Отрадной. Дело «Промпартии». Рамзин. Отмена НЭПа. Начало колхозов и участие комсомольцев в реквизициях. Голод 1932-1933 гг. «Мобилизация ресурсов». Торгсин. Голод в Армавирской тюрьме и на Колыме

Во времена НЭПа на Кубани, как и везде по стране, было хорошо и с продуктами питания, и с «мануфактурой», как в то время называли все ткани для одежды – и хлопчатобумажные и шерстяные. После гражданской войны и голода, разрухи 20-х годов – это «хорошо» считалось изобилием. Начала работать и промышленность – появилось много сельхозинвентаря и предметов домашнего обихода. Особо заметно было появление в стране первых американских тракторов «Фордзонов». Я помню, с каким удивлением и восторгом у нас в Отрадной все радостно встретили появление первого «Фордзона», за рулём которого сидел наш сосед Ватулин, в кожаных брюках, в крагах на ногах, в кожаной куртке, в длинных по локоть кожаных перчатках и противозветровых очках, «запакованный» как космонавт! Он гордо сидел на решетчатом сидении трактора, высокомерно поглядывая по сторонам, «неся» по улице со скоростью километров в 10 не больше, поднимая клубы пыли, в которой бежали с криком мальчишки, в том числе и я, и собаки с громким лаем. А жители Отрадной с большим удивлением, молча, смотрели на это «чудо»! Некоторые старухи истово крестились и отворачивались от «нечистого духа»!.. Это я сам видел...

Примерно в то же время у нас и первая электролампочка засветила, тоже произвела целый фурор среди кубанских казаков. Еще через год – первый радиорепродуктор, вывешенный на нашей избе-читальне, перепугал половину станичников!.. Потом радиоприемники – тогда детекторные – появились и в частных домах. Слушали их через наушники, положенные в глубокую тарелку, собирались к счастливцу-хозяину, имевшему приемник, целыми улицами в одну хату или комнату и слушали, как чуть слышный голос произносил: «Алло, Алло, говорит Москва, радиостанция имени КОМИНТЕРНА!..» Жизнь, как говорили тогда, налаживалась. Но в то время в стране появились первые враги партии и советской власти. Теперь это объяснено внутрипартийными оппозициями, выступавшими со своими программами, которые были не в согласии с программой ленинской партии.

В Донбассе была разгромлена так называемая «Промпартия», во главе которой были зам. Наркомтяжпрома Пятаков и другие видные ученые и государственные деятели – «вредители», как их тогда называли. Они действительно были вредителями, были против развития нашей промышленности, особенно в Донбассе, где они устраивали очень много диверсий в шахтах, так как рабочий класс Донбасса был активнее, чем где-либо в другой части страны, самозабвенно взялся за восстановление заброшенных шахт, повышая выработку и поднимая выше производительность труда. Ведь именно в Донбассе первым таким героем труда был Стаханов, давший начало великому «стахановскому движению» по всей стране. Вот эта вредительская «Промпартия» и была ликвидирована, как первая организованная вражеская группировка. Очень хорошо помню, как в то время писалось об этом в газетах. Помню и такой случай: в числе тех вредителей промпартии был профессор Рамзин, осужденный на 10

лет. Ученый он был очень крупный, известный чуть не на весь мир. И вот пошла молва о том, что этого Рамзина освободили из тюрьмы, он сам себе это освобождение заработал.

В то время на нефтепромыслах Майкопа в одной фонтанирующей нефтескважине вспыхнул пожар. Пламя горящей нефти сжигало всё по берегам реки Белой, куда нефть попала и плыла по реке, уничтожая всё, что было на её берегах. Потушить пожар никак не могли. Фонтан нефти бил очень сильно, полыхающее уже в течение месяца пламя, не позволяло приблизиться к скважине, огонь свирепствовал... И вот тогда профессор Рамзин предложил свои услуги по тушению пожара, с обещанием за несколько дней пожар ликвидировать. Что и сделал за три дня. Укротил огонь. По его распоряжению, как можно ближе к скважине, прокопали туннель, занесли туда взрывчатку и сделали большой взрыв, после которого пласты земли сместились и закрыли выход фонтана – и... потушить уже не фонтанирующую струю нефти большого труда не составило. Рамзин был освобождён из тюрьмы. А что с ним дальше было – просто не помню. Об этом в печати не сообщалось.

Потом пришло время отменить НЭП, и началась подготовка к сплошной коллективизации и индустриализации страны. В это время я и был принят кандидатом в члены комсомола. Уже будучи кандидатом, а я всё время был членом духового оркестра и струнного оркестра, которым руководил мой отец – это давало мне возможность чаще, чем кому-либо другому быть на разных собраниях, митингах и других мероприятиях, где оркестр был просто неотъемлемой частью программ мероприятия, если так можно сказать!..

Я был молод, всё отлично слышал и видел, всё впитывал как губка и всем интересовался. Часто у старших комсомольцев спрашивал обо всём, мне непонятном. Почему был отменен НЭП – в то время никто вразумительно не мог ответить, потому что, просто не знали. Но когда через два года все продукты из магазинов исчезли, когда и «мануфактуры» в них не стало, когда не стало хлеба и была введена карточная система – началась сплошная коллективизация с раскулачиваниями и выселениями «социально-опасного элемента» (как тогда писалось в газетах), когда в 1932/33 году начался просто голод – в то время прекратила свое существование и «Синяя блуза» – этот орган Профсоюзников. Затем распался наш большой хор и струнный оркестр. Половину активной интеллигенции, принимавшей участие во всех культурных в то время мероприятиях, как ветром сдуло. Всё разлетелось в пух и прах, и такое время настало тяжелое, что было уже не до самостоятельности.

Вот в то время я и видел, как бригадир колхоза, верхом на лошади с плёткой в руках и с криком «А ну-ка вы, спекулянтки, что тут расселись на базаре, а кто за вас в бригаде будет кукурузу пропалывать? А ну давай с базара, забирайте ваши кувшины и геть отсюда...», размахивал перед бабами-колхозницами плетью и гнал их с базара прямо в поле. И они, эти бабы, подхватив с собой свой базарный скарб, покорно уходили с базара под крики верхового бригадира. Плёткой он никого не бил, видимо был доволен эффектом, произведенным его руганью на баб. Так он их всех с базара разгонял. Это я сам видел, и не раз.

На мой вопрос секретарю нашего комсомола: «Почему не стало хлеба, по карточкам и то стали давать не хлеб, а кукурузную муку и очень мало», мне пояснил секретарь: «Вот завтра вы пойдете по станице, по дворам со старшими комсомольцами и будете им помогать выявлять излишки хлеба у тех, кто не выполнил хлебозаготовку, не сдал хлеб (или кукурузу, или картофель в счёт хлебопоставок) будете сами видеть, как несознательные люди тормозят хлебозаготовку, тем самым создают трудности с хлебом по всей стране». Наш секретарь был, как тогда говорили, дельным человеком. И мы кандидаты и уже старые комсомольцы ему верили, как все. Раз такая установка, раз надо выполнять хлебозаготовительную компанию, комсомольцы были первыми помощниками во всех мероприятиях, никто не смел хоть маленько сомневаться, или просто не верить в это. Тогда было все этому подчинено, мы просто не имели права в чем-нибудь в то время сомневаться.

Для выполнения комсомольского поручения нам выдали длинные железные стержни, как палки, с заострёнными концами с одной стороны, вроде небольших пик. Выполняя поручение, мы – группа в пять человек во главе со старшим комсомольцем – на следующий день пошли по дворам станицы. У старшего был список, не выполнивших хлебопоставки.

На наши вопросы есть ли у него излишки, и если есть, то почему хозяин сам не сдал на хлебозаготпункт – некоторые отвечали: «Вот приготовил, завтра сдам». И мы проверяли на

следующий день таких, кое-кто сдавал. А кто не сдавал – мы снова приходили и уже хозяину не верили, а искали эти излишки. А хозяйка со слезами причитала: «Да у нас вон трое детей, чем кормить будем? Зима только началась, а у нас всего пять мешков зерна да десять мешков картофеля»... Где они, эти излишки – нам показали, но их было мало для погашения долга. И мы пошли по огороду, тыкали в землю этими железными пиками весь огород, а он вскопан. Если была яма, она досками заложена и присыпана землей сверху. Этой пикой мы и находили ямы с картошкой, кукурузой, и у некоторых даже с мукой. Обнаружив такую яму, мы заставляли хозяина (и сами ему помогали) выгребать из ямы всё, что там было. И подошедшие по вызову автомашины, а то и просто подводы вывозили все эти «излишки» на хлебозаготпункт, под возмущенные крики хозяина, иногда сопротивляющегося и с топором в руках. Но у нашего старшего был наган, поэтому эксцессов не было, а хозяйка с воплями и криками проклинала нас всех на чем свет стоит!..

Так всю зиму тридцать второго и весну тридцать третьего годов мы «помогали» выполнять хлебозаготовки, изымая у населения, не выполнившего своих обязательств, «излишки хлеба». К концу зимы всё хуже было с хлебом и этими «заготовками». Мы, ходившие по дворам с «пиками», проверяя огороды, видели опухших от голода детей, обзлётанных до предела единоличников, которых было очень много. Они и составляли ту часть населения, «не выполнившего своих обязательств по хлебопоставкам», у которых и производилось «изъятие» излишков. Понималось это так тогда – раз не сдал, значит «излишки»!.. По карточкам почти ничего не выдавалось, с базара исчезли все продукты, и о голоде уже не говорили, что он наступит – голод уже наступил и очень тяжелый. И уже пошли разговоры о людоедстве. Почти каждый день можно было слышать рассказы о том, что... а вот в Невинномысской, или в Удобной, или в Армавире арестовали старуху, которая давно подозревалась и вчера попала – продавала на базаре пирожки с человеческим мясом. Эти сплетни некоторым казались правдоподобными, потому что к тому времени по всем станицам не стало видно на улицах ни кошек, ни собак, раньше стаями бегавших по улицам – их всех просто люди поели. Начала цвести акация, цветы её называли кашкой. Всю эту кашку также поели, повсюду уничтожили крапиву... Слухи про людоедство долго и упорно повторялись, но конкретного случая я не знал, да и никто достоверно об этом не мог сказать – это были, наверное, кем-то «пущенные утки», каких в то время было немало. От недоеданий и различных отравлений желудков пошли повальные болезни и повальные случаи смерти. Больница была переполнена истощенными, умирающими людьми, так как было очень много их, и очень много было случаев, когда мертвых находили по дворам – некому было хоронить, а также под заборами на улице, их подбирали, и на подводах, свозили в общую могилу. Время было страшное...

По поводу наступившего голода на Кубани и по всей стране, разговоры были о том, что всё это работа, этот искусственный голод – деятельность Рыкова, который был организатором и вдохновителем такого рода «хлебозаготовок». Его вскоре не стало в правительстве. Наш комсомольский секретарь разъяснял нам, что в настоящий момент идёт организационно-хозяйственное укрепление колхозов, а дальше будем ждать разъяснений. Скоро всё нормализуется и будет хорошо... Не верить этому мы не имели права и считали, что так и нужно. Всё принимали на веру...

И вот это «хорошо» вроде начало наступать. Появился в магазинах так называемый коммерческий хлеб – без карточек, но дорогой и только кило в руки!

Конечно, страшные очереди за ним стали везде. Появился он сначала в больших городах. Вскоре открылись «Торгсины». Что это такое, надо описать подробно. Это прежде всего рог изобилия, который раскрылся на прилавках и витринах магазинов (они были смешанные). В «Торгсинах» было изобилие любых продуктов питания: мясо, колбасы, сыры, ветчина, сосиски, окорока копчёные и простые, икра всех цветов и сортов, овощи, фрукты – ну, в общем, что хочешь, конечно же, тут и вина, коньяки всех сортов и марок, папиросы всевозможные, а также и промтовары – одежда, обувь и прочее готовое платье – костюмы, плащи, пальто, шапки, шляпы – ну, в общем, всё, всё, всё! И цены, как при НЭПе. Помните, я писал, сам покупал масло подсолнечное – 2 коп. бутылка. Такие в этих «Торгсинах» были низкие цены, все стоило буквально копейки! Но это все покупалось только на золото и на серебро. Сдашь золотые или серебряные изделия – всевозможные – вплоть до иконных окладов – получишь квитанцию и иди «отоваривайся» в «Торгсине».

Как расшифровывалась вывеска магазина «Торгсин» – я узнал, будучи уже на Колыме, в лагере, а «познакомился» с этим магазином «вплотную» – в июне месяце 1934 года – и вот каким образом. Познакомился в том смысле, что в то голодное время самолично откусывал всего того «дефицита», которым был переполнен «Торгсин» в то страшное время.

Нас было пятеро друзей-товарищей по футбольной команде, которых в то время называли среди молодежи «братва». Так вот у нас в нашей «братве» был Шурка, наш товарищ, футболист, работал тогда в райпотребсоюзе счетным работником. Его отчим был красным партизаном, как в то время называли на Кубани героев гражданской войны, он был известным в Отраденском районе бывшим партизаном...

Однажды этот Шурка нам похвалился, что дома нашел английские деньги – купюру в 50 фунтов стерлингов и сдал их в «Торгсин». Госбанк эту купюру послал на экспертизу в краевую контору Госбанка в г. Ростов-на-Дону (тогда был Азово-Черноморский край с центром в Ростове). Если бумажка не фальшивая, то Шурка получит более 300 рублей «торгсиновскими», а это в те дни – целое состояние!.. Цены-то в «Торгсине» копеечные на все продукты и товары, которыми магазин был до отказа набит, торговля шла не бойко, и очередей в нём не было никаких.

И вот пришло извещение, по которому Шурка получил заветную торгсиновскую книжку на право покупок в магазине товаров на сумму 342 рубля с копейками!.. Представляете себе, как это много в те времена!..

Нам он объявил, что после работы всей компанией – нас было пять человек – идём в магазин, что мы с удовольствием и сделали. По его разрешению покупал каждый себе, что кому нравилось, конечно, из вин и закусок, выбор-то в «Торгсине» был богатейший! Купили по две бутылки вина, кто какого хотел – мускату, мaderas, хересу, ликёров, наливок и всевозможных рыбных и других консервов, разных колбас, копченостей, сыров, конфет и, конечно же, самых дорогих папирос в больших картонных пачках. Нагруженные всеми этими «дарами божьими», «торгсиновскими дефицитами» пошли на берег реки, в сад, и там, на лоне природы, вдали от всех неприятностей и невзгод, открыли пир, настоящий пир горой!.. В то время все давно забыли запах и вкус не только хорошего вина или колбасы, или сыра и ветчины – обыкновенного хлеба запах забыли!..

Разумеется, к вечеру, по темноте, все расползлись, кто куда... По всей станице наутро только и было разговоров про этого Шурку, который где-то взял эти заграничные деньги, сдал в «Торгсин» и перепоил всех своих друзей-товарищей...

А мать его, – когда он явился пьяным домой, – отобрала у него эту книжку и наутро – прямо в магазин. Накупила там продуктов: муки несколько мешков, также разных круп, сахара, сала, копченостей и других нескоропортящихся продуктов, разных вещей и мануфактуры, которая тоже была давно острейшим дефицитом. И весь этот воз вечером отвезла к родственникам на хутор Грушка – в 10-ти километрах от Отрадной. Сделала она это, как говорят, «тихо».

На второй день нас всех вдруг забрали в НКВД, где каждого подвергли обстоятельному допросу: «Где Шурка взял эти 50 фунтов?..» Нам пришлось отвечать так, как он сам каждому из нас рассказывал. Наши ответы на этот вопрос были у каждого разными, что и послужило причиной того, что самого Шурку держали в НКВД целый месяц. Мне, например, он говорил, что нашел их дома, в бумагах: «Отец, мол, с войны их принёс». Другому сказал, что обнаружил в книге, заложенными, а книгу взял почитать у одной девчонки Сони, брат которой работал вместе с ним в райпотребсоюзе. Третьему сказал, что эти деньги ему дали интуристы в Красноводске, где он был, когда «шпановал» – у него был такой факт в жизни, когда он украл у матери деньги и сбежал из дому. Из Средней Азии его домой привезла милиция и сдала матери... Четвертому сказал, что нашел на улице, но где и когда – не сказал. Короче говоря, нас всех держали в НКВД полдня, потом сначала отобрали у нас его подарки, которые он нам купил в магазине. У меня взяли футболку трикотажную, очень красивую, такой не было у нас ни у кого; у второго отобрали хромовые сапоги; у третьего – прорезиненный плащ; у четвертого – белые брюки, а потом отпустили по домам. А самого Шурку держали в НКВД, что там с ним было мы не знали, но нам казалось, что своими разными рассказами об этих фунтах – где он их взял – он сам запутал всё и сам отбредивался, расшифровывая свои же «байки», поэтому его и держали в НКВД целый месяц – выясняли. А дома у его матери

пытались всё купленное ею в магазине тоже отобрать, но ничего не обнаружили. Мать хитро сделала, отвезенное на хутор к родственникам всё осталось в целости, а туда они не догадались проехать...

Сам Шурка, после месячного пребывания в НКВД, никому ничего не сказал, и мы все, «пострадавшие», были в абсолютном неведении. С нами он ничего не выяснял, видимо, там его предупредили, он был для нас нем, как рыба... Мы только с удовольствием вспоминали тот вечер, когда нам пришлось от души «вкусить» всего торгсиновского дефицита к немалой зависти всей нашей отраденской молодежи, да и взрослых, так как по всей Кубани, да и везде – хлеб был по карточкам, голод 33-го года был ещё не забыт... Откуда у него появились эти деньги и почему у нас всё отобрали и хотели отобрать всё, купленное его матерью, спрятанное ею на хуторе – это всё так и осталось покрытым мраком неизвестности; и до сих пор нам непонятно: «Почему? Как назвать такие «меры»?..»

Но перед этим незадолго прошла так называемая компания по «мобилизации внутренних ресурсов». Прошла по всей стране, эту «мобилизацию» нам объяснил наш комсомольский секретарь – и мы должны были верить, и верили. А куда нам деваться – всюду и всё правильно, никто не возражал, и даже не пытался. Не знали в то время слова «боюсь» или «опасно», это ведь был ещё не 1937-й год, а только 1934-й... И вообще, тогда никто не рассуждал, всё делалось под лозунгом «Догнать и перегнать!» Имеется в виду тогдашний призыв – догнать и перегнать капиталистические страны по индустриализации страны, строительству средств производства, промышленных предприятий и выпуску промышленной продукции. И для выполнения этой программы по строительству, надо было как можно больше своих денег [вложить в производство], чтобы не одалживать их у капиталистов – найти средства внутри страны. Вот и была проведена компания по этой мобилизации внутренних ресурсов – негласное органами НКВД изъятие ценностей у населения путём обысков.

Вначале были обысканы квартиры бывших, более или менее известных богачей, из старых, если так можно сказать, разбогатевших и не убежавших за границу бывших буржуев, разбогатевших казаков во время голода 1921 года, как тогда говорили у «недораскулаченных», и просто у всех жителей, на которых «положил глаз начальник НКВД» – обыскивали на всякий случай, если что интересное будет. Вот так и «мобилизовывали», или просто отбирали, изымали... Это мероприятие, называемое «мобилизацией внутренних ресурсов», прошло по всей стране, по всем населенным пунктам. Когда «всё было мобилизовано», тогда и открылись магазины «Торгсин». По всей стране, сначала в больших городах, а потом даже в райцентрах. Так что к открытию этих «Торгсинов» всё было сделано для того, чтобы не было очередей в эти магазины... Но люди приходили и сдавали кто что мог – не снятые с пальцев кольца, серьги, куски серебра от иконных окладов, единичные случаи чайных или столовых ложек (у кого были припрятаны эти вещи), так как при «мобилизации», которую производили органы НКВД, особо тщательно «мобилизовывалось» столовое серебро, сервизная посуда, чайная и пр., т.е. то, что раньше при свадьбах давалось невестам в приданое. Поэтому, повторяю, несмотря на то, что совсем ещё недавно было страшное голодное время – в этот торгсин народ не толпился, несмотря на то, что в нём было всё из продуктов питания и промтоваров.

Так вот, будучи уже на Колыме, на прииске, на тяжелых общих работах, на тачке, в забое, как-то надо мною посмеялся один из нашей бригады такой работяга как и я, голодный и оборванный, некий Слатин. Он в порыве злости мне открылся и сказал: «Ну, ладно, я убеждённый троцкист, наше дело провалилось, мне дали пять лет, я их отсижу, не боюсь. Но за что тебе дали 8 лет, ведь ты дурак-дураком, пацан ещё. Здесь мне надо сказать, что троцкистов в нашей бригаде было человек 20. И им буквально всем было по приговору не больше как пять лет. Всем до единого... И очень часто на этой почве у в бригаде были большие скандалы и даже драки между «врагами народа» не троцкистами и настоящими троцкистами.

Бригадир в нашей бригаде был Н.В. Булак – он бывший главный инженер судостроительного завода им. Марти в г. Николаевске – человек большого ума и большой эрудиции, как говорят «с большой головой» – всегда эти скандалы успокаивал, и драки разнимал, и говорил всем вслух: «Всё так – нас они и засудили вместо себя, нам по 10-15 лет (были и по 25 лет), а себе по пять». Этих троцкистов как-то незаметно куда-то затем убрали с прииска, кое-кто из них остался жив после забоя – этого Слатина я видел в больнице чуть живого, он уже был полным дистрофиком. Так вот этот Слатин и расшифровал мне слово ТОРГСИН. Так же

вот, в очередной раз, когда он надо мною смеялся, он меня спросил:

– А у вас был магазин такой?

– Да, был.

– А ты знаешь, что он собой представлял, что было на вывеске его?.. Нет?.. Не знал? А помнишь, какой голод был перед этим?..

– Отлично помню.

– Так вот что это такое: **Товарищи, Опомнитесь, Россия Гибнет, Сталин Истребляет Народ**. Похоже на правду?..

В то время было очень похоже на правду. И потом я вспомнил, что на вывеске на синем фоне большими буквами желтого цвета было написано только **ТОРГСИН**, и ни номера магазина, ни его ведомства, как принято писать на магазинных вывесках, – там не было ничего. Расшифровывали в то время это слово так: «Торговля с иностранцами». Во всяком случае, я не слышал об ином варианте расшифровки этого слова.

Так вот, по поводу этой «мобилизации» ресурсов у меня отложилось в памяти следующее. К нам в дом тоже пришли за этими ресурсами. Ночью, часов в 12, стук в дверь, и входят сам начальник НКВД по нашему району Романов и с ним ещё двое, в форме НКВД. Романов был нашим соседом. Он жил в раскулаченном доме, а рядом был домик нашей бабушки, где мы жили. Забора у нас не было – рядок деревцев, вишен и груш, разделяли наши дворы.

При обыске, который делал сам Романов, у нас ничего не было, потому и не нашли, взяли 8 штук полтинников – отец всё хотел себе сделать кавказский пояс с набором – и 4 штуки серебряных чайных ложечки, остатки от приданого матери, они были с монограммой «Д.С.», что значило Дарья Смирнова... Но дело в том, что через месяц или два, я сам видел сына этого Романова (у него было два сынишки тогда, 4 и 5 лет), и в руках у него увидел одну ложечку с «Д.С.» и сказал об этом отцу. Он мне дал по затылку и сказал, чтобы я об этом даже маме ни слова не сказал, что я и сделал. И прошло много лет – уже в Ростове-на-Дону, где мой отец после реабилитации жил, и мы с ним виделись во время наших магаданских отпусков – он мне как-то сказал: «Вот теперь я понял, за что и меня Романов посадил», – и припомнил тот случай с ложечками.

А теперь еще одно, памятное. Был у нас на приiske парикмахер лагерный – очень гитару любил и просил меня частенько поиграть у него в парикмахерской, что я с охотой делал, потому что у него всегда было курево.

Был он из жуликов, и рассказал мне, как он с двумя своими друзьями, где-то под Москвой, в то самое время, когда эта «мобилизация» происходила, одевшись в форму НКВД, обчистили десятка два богатых квартир, немало поживились, и все-таки попались – получили по 10 лет. Но он тогда сбежал из лагеря, и на Колыму попал и под другой фамилией, по другому делу. Последняя его фамилия была Петров Николай, в Московском уголовном розыске, или МУРе, он известен под кличкой «Барон», каковым он и попал на Колыму.

Я хочу немного отвлечься от начальной темы этой главы и попутно написать о том, как меня эти вот жулики на приiske «Верхний таёжник», куда я попал сразу из Владивостокской пересылки, спасли от голодной смерти. Об одном голоде я написал – голод не в неволе.

Вообще это слово я всегда вспоминаю с болью в душе и трепетом, даже со страхом. Ведь всем, наверное, известны страдания, муки людей, перенесших ленинградскую блокаду, все знают, сколько народа умерло в то страшное время во время войны. Нет надобности это всё повторять. Но я должен сказать о том, что людям, не познавшим даже частично этого страшного чувства голода – им никогда не понять настоящей сути его, что длительное время голода может сделать с человеком, во что он может превратиться, кем стать, и каким он будет, пережившим неоднократно и в полную меру, если так можно сказать, это страшное слово голод... Сам я очень трудно, но пережил настоящий голод, в полном смысле этого слова, и на протяжении довольно длительного времени. Во время голода зимы 1932 года и весны 1933 года, я только видел голодных людей и опухших с голода детей – это было очень страшно, но сам тогда не был голодным в полном смысле этого слова, потому что жил дома с родителями, по карточкам получали хотя и немного, но настоящей кукурузной муки, и мать, как и все в то время хозяйки, изощрялась, «экспериментировала» как только могла – мешала эту муку с картофельными очистками, крапивой, морковкой мерзлой, также с мерзлой свёклой, чтобы было больше по количеству, и делала оладьи – это было вместо хлеба, и не только у нас дома,

а у большинства жителей в то время. Конечно, мы всегда были «при аппетите», как тогда модно было говорить, чтобы не сказать, просто с утра до вечера хотелось жрать, но настоящего голода, по существу, я не знал.

В голод 1921 года тоже – наш дом был не полной чашей, но в то время отец дома портняжил, и за работу брал с заказчиков продуктами: мукой, картошкой и прочим питанием. Наша семья, как и большинство жителей Кубани, в то время не голодали. Я уже писал о том, как казаки на голоде 1921 года богатели...

Но вот, начиная со дня ареста 18 ноября 1937 года и до мая 1938 года, я начал с голодом знакомиться «вплотную», и познал на своей шкуре, как говорится, собственной персоной, что такое ГОЛОД... Четыре месяца спустя со дня ареста был я в Армавирской следственной тюрьме, или знаменитой «тюряге», как её называли все, кто был с ней знаком ранее. Построенная ещё до революции, она была образцом всех тюрем, по рассказам бывалых людей, после знаменитого Иркутского централа – Армавирская тюрьма на втором месте по всем «параметрам», как теперь говорят: по архитектурному замыслу, расположению общих камер и камер для одиночек (одиночки в полуподвальном помещении, общие камеры на всех трёх этажах). Довольно обширный двор, обнесённый служебными постройками как забором, а внутри двора ещё один забор, высокий, за которым и высится сама тюряга в три этажа: закопчённая, мрачная, с решетчатыми окнами, с приделанными снаружи козырьками, чтобы из этих окон было видно одно небо...

Написал же поэт такие стихи, в самом полном смысле относящиеся именно к Армавирской тюрьме:

*Как дело измены, как совесть тирана
Осенняя ночь темна...
Темней этой ночи встаёт из тумана
Видением грозным тюрьма...*

Лучше и не скажешь... А порядки в Армавирской тюрьме были самые самые из самых-самых... Под словом порядок подразумевается тот тюремный режим, какой «положен по штату», придуманный ещё при царе горохе... Его «хранителями» и хозяевами (порядка) были как будто специально рождённые для этой «работы» люди – автоматы, лишённые самых элементарных качеств человека... Ведь недаром говорится: «Кто не был – тот побудет, а кто был – тот не забудет...» Это очень верно сказано...

Всегда считалось, и в нашем доме тоже, что попасть в тюрьму стыдно, позорно, унижительно, и ещё раз стыдно... Этого чувства я всегда боялся и не мог себе представить того, что я когда-нибудь попаду в тюрьму. Дома нас воспитывали очень строго, по заповедям: не бери чужого, не убий, не обижай слабого, люби животных, будь честными всегда и везде, почитай старших и не ходи на улицу с куском хлеба, да, да, да – очень нам доставалось от матери за то, что мы с куском чего-нибудь съестного появлялись на улице – считалось неприличным...

И вот мне пришлось попасть в тюрьму, которой я боялся как огня... С первых же дней, проведенных без сна – никто не мог спать первые два-три дня – просто от обилия впечатлений и переживаний каждого, кто знакомился с тюрьмой впервые; не мог спать и я двое суток. И голода не чувствовалось. Потом захотелось есть... И это «захотелось кушать» меня не покидало, с нарастающим желанием почти в пропорциональном порядке на протяжении четырех месяцев – до того дня в марте, когда родители меня разыскали, наконец, и мать привезла мне передачу, довольно разнообразную, объемистую и ошеломляюще необходимую и желанную... И не только мне, а большинству арестованных жителей недалеко от Армавира – передачи разрешили тем, кто за эти четыре месяца был «оформлен», как полагается говорить языком тех следователей, которые тогда «оформляли врагов народа», в числе которых оказался и я...

Так вот, получив передачу от матери я внял советам бывалых людей, я не стал сразу много есть, дабы не заболеть объеданием и расстройством желудка после длительного тюремного меню, которое было для всех одинаково: рано утром давали по 20 грамм сахарного песка – это спичечная коробочка. Потом, через полчаса, давали по кружке бывшего кипятка – так называемый «чай» – просто обыкновенная теплая, но кипяченая вода. Ещё через полчаса

– утренняя пайка хлеба 200 грамм – чёрного, не свежего... Всё, именно и обязательно в том порядке, как я написал – раз навсегда установленном и непоколебимо-незыблемом... Никаких разговоров – так велено!.. До обеда полагалась прогулка по внутреннему двору корпуса, как называлось само здание тюрьмы. Выпускали на прогулку покамерно, ни в коем случае не допуская малейшего общения арестованных с арестантами других камер. Вообще арестованных содержали в очень строгой изоляции как с внешним миром (с волей), так же и внутри самой тюрьмы – не допускалось абсолютно никакого общения.

Ко времени обеда аппетит был волчий. Приносили миски и «обед»: суп с чечевицей, или пшеном, или гречкой – та самая «баланда», которую пока ещё никто не воспел одой или кантатой, хотя она достойна этого давным-давно!..

Так вот, я сто раз пересчитывал эти самые чечевицы или пшенички в этом супе, и больше восьми-десяти штук не находил в пол-литровой массе полутеплой, немного подсоленной воды, цвета жидкого кофе. И к этому супу давали по 200 граммов черного черствейшего хлеба по заведенному «порядку» – сначала давали хлеб, а через полчаса – суп! Никто и никогда при моей памяти ни разу не съедал баланду с хлебом, который был «употреблён», или по лагерному «схаван», до получения пол-литровой порции баланды. Так надо – и ни разу! – этот порядок нарушен не был. До вечера – опять по 200-граммовой порции черняжки и кружки «цейлонского», опять же так – сначала «чай», а минут через 20 – хлеб. И вот так на протяжении 4-х месяцев – без единого нарушения меню, порций и порядка раздачи, именно «порядка»!.. Все как один «жители» камеры и всей тюрюги голодны были до последней степени, но дистрофиками ещё пока не были, потому что сидели без движения, если не считать ежедневных прогулок по двору тюрьмы, разумеется, в хорошую погоду. Во время дождей прогулок не давали по гигиеническим соображениям, чтобы в камеру не заносилась грязь ногами.

Надо сказать, что вдобавок к чувству голода, как обязательное «приложение» к нему, была борьба со вшами, которые всех, и без того голодных арестантов, буквально заедали! Никакой «борьбы» с ними со стороны тюремного начальства не проводилось. Все арестанты сами себе делали соответствующую санобработку при помощи собственных ногтей.

Они – эти обязательные «спутники» всех врагов и не врагов народа – вши, тоже были в числе тех «нормативов», которые считались обязательными для всех тюрюг, наверное, на всей земле. Мы были голодные, как собаки, и вечно копошащиеся в своём грязнейшем белье, заросшие бородами и косматые, как дьяволы – мне до сих пор сокамерники во сне снятся – вот самое первое впечатление о тюрьме, которое отложилось в моей памяти с самого первого дня, когда я оказался, как говорится, «прямо от материной юбки» в знаменитой Армавирской тюрюге...

Кто находился в камере, рассчитанной на 8 человек по норме – и где по факту было 80 человек – я напишу ниже, а пока продолжая разговор о голоде, скажу, что тех передач, полученных почти в одни дни всей тюрюгой – хватило не надолго, так как не все арестанты получили продукты; в тюрьме было чувство солидарности и товарищества по несчастью – все делились своими продуктами с не получившими передач, как говорится – всем понемногу. Почувствовали себя счастливыми дней на 8-10. Кончились домашние продукты, и опять все оказались в тех же «люксовских» условиях, с тем же «порядком» получения нормы котлового довольствия, так многозначительно называемом тюремным начальством «ежедневного завтрака, обеда и ужина». Из чего они состояли – я уже написал.

Короче, голод тут же дал о себе знать, и снова все стали в камерных разговорах между собой рассуждать на «кулинарную» тему – только о еде, только о пище. Вообще, ни в лагере, ни в тюрьме не принято рассказывать кто и за что попал в тюрьму или лагерь, никто и никогда не хотел «хвалиться» своим преступлением, обычно отмалчивались или неохотно вкратце отвечали, и то не всегда и не всем. А кто ничего не «совершал», вроде таких «врагов народа», каким был я, тем рассказывать вообще было нечего, и никто ни о чём их не расспрашивал.

Недаром говорится в пословице: «Голодной куме – хлеб на уме». Это очень верно. Голодные месяцами – мы подолгу и подробно рассуждали на тему о пище, вспоминая волю, сожалели, что не обращали внимания на голубей, ворон и воробьев, которых можно было сколько угодно ловить, стрелять, без всяких затрат, делать заготовки на зиму и пр. и т.д. Часами толковали об этом, ещё больше распаляя в себе чувство голода. Так продолжалось и после тюрьмы, на этапах, по пути на Колыму и, находясь уже на прииске, на общих работах, где я,

как декабрист, был только что не прикован к тачке, этот голод мне вновь пришлось переживать, но уже в 10 раз мучительнее и больше...

Одно дело сидеть без дела и работы, голодовать и терпеть, физически не работая. Но когда завтрак, обед и ужин надо заработать тяжелым, непосильным физическим трудом, – на тачке в забое или в шахте, на лесоповале, – здесь слова не нужны, это надо всё самому перенести, пережить, и даже, если сумеешь, то выжить, остаться живым, не умереть. Вот здесь, в лагере, на общих тяжелых работах, выматывающих, как говорят, последние жилы из человека – любому здоровому до лагеря надо не более месяца, чтобы превратиться в настоящего дистрофика, настоящего голодного, истощенного до такой степени, что уже о пище, как таковой, ему в голову мысли не приходят.

Норма выработки очень большая. Надо 6 кубических метров земли-породы накайлить, насыпать в тачку и перевезти по доскам-трапам к промприбору на расстояние метров в 20–30, а то и больше. Или в лесу надо спилить сосну, или срубить, разделить на 2-х или 3-х метровые баланы, стащить их в одно место и уложить штабелем в 8 кубометров. Зимой, летом, в морозы, в дождь или снег, – каждый день, – беспрерывно под конвоем и надзорами разных мастей – давай, давай, давай... работай..., норму выполняй, – тогда получишь и завтрак и обед и ужин. Норму не выполнил – получаешь штрафной рацион: вполтину меньше. За этим строго следили и очень строго всё соблюдалось. Не было случая, чтобы зэк, не выполнивший норму, получал рабочее питание – сразу штрафной паёк со всеми вытекающими последствиями. А этими последствиями были истощение и дистрофия, так как работать всё равно заставляли, в какой бы степени истощения человек ни был. И когда он «доходил», как говорится, до предела истощения, его называли просто собственным именем – доходягой – и это уже был предел, когда фактически он уже был никому не нужен...

VI

Разбойник Кирьяк. Рецидивисты в Армавирской тюрьме. Карцер. Романтизация воровского дела. Необходимость борьбы с преступностью и несудами. Мода на Ленина в тридцатые годы. Кампания по борьбе с галстуками. «Ленинцы» и «Сталинцы»

В детстве нас пугали страшным разбойником Кирьяком, который непослушных детей хватал, сажал в свою сумку и увозил в свою «Кирьякову пещеру», что была на крутом берегу Кубани. Эту сказку-пугало для детей я отлично помню, но дело в том, что до революции в Армавире действительно был тот самый Кирьяк, неуловимый разбойник, как его называли, который «царствовал» в Армавире, наводя страх и ужас на всю округу. Кстати сказать – был когда-то Армавирский округ, входивший в Юго-Восточный край, который позже был переименован в Азово-Черноморский край с центром в Ростове-на-Дону, пока позже не был преобразован в Ростовскую область и Краснодарский край.

Этот Кирьяк в Армавире имел постоянный вор, принимал купцов и других проезжающих, нуждающихся в ночлеге и отдыхе для лошадей. Слава о Кирьяке, как о большом богатее, разнеслась далеко по всей России. Мало кто знал, что он был настоящим разбойником с большой дороги. Но не пойманный, не вор – поэтому он долгое время жил, богател, продолжая свое «ремесло»...

Его хозяйство – дом для себя и отдельные покои для приезжавших, конюшня для своей тройки и отдельная конюшня для приезжающих. Все у него было устроено так, что никто не догадывался о том, что из его конюшни был подземный ход-тоннель длиной больше километра, по которому свободно проезжала его тройка. Конец этого хода-тоннеля выходил на крутой берег реки Кубань среди камней, кустов и деревьев, а вход со стороны берега реки был так искусно замурован, что его никак не могли обнаружить. Как, когда и кто его делал – никому не было известно, но Кирьяк приспособил всё для своих разбойничьих дел, построив свой дом в начале этого хода-тоннеля, и долгое время преуспевал в своих делах, богатея с каждым днём...

Богатых купцов он просто грабил на большой дороге, и в случае погони всегда оставался неуловимым, вовремя скрывался в своей пещере через этот ход со стороны берега. Тех богатых купцов, которые останавливались на ночлег в его постоялом дворе он, после ограбления прямо у себя дома – без особых трудов, по подземному ходу, без свидетелей сам сплавлял в

бурные воды Кубани и – «концы в воду». Так он довольно долго процветал в Армавирском округе, был действительно богатым человеком. Но его подозрительное скоробогаство и надменность заставляли людей, знавших его и соседей, держаться от него подальше... После революции деятельность Кирияка прекратилась, а его дальнейшая судьба никому была не известна, но страшная сказка для детей ещё долго рассказывалась в народе...

Об этом Кирияке я узнал в камере Армавирской тюрьмы, в которой старостой камеры был К.И. Белов, про которого я уже писал. Среди 80-ти человек, переполнявших камеру № 8, было несколько уголовников-рецидивистов, арестованных как С.В.Э. – без дела, но за прошлые «похождения». Эти личности были из тех, кто мог терроризировать не только 80 человек (а их было всего четверо), но и всё тюрьму. Однако староста камеры Белов держал их «в черном теле». Рецидивисты, видя свое «подавляющее меньшинство» среди «врагов народа», вели себя тихо – были тише воды, ниже травы. Они были коренными жителями Армавира, и все были потомственные, известные по всему югу России, «асы» в воровском мире. Они не испытывали большой тревоги по поводу своего неожиданного ареста в 1937 году, так как заранее решили бежать, молили Бога, чтобы только не заболеть и дожидаться этапа – вырваться из лап тюрьмы. Про Сибирь, Карелию знали, потому и не тревожились, надеялись все равно убежать из любого лагеря. Но про Колыму и Магадан в Армавирской тюрьме ещё никто не знал...

Я в камере находился с ними рядом. Однажды, по их просьбе, я помогал им делать карты, (изготовление и игра в карты в тюрьме запрещалось строжайше).

Из листов курительной бумаги (из книжечек) клеим из протертого хлеба они склеивали для одной карты по 4-5 листов, а меня попросили протирать тряпкой через бумагу уже склеенные карты. После просушки на них рисовали масти карт трафаретным способом. Однажды внезапно распахнулась дверь камеры и надзиратель, не дав никому опомниться, приказал нам всем, указывая на каждого пальцем, выходить быстро из камеры в коридор, откуда он всех нас повел и посадил в изолятор корпуса тюрьмы, каждого в отдельный «мешок», так назывались камеры штрафного изолятора, о котором я уже писал. Надзиратель тихо подсмотрел в дверной глазок камеры и, выбрав минуту, когда все были увлечены «работой», просто обескуражил своей оперативностью этих опытейших мастеров, не дал им никакой возможности что-либо спрятать для оправдания, а мне предоставил возможность отстоять – сидеть там было негде, такие там «удобства» – отстоять штрафной срок, опершись спиной на стену, липкой от слизи и сырости. Перед моими глазами было окно – железный лист с дырками величиной с палец. Окно с этими «форточками» находилось на уровне выгребной ямы туалетов всего корпуса тюрьмы. Дырки вместе со светом давали возможность проникать в эту клоаку-камеру и всем ароматам из ямы. Эти ароматы, разумеется, не усыпляли меня ночью, мучений и переживаний было достаточно, чтобы эта камера запомнилась мне надолго. Хорошо, что я пробыл в этом карцере всего половину дня и ночь, но и этого срока мне хватило, я до сих пор помню «те ароматы».

Наутро нас всех возвратили в камеру № 8. После этого события четверка ко мне, как мне показалось, проявила какое-то расположение. Во всяком случае, покурить они мне давали безотказно, вернее, докурить маленький чинарик, чему я, конечно, был рад, так как табак водился только у них, как у опытных и неоднократных завсегдатаев тюрьмы. Они получали передачи от родных, ведь они были не «враги народа». Один из них, Васёк, крепыш небольшого роста с рыжими тараканьими усами, лет сорока-пятидесяти, с большим вытатуированным во всю грудь орлом, державшим в лапах голую женщину, и рассказал мне эту историю про Кирияка и его пещеру, а его трое друзей даже знали самого Кирияка, и бывали в пещере разбойника. Вход с берега Кубани в нее уже, по их словам, был обвален и сплошного хода до конюшни Кирияка давно уже не было.

Эти сведения подтверждал и староста камеры Белов К.И., как старожил Армавира, и ещё двое-трое армавирцев, из числа находившихся в камере с нами, они тоже все знали эту сказку-пугалку для непослушных детей.

Из этой четверки никто не попал на Колыму. Нас через три месяца этапировали, а они все оставались ещё в тюрьме.

В своих странствиях по Колыме, и с культбригадами, и во время гастролей театра, я всегда интересовался и искал земляков-кубанцев, где только мог. Но из этих «мастеров» никого

не встретил. Нашел одного земляка-армавирика Богомоллова, бывшего помощника машиниста на железной дороге, который на прииске имени Чкалова работал экскаваторщиком. С ним я позже познакомился ближе, и мы были почти товарищами. Он сразу после реабилитации уехал домой, в Армавир, перед отъездом, в Магадане, нашел меня в театре, и мы с ним добропорядочно попрощались. Наверное, все слышали такое выражение: «Одесса – мама, Ростов – папа», когда речь заходила о ворах и жуликах. Это дополнялось еще и таким присловьем – «а Армавир ихняя родня», потому что до революции эти три города на Юге России были своеобразными рекордсменами по количеству преступных элементов, проживавших в них, и по количеству разнообразных городских краж, ограблений и разбоев во всех его видах и проявлениях. «Специалисты» этих дел были всегда на высоте в своих «проделках» и славились на всю воровскую Россию за смелые, хитрые, дерзкие и умные «дела», которые они «обделывали»...

Достаточно напомнить о нашумевших в те времена ограблениях Ростовского, Армавирского, Одесского банков, дерзких ограблениях пассажирских поездов, ограблениях богатейших квартир жителей этих городов и другие «дела», превратившиеся со временем в легенды. Среди населения этих городов долгое время было в моде «поклонение» или какое-то особое «уважение», подчас непонятное восхищение их «деятельностью», воровскими методами и способами. Я сам это неоднократно слышал, когда приезжал к отцу в Ростов во время наших магаданских отпусков, всегда я удивлялся и не мог понять этого своеобразного чувства уважения к деятелям воровского мира, особенно когда слышал как они, эти простые жители, вспоминая фамилию какого-нибудь большого жулика или воруги города, говорили: «Вот были ребята молодцы – как они умело и быстро, с умом обделали пассажирский поезд». Или ограбили Ростовский банк с подкопом, трое человек всю зиму копали и ушли с миллионами, до сих пор не поймались: «Вот были молодцы, сейчас таких нету, мелочь осталась, редко попадают хорошие ребята!..»

Это говорил мне сосед моего отца в Ростове. Жена соседа была партийная, и сам он тоже был партийный – слесарь-водопроводчик, потомственный рабочий...

Я ему возражал, говорил: «Дядя Саша, как вы можете их хвалить?.. Ведь это же отребье, воруги-жулики, чего в них хорошего, грабят людей, живут за чужой счет до сих пор, никогда не работали, а всегда шикуют?» На это он мне говорил так: «А что? Они ничего плохого мне не сделали, а грабили богатых, никого не боялись, умели жить...»

Кроме рассуждений этого дяди Саши, мне часто приходилось слышать такие отзывы просто на улице, в трамваях, в автобусах и не только в Ростове. Меня поражали поступки некоторых жителей, когда я видел на базаре или на улицах города такие «картинки»: продавец арбузов чуть наклонился или отвернулся – в это время кто-то из граждан подходит к стойке, или прямо с кучи, берет совершенно смело, на виду у всей очереди арбуз, кладет его в свою сумку и, не заплатив, уходит. Вся очередь это видела, а я возмущался – как же так можно?.. И вслух удивлялся, пока сосед по очереди мне не шепнул на ухо: «Молчи в тряпочку, не то получишь ножом в спину, почему ты знаешь, кто стоит в очереди и кто так берёт арбузы?» И не только я, все в очереди видели таких смельчаков и молчали, делали вид, что вроде так и надо... Это для меня до сих пор непонятно, видел это я только в Ростове и Армавири, и я всегда поражался и возмущался. А дядя Саша всё мне рассказывал, кого из них он видел каждый раз в пивной, где он каждый раз проводил по полдню за кружкой пива, с кем разговаривал, и все восхищался «работой молодцов». Жена все время «пилила» его за то, что он поздно вечером по темноте приходил домой. Один раз он сам мне пожаловался: «Вот гады, вчера вечером, только от пивной отошел, и уже на нашем переулке двое подошли ко мне, и сняли у меня с руки часы. Они, правда, старенькие были, но шли точно, пришлось отдать, иначе получил бы ножом в пузо. Выходит, что я напрасно их нахваливал за точность хода»... Я ему заметил: «А вы говорили о том, что они вам ничего не сделали плохого».

Во время наших магаданских отпусков мне приходилось бывать в разных городах: в Москве, Ленинграде, Киеве и других. Везде ходил на базары с женой, где мы по уговору наблюдали очереди за арбузами и фруктами, старались заметить эти случаи воровства, какие мы видели неоднократно в Ростове и Армавири, но ни одного раза подобных случаев в других городах не видели. Конечно, мы не надеялись там встретить «кирияков», или ему подобных «хороших ребят». Мы посещали базары ради «спортивного интереса», просто сами хотели

убедиться в том, что именно в Ростове и Армавире таких «смельчаков» больше, чем в любом другом городе – в чем и убеждались неоднократно.

В Ростове и Армавире, сколько я себя помню, и до сих пор по окраинным улицам, а в Ростове по улицам на берегу Дона, вечерами всегда было опасно появляться, и не случайно, что после девяти-десяти часов вечера улицы города пусты, даже в центре. Никто не хочет быть ограбленным или раздетым. Часто видел и сам так делал: после окончания спектакля в театре или представления в цирке, или после последнего сеанса кино зрители бегом бегут к остановке трамвая или автобуса, чтобы, пусть в страшной тесноте переполненного автобуса или трамвая, но доехать до своего переулка или улицы, добежать до квартиры пораньше, засветло – кому охота быть раздетым?... И как ни странно, буквально все находящиеся в переполненном автобусе вслух возмущенно говорят: «Это только у нас, в нашем Ростове, это возможно», при этом не стесняясь в выражениях... Люди боятся этих самых «молодчиков», которым сами же некоторые ростовчане расточают дифирамбы и говорят о них одобрительно...

В лагерях я насмотрелся на этих «специалистов» во всех проявлениях, и считаю решительно и бесповоротно, что у нас с ними либеральничают, стараясь их перевоспитать. Сколько лет такая работа ведется, а на сегодня выявились целые фамильные кланы воров, как выявились и целые поколения проституток, когда в наши дни седа бабушка учит свою внучку – молодую проститутку, как надо обхаживать иностранных моряков (об этом в печати сообщалось, в портовых городах такие «феномены» сами объявились). А воровство – это такая же древняя профессия, как и проституция, и корни таких бед – одни и те же воровские потомственные кланы. Это не новость в нашей стране, беда в том, что никакая работа по их перевоспитанию не дала и никогда не даст положительных результатов.

В нашей истории известны многие случаи, когда бывшие правонарушители перевоспитались и «вышли в люди», как говорят. Об этом свидетельствуют факты из жизни коммун и детских колоний времен Ф.Э. Дзержинского и Макаренко.

Но та часть перевоспитавшихся преступников, из сирот и беспризорников, в силу обстоятельств (голод, разруха после революции и войны) стали преступниками, а по своему происхождению, так сказать по глубоким корням их родословной, они были потомки простых работающих людей, не зараженными бактериями воровства и богатства, почему они и стали людьми, испытав в жизни «прелести» голода и сиротства – перевоспитались. Но немало есть примеров противоположного характера, когда преступниками-ворами стали люди по происхождению не из рабочего и крестьянского «клана» – это дети-сынки богатееров, офицеры всех родов войск и ведомств и т.д. Эти то и пополняли ряды преступного мира в те времена. На таких «молодчиков» никакие исправительные меры не воздействовали и воспитание не давало положительных результатов, об этом много написано в литературе. Их родители богатели «нечистыми руками» и, попав в экстремальные условия, как теперь говорят, они пошли по наклонной плоскости вместе с потомством, образуя «кланы», и ни о каком перевоспитании сами и не думают. Как только появились те, у кого есть, что брать, воровать – эти «специалисты» как саранча повсеместно расплодились, сразу сами себя обнаружив. В настоящее время идет активная ликвидация «Чебриковых и иже с ними», но никак нельзя снижать темпов борьбы по искоренению «облагороженных» современных воров, которых ласково у нас называют несунками, которые и есть самые настоящие ворюги, та почва, на которой у нас пышно расцвели рэкет, мафия и проституция. Эти низовые пласты нашего общества и есть объекты активной работы по их изжитию, как социально вредного явления, который никогда не думал и не думает о каком-то там «перевоспитании». Долговременная безнаказанность перевоспитывающихся несунков больше всего способствует расцвету этой несунко-деятельности, а само это явление требует самых строгих и решительных мер в борьбе с ними до полного изжития этого несунко-воровства.

Медики говорят, что всякую болезнь легче предупредить, чем вылечить. Но это наше «больное место» до сих пор у нас «вылечивается» как-то слабо.

Почему-то ведется малоактивная работа среди населения средствами литературы, кино и телевидения по «предупреждению болезней» – выявлению и разоблачению условий и причин, которые способствуют зарождению «малого несунства», впоследствии вырастающего просто в откровенное воровство, а также абсолютно ничего не делается по хотя бы начальному перевоспитанию той части населения, – а она есть везде, и не малая! – которая всё ещё уме-

ляется действиям «молодчиков» и расточает им дифирамбы...

В то время вся молодежно-комсомольская активность была по эстафете принята от комсомольцев времен Павла Корчагина, от тех, из рядов которых были делегаты съезда комсомола, когда В. И. Ленин призывал всю молодежь учиться и учиться. Моё поколение тоже приняло эту активность и с ещё большим энтузиазмом и подъёмом работала на стройках коммунизма, как тогда было модно говорить – на строительстве Магнитки, Комсомольска-на-Амуре, Днепродзержинска, Харьковского и Сталинградского заводов, и других стройках периода индустриализации страны.

Сельские комсомольцы моего поколения были не менее активны, также проявляли себя на комсомольской работе по ликвидации неграмотности на селе, в антирелигиозной кампании, очень активно участвовала по охране колхозной собственности, не обмолоченного урожая хлеба, когда специальные поджоги скирд хлебных были, ну просто как стихийное бедствие – пожары пылали по пять-шесть в каждую ночь по всем селам, хуторам и станицам. Во всех сферах жизни, где комсомольцы принимали участие, энтузиазм был очень велик, и кто из таких, какими были мы, комсомольцев-активистов, мог усомниться в том, что это было не «по-ленински»?.. Тогда слова «Ильич», «Ленин», «комсомол» были для всех нас святыми словами (не больше и не меньше!) и назывался комсомол – Ленинским.

Всё у комсомольцев было на уме и в делах, всё было только по-ленински: работать – по-ленински, жить по-ленински, учиться по-ленински, строить новую жизнь – только по-ленински.

И в жизни комсомольцы старались подражать Ильичу во всем, даже в мелочах. Слова – «по-ленински», «как Ленин» и другие, органически крепко вошли в сознание каждого, стали как бы смыслом жизни каждого комсомольца, в силу чего все считали себя «ленинцами», подражая Ильичу. Даже галстуки в горошек старались приобрести, конечно же они были в «дефиците» и носили их с чувством превосходства над не имеющими таковых, с обязательной цепочкой-запонкой на воротничке – как у Ленина! Надо сказать о том, что ленинцами называли октябрят, ленинцами были пионеры, комсомол был ленинским... Насколько само слово «ленинцы» было популярным, с ним была связана вся жизнь тогдашнего комсомола, настолько слово сталинцы было не популярно – было грешно и смешно в то время комсомольцев называть сталинцами. Сталинградским называли только тракторный завод и сам город Сталинград – бывший Царицын. Так было до печально-знаменитых времен, когда только и осталось одно слово – «Сталин»...

Я отлично помню, когда на комсомольцев, носивших галстуки, да ещё и в горошек, велась настоящая травля, чуть не силой заставляли снимать с них эти галстуки, и даже плакат был: «Мещанам, галстучникам-комсомольцам – бой!»...

А началось это с того времени, когда во времена НЭПа жизнь после разрухи наладилась, стало в стране намного лучше, особенно в последние годы перед ликвидацией НЭПа, появилось много, неизвестно как разбогатевших «нэпманов», как их тогда называли – «нэпмачей». Я помню, как в газетах писали о них «как о злокачественной пене на здоровом теле рабочего класса» – они ходили раздетыми по последней парижской моде, обязательно в галстуках и шляпах. Кому-то надо было обвинить комсомол в том, что он «пошел не по тому пути», отождествляя всех, даже тех комсомольцев, которые были из делегатов съезда комсомола с «разложившимся элементом» и бросить клич – «Долой интеллигентов-нэпманов из рядов комсомола!...» И пошла писать губерния, как у нас водится. В то время члены правительства – ленинцы, все были сплошная интеллигенция, в полном смысле этого слова – все носили галстуки, но на комсомольцев, после этого «клича», обрушилась целая волна преследований и бойкотирования. Их обвиняли во всех грехах, чуть не преследовали их за интеллигентность. Я всё хорошо помню, со времен, когда был первым пионером, а потом кандидатом в комсомол, участником духового оркестра, хотя и пацаном, когда старший брат моего друга – он был комсомольцем времен Павла Корчагина – приехал домой после учёбы в Совпартшколе... и появился модно одетым и в галстуке. Это было как раз в то время, когда начали нэпмачей бить, и его начали травить. А он был комсомольцем «чистых кровей» по своему соцпроисхождению. Это в то время было очень важно – был он бедняк из бедняков и активист, каких в то время было мало. В первое время он не обращал никакого внимания на то, что его всюду третируют и травят. Всё терпел и не сдавался. Но вот его невеста Лена, так её было имя – его

звали Алексей – поддалась влиянию травивших ее жениха, и как-то так случилось – вышла замуж за другого. Это получился вроде бы как «протест» её против «заблудившегося интеллигента». Алексей не выдержал такого предательства и застрелился у всех комсомольцев на глазах – именно в галстук в горошек... Отлично всё это помню: его скромные похороны без оркестра – музыкантам играть не разрешили, хотя они все пришли с инструментами.

Повторюсь, но скажу ещё раз: в те времена слово «Сталин» никак не ассоциировалось со словом «комсомол», его при этом слове просто не произносили, все считали себя только ленинцами, даже пионеры, мы, из числа первых в стране, этого слова, «Сталин», вообще не употребляли. У всех на уме после Ленина был Рыков – так было до тех дней, пока в печати не появились сообщения о том, что идёт судебный процесс, над какой-то группировкой или блоком, в котором упоминался и Рыков. А во время голода 1932-1933 года слухи все говорили о том, что этот голод организовал Рыков. Этому все поверили. Но все равно, комсомольцы никогда не считали себя «сталинцами». На моей памяти этого не было. Как гром среди ясного неба прогремело известие о том, что Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, самый любимый всеми комсомольцами страны человек, Косарев – самый авторитетный из всех, кто был до него на этом посту, вдруг оказался «врагом народа». Это была страшная весть, я отлично помню, как все не верили в это, везде только и было разговоров: «не может быть...», «что-то не так...», «какая-то ошибка...» Никто не верил в то, что Косарев «враг народа», открыто говорить об этом, разумеется, боялись, но в его честность и невиновность все верили. Это я помню точно...

VII

Портняжное искусство отца. Хор Дедзиолло на Кавминводах. Возвращение отца в Отрадную. Состав семьи. Хоровая деятельность в станице. Арест отца. Семейный оркестр Смирновых. Выезды по станицам. Хор интеллигентов. Судьбы зажиточных отраденцев: Масленниковы и Бардаковы. Колядки. Особенности молотбы. Охота на перепелов. Бахча. Дирижер-хоровик Давидовский

Мой отец с детства был приучен дедом портняжить. Ходил в 4-х классную начальную школу и помогал деду по мере сил и что умел, когда была работа на дому, постепенно приобретая первые навыки портняжного искусства. Дед не брал его с собой, когда шёл к казакам обшивать какую-нибудь семью, но если была работа, которую отец мог выполнить, дед поручал ему. Так постепенно, под руководством деда, отец научился шить сначала меховую одежду из овчин – разные полушубки, тулупы, шубы, барчатки и пр., а также и другую не меховую одежду. Пока ходил в школу, все время помогал деду. Когда закончил школу – решил стать хорошим, городским специалистом и для самообразования выписал из Риги заочную «Школу кройки и шитья», известного в то время в России мастера Левитануса. Немного проработав дома и всё время самообразовываясь – дед был главным учителем – отец, когда почувствовал в себе малую уверенность, по совету старшей сестры Любы решил поехать на Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск), как тогда назывались эти города. Там жила сестра Люба с мужем и двумя детьми: Сусанной и Ваней. Ее муж был революционер Полькин, и там же погиб во время гражданской войны, а Люба после его смерти приехала с детьми в Отрадную.

Отец в Пятигорске поступил мастером к известному специалисту-портному Робакидзе, имевшему большое дело, по-теперешнему модное ателье, в котором отцу пришлось работать вместе со старшими по возрасту и более высокой квалификации мастерами. Там он перенимал от них знания и опыт, и одновременно продолжал самообразование по выписанной им книге знаменитой школы Левитануса. То было время становления его как мастера. Теоретические знания по школе дополнялись богатой практикой в совместной работе с отличными портными Пятигорска и Кисловодска, куда в то время – «на воды», устремлялась вся известная России.

Совершенствуясь в портняжном искусстве в городских условиях (имеется в виду совершенно роскошное и престижное ателье хозяина Робакидзе), отец, как любитель, увлекался музыкой, поскольку у него было свободное время. Преуспевающий холостой молодой человек хорошо пел – отец имел красивый густой баритон, как говорят «от Бога», который стал

украшением «Русского народного хора» под руководством Дедзиолло. Этот хор постоянно выступал в городах Кавказских Минеральных Вод – в его составе принимали участие все желающие, обладавшие голосом. В него отец и был принят. Кроме того, он ещё играл и на балалайке, как солист. Эта страсть была у него с самого детства, он самоучкой научился и хорошо играл на двухрядке-гармонике, на балалайке, и на всю Отрадную был хорошо известен как гармонист и балалаечник. Эти способности пригодились ему в хоре Дедзиолло, там он был на хорошем счету. Дома сохранилось фото: в голубой косоворотке с махровым поясом и в черных штанах, с напуском на голенища сапог, с кучерявой прической – настоящий русак!.. Хор этот был профессиональным, но дирижёр и руководитель Дедзиолло умело сочетал полезное с приятным, привлекая в свой коллектив хороших любителей-непрофессионалов. Такой подход увеличивал и количество участников ансамбля и популярность его, как хора по исполнению русской народной музыки, которая во все времена высоко ценилась во всём мире. Этот хор успешно соперничал со многими коллективами России в 1910-1913 годах.

Так, совершенствуя своё мастерство портного высокого класса у Робакидзе, и активно общаясь к певческой культуре в хоре Дедзиолло, мой отец постепенно приобретал навыки городской жизни, что на его дальнейшей жизни, после армии и женитьбы, сказалось вполне благоприятно. Приобретенная городская культура отличала его от глубоко провинциальной отраденской интеллигенции, среди которой ему пришлось жить долгое время.

Прожил он в Пятигорске долго и возвратился в Отрадную настоящим городским мастером «верхником», т.е. портным, умеющим хорошо шить фрак, визитки, костюмы-тройки, пальто всех сезонов и фасонов (мужские) и, кроме того, он был хорошим закройщиком, что ещё больше укрепляло его репутацию мастера высокого класса. Так как не все портные, умеющие хорошо шить, умели кроить. В этом помогла отцу его практика у Робакидзе и школа Левитануса. Кстати, эти книги-журналы «заочной школы» с многочисленными чертежами всяких выкроек разнообразной одежды – около 12-ти томов, сохранялись у нас дома до самого 1937 года, при аресте отца их забрали, для чего – неизвестно...

Отец не забывал, что станица не город, и большинство его заказчиков: провинциальная интеллигенция и простые сельские труженики – казаки. Шил для них то, что им надо было: всевозможную меховую одежду из овчин, шубы, полушубки и пр., тёплую одежду на вате – разные пальто, тужурки, поддевки и т.д., а также обыкновенные штаны-брюки, гимнастёрки, рубашки, костюмы, кроме, конечно, фраков и визиток (некому их было заказывать) и нательного белья, которое шили другие портные, а их было в Отрадной достаточно...

Как хороший портной-мастер, он сразу привлёк массу заказчиков в Отрадной. В то время ведь не было фабрик массового пошива одежды, да и обуви, кроме армейских фабрик по выпуску солдатского обмундирования и белья. Портные всех специальностей, как и сапожники, никогда не сидели без работы, особенно хорошие специалисты.

Отец сразу заимел множество постоянных заказчиков, работы у него всегда было очень много. Очередь к нему была годовая, если не больше...

Популярность его росла с каждым днём. К нему обращались даже его давнишние заказчики из Сухуми и Еревана, знающие его еще по Пятигорску. Они, зная его как хорошего портного, писали письма с просьбами выполнить заказ, присылали материалы и мерку, и отец такие заказы выполнял, пересылая готовое по почте.

Кроме него в Отрадной были ещё портные, но они не выдерживали конкуренции с отцом, были по квалификации ниже, и часто сидели без работы. Отец их всех выручал тем, что принимая заказы, выкроив заказ, передавал портному Гирскому или Василию Ивановичу. Назначал им дни первых примерок, которые делал сам и срок выполнения его, к которому готовый заказ должен быть принесен отцу для выдачи его заказчику. Заказчики ничего об этом не знали, были довольны тем, что сам отец заказ «делал», а портные были преисполнены благодарности к отцу за обеспечение их заработком, и к тому же отец не брал с них никакой платы за это – делал просто из-за уважения к коллегам, чем был ещё больше уважаем ими.

Таким образом у него возникла настоящая большая дружба с портным Гирским, который вместе с женой и двумя дочерьми был активным участником «светского хора», которым отец руководил долгое время, до «того года»... Второй портной – Василий Иванович, просто чтит отца, уважал до беспредельности, потому что только благодаря отцу, он, как небольшой специалист, имел работу. Он был пристрастен к «бахусу», и ему заказчики часто не доверяли.

Отец, проще говоря, выручал его как коллегу, и также совершенно бескорыстно. Эта дружба с Гирским и Василием Ивановичем сохранилась у отца до самого 1937 года – оба эти портные не пострадали в тот роковой год...

За всю свою портновскую жизнь, до 1937 года, отец передал свои знания только двум ученикам, сделав их настоящими портными, хорошими мастерами.

Один из них был Коля Орлов, приехавший на Кубань из Харькова (наверное, убежал после раскулачивания), выучившийся до мастера. Женившись в Отрадной, Коля сам работал долгое время без помощи отца, не прерывал дружеских отношений с отцом, потом с детьми уехал на родину, но связь продолжал держать вплоть до ареста отца.

Вторым его учеником был Ваня Ерёмин – сын трубача из состава нашего первого оркестра в Отрадной, в котором и я играл на альту, а трубач этот был участником сводного военного оркестра, игравшего на торжествах по случаю 300-летия Дома Романовых. Сам он был огородником. Вся его семья круглый год продавала свежие овощи на базаре станицы. Ваня также стал настоящим портным-верхником (достаточно было уметь шить пиджаки и брюки – фраки и визитки в наше время уже не в моде) и уехал из Отрадной, а отцы наши тоже были большими друзьями до самого 37-го...

Так, работая дома от зари до зари, отец хорошо зарабатывал. Семья-то у нас была большая: нас детей четверо и бабушка с нами жила. Всех надо было содержать, а потом ещё и домработница у нас была, когда матери стало трудно одной (бабушка было очень больна – почему и понадобилась домработница). По этим причинам отцу приходилось очень много работать. Но и при такой напряженной работе он находил время заниматься оркестром и хором. Ночами сидел и писал ноты для хора или оркестра, ни с чем не считаясь. Струнный домбровский оркестр и хор, также как и драмкружок, были при профсоюзе С.Т.С. – «Совторгслужащих», которые базировались при нашей школе № 1. В зале школы была первая в Отрадной сцена, небольшая, но с настоящей закулисной частью, что располагалась в большой учительской комнате. Это было удобно, как в настоящем театре. На этой сцене выступали синевлузники, наш струнный оркестр и хор, и шли постановки всех спектаклей нашего Отрадненского драмкружка, пока не открыли Дом Культуры в большом раскулаченном доме. Кроме того, отец был и руководителем хора в церкви – там не было регента, и отец с удовольствием руководил церковным хором, тем более, что половина участников церковного хора принимала участие в «светском хоре», и наоборот – в церковный хор ходили многие из «светского». Дядя Проня, так уважительно все называли отца, и не только потому, что знали его как хорошего портного, но также как участника всей музыкальной самодеятельности, руководителя оркестра и хора. К тому же он был совсем непьющий (не в пример деду), абсолютный трезвенник. Всё это снискало ему уважение от станичников, особо ценили за его внимательное отношение ко всем, доброжелательное отношение к людям.

Помню, как иногда в вечера, когда в школе всё было занято и репетировать было негде, взрослые – хористы и оркестранты, приходили в наш дом, рассаживались в большой комнате, отделённой коридором и называемой залом, и всегда в разговорах и рассуждениях как-то недоумевали, но говорили «в хорошем направлении», обсуждая, как это дядя Проня может так усидчиво, от воскресенья до воскресенья непрерывно работать, сидеть за своим портновским столом или швейной машинкой, работать без усталости на такую большую семью, когда всё с базара – своего-то не было ничего (а кроме еды ведь надо всех и одеть-обуть!) – и у него ещё хватает времени на хор и оркестр. Когда он днём работает, а по вечерам и ночам репетирует или пишет ноты для исполнителей в хоре и в оркестре, как у него хватает терпения и времени на всё это?.. Но эти «недоумения» были всегда доброжелательными, потому что видели и знали все, что отец просто горел на этой общественной работе, отдавая ей себя целиком, ни с чем не считаясь, сам себя не жалел, был полон энергии и желания, делал это с большим удовольствием, видя в этом большой для себя смысл. И нам, детям, прививал эту любовь к искусству, чем мы все могли хвалиться, оправдывая свое название «детей дяди Прони» (такие маленькие ещё и такие музыканты!)... И самое главное – никогда отец за это не получал ни копейки, даже и не думал о каком-то вознаграждении! Это знали все и ценили его за бескорыстность, он просто выглядел каким-то подвижником, он делом доказывал, исполняя все это исключительно из-за любви к искусству. Продолжалось его добровольное «подвижничество» примерно с 1923 года и до «того самого года»... И нам, детям, это приви-

лось, очень пригодилось в нашей дальнейшей жизни, особенно мне...

У районного начальства, также как и у всех жителей Отрадной, отец был на хорошем счету, пользовался авторитетом, и конечно же, всё начальство было его постоянными заказчиками, что в какой-то мере, мне кажется, в какой-то степени, влияло на повышение его популярности среди не только отрадненцев. Его все хорошо знали и в округе – с нашими концертами мы выезжали по нескольким станицам района. Тогдашний секретарь райкома ВКП(б) Бахметьев очень ценил его как руководителя хора и оркестра, и когда надо было, оказывал всяческое содействие, помогал в решении в работе самодеятельности вопросов и явлений. А инструктор РК по культмассовой работе Остроушко был активным участником всех концертов, в которых выступал как артист-чтец – с большим успехом читал со сцены юмористические рассказы Зоценко и других, популярных в то время писателей.

Очень жаль, что эта сторона жизни отца, эта его полезная общественная работа, не послужила ему защитой и поддержкой его репутации в тридцать седьмом году, когда его ни за что арестовали, и он, доверившись начальнику РО НКВД Романову, без возражений, сразу подписал первый и последний свой протокол допроса, по которому ему определили десять лет лагерей за «КРД» – что значит «за контрреволюционную деятельность». Парадокс?!.. А выходит, именно так – за свою активность он и поплатился.

После 10-летнего срока, освободившись, он остался в том же поселке, где отбывал срок, работал по специальности, был заведующим портновской мастерской. Второй раз его не репрессировали, как всех «таких» в 1948 – 1950 гг. и реабилитировали в 1954 году, но об этом напишу ниже.

В фамилии Смирновых не было ни одного человека, кроме отца, интересующихся искусством и любителей музыки. У него это было от природы, и всё это он нам, детям, вроде как передал по наследству. Мы все с раннего детства играли на мандолине, гитаре, балалайке, которые отец привёз из Пятигорска. Кроме того, все в нашей семье пели хорошо, кроме меня – не было голоса. Я больше играл, а когда выросли сестры, у нас образовался настоящий домашний струнный оркестр: две гитары, две мандолины, балалайка. А начинался наш оркестр из отца и меня – я играл на балалайке, а отец мне аккомпанировал на гитаре. В то время, – а мне было 5-7 лет – все наши гости, родня, которые часто приходили на праздники и семейные торжества в наш дом помногу, и всегда имели угощение «на десерт» – слушали музыкантов, т.е. меня и отца!.. Надо было видеть выражение лиц у отца и матери, когда гости все наперебой спешили высказать свои восторги в мой адрес. Уж что-что, а это я отлично помню! Вот такие похвалы мне пришлось испытывать в самом раннем детстве, а потом они продолжались до самых первых дней отрочества и юности. Я к ним привык, и уже не считал их чем-то особенным, мне казалось, что так оно и должно было быть, а не иначе. Но самое главное, что я никогда нос не задираю ни перед кем, не было повода, потому что относились ко мне все мои родственники и друзья-товарищи хорошо, а я со своей домрой или мандолиной всегда не расставался и таскал с собой и в сад, и на речку, когда купаться бегали, и даже когда лазали по чужим садам за яблоками или сливами – я домру или мандолину в кусты прятал, чтобы не мешала на дерево залазить...

Это не мешало мне вечерами бывать на репетициях, а когда надо – сидеть на сцене (поскольку маленького роста, то на самом переду) в окружении всех учителей нашей школы, которые были участниками-музыкантами оркестра.

Особенно хорошо мне запали в память наши выездные концерты по станицам: Попутной, Благодарной, Казьминской, когда нас на подводах возили, и мы, лёжа на сене или соломе, предавались воспоминаниям о только что прошедшем концерте, шутили и смеялись до самого приезда домой. Я говорю «мы вспоминали, шутили»: это все взрослые веселились, а я один среди них пацанёнок-мальчишка, с жадностью слушал да запоминал все их замечания, шутки, анекдоты, и иногда даже и такое, что мне и не надо бы было слышать, но... хотя взрослые всячески маскировали словесно, что надо – я по своей сообразительности догадывался, но молчал, не подавал виду, хитрил, что вроде я ничего не смыслю и т.д. Но отца было не проведи, он мне часто внушал, что хорошо, а что не так... Мама всегда была против таких поездок, но оркестр не мог ехать без меня, и отец успокаивал маму тем, что «я ж там сам буду!..»

Маму мою звали в Отрадной Ефимовна – не иначе. Она тоже была активисткой – пела

в хоре, была в составе женсовета, члены женсовета тогда почему-то все ходили в красных косынках и назывались «делегатками». Кроме хора, она была незаменимой организаторшей всевозможных буфетов на всех наших концертах и спектаклях, она также была активной участницей нашего драмкружка и очень часто выступала в какой-нибудь роли в спектаклях. До того самого года драматический коллектив Отрадной пользовался очень большим успехом у зрителей. Все спектакли проходили с неизменным успехом, как и выступления коллектива «Синей блузы», на представления которых никогда не хватало билетов – успех был исключительный.

В нашем «городском саду», как тогда называли наш небольшой садик-парк, в котором была сценическая площадка-раковина, два раза в неделю выступал наш духовой оркестр, исполняя так называемую садовую музыку для любителей, сидящих на скамейках в нескольких рядах перед раковиной. Наш оркестр любили слушатели, и народу всегда было полно, а мне и моему дружку, такому же малолетке как и я – Васе Наумову (мы играли с ним на альтях), было превыше всякой гордости сидеть со взрослыми в оркестре и играть перед народом.

В составе нашего струнного оркестра были почти все учителя, как начальной 4-х классной школы, так и средней школы, причем почти все учителя старого, дореволюционного поколения. Было много молодежи из более активных ребят и девочек, которые в большинстве пели в хоре, в котором принимали участие почти все интеллигенты той же старой «формации». Помню, среди них были землемер Носов, ещё один землеустроитель Пустынников, агроном, также из стариков, Чесноков, врач Честнов, учительница Репринцева, старый банковский работник Артём Борисенко, кассир Госбанка казак Савин, директор школы Матюцкий, мастер-бочар Маклецов с тремя молодыми дочерьми, работник почты (бывший почтовый чиновник) Антон Баев, старый учитель Сиричук, учитель Гуренко, учитель Бибики и много (фамилии я забыл) других старых интеллигентов. Из молодежи много девушек пели в церковном хоре, но почти все они с большим удовольствием участвовали в «светском» хоре – была ведь возможность показаться на сцене перед народом не только в церкви, что для молодых девочек того времени было притягательно, потому что «в новинку». Ведь кто и когда из простых сельских девушек мог на сцене выступать?.. Много было молодежи, как ребят, также и девушек из семей ремесленников, мастеровых людей – сапожников, столяров и других «иногородних».

В то время ведь не было ещё обувных фабрик, поэтому сапожники всех разрядов были также в моде. Среди них были также мастера высшего разряда – закройщики, которым самим шить обувь не было времени, они заготавливали разнообразную обувь, особенно женскую, для сапожников, не умеющих кроить и заготавливать туфли или сапоги, и они сами были завалены работой до отказа, а свои заготовки представляли тем, кто не умел их делать, а только шили. Таких мастеровых в Отрадной было много, и все они хорошо знали моего отца. Между ними была всегда особая дружба, вроде как на «профессиональном уровне», как говорится – рыбаки рыбаки...

Снова мне хочется не смолчать, прямо так и тянет написать ещё об одном случае, связанном со словами «выражение лица»...

У меня такая память – один раз, но отчётливо запомнившееся пережитое, до случая лежит где-то в глубине памяти и молчит. И как только возникнет что-либо похожее на то запомнившееся, как говорится, как только возникнет подобная ситуация (всё стараюсь сказать попроще и доходчивее) – сразу в воспоминаниях возникает то, что в глубине памяти лежало и молчало. И возникает это совершенно случайно, при самых неожиданных встречах с незнакомыми людьми, «выражение лица» которых, как потом выясняется, заставляет то, что «молчало», выплёскиваться в виде вот таких кусочков воспоминаний...

Вот об одной такой совершенно случайной встрече, когда мне пришлось запомнить «выражение лица» я и хочу написать...

Мне надо было в Сочи – не в сельской местности – срочно найти сапожника не модельера, каковых сотни в Сочи, а простого ремонтника, проще говоря, холодного сапожника (все теперь сидят в ателье и обижаются, когда к ним обращаются как к «холодным сапожникам»). Один знакомый матрос в морпорту, назовем его Пётр, указывая на своего бригадира, крупного, рослого мужчину, тоже пенсионера, назовём его Жора – посоветовал мне со своей просьбой обратиться к нему, что я тут же и сделал... Жора несколько раз видел меня в компа-

нии Петра, знал, что мы с ним знакомы, потому что оба из Отрадной (Пётр – отрадненский житель, музыкант, играл в духовом оркестре с моим другом-колымчанином Жорой Лизогубовым, когда Жора снова руководил оркестром в Отрадной по возвращении с Колымы), т.е. знал меня не первый день. И тут же, недолго думая, Жора сказал мне: «Иди, дядя Коля, к рынку, там, напротив, читай вывески и найдешь «Ремонт обуви», спроси сапожника Ивана Ивановича и скажи, что прислал к нему тебя я, Жора, и он всё тебе сделает»... Я так и поступил, нашел эту мастерскую, Иван Иванович мой заказ принял и быстро, при мне, его выполнил, сделал всё хорошо и потом только спросил: «А тебя ко мне прислал Жора Масленников?» Я ответил, что именно он, но фамилию его я не знал... Иван Иванович заметил, что он всю его бригаду в морпорту знает, и там Масленников Жора один, именно он...

По пути домой (мне надо автобусом ехать шесть остановок), сидя в автобусе, я невольно стал вспоминать... Масленников, Масленников... Фамилия не из редких, но мне как-то не приходилось её слышать нигде за всю свою жизнь после 37-го года, где бы я ни был, а встречался я со многими людьми «разных по всем параметрам», но эту фамилию ни разу не слышал нигде...

Вот тут и проявился тот самый случай, когда с детства запомнил – и на всю жизнь. Как только я её услышал – Масленников – она засела в голове, как говорят, сучком, и сидя в автобусе по пути домой, я всё время силился вспомнить – откуда она мне так знакома? Почему таким сучком засела в мозг? И всё никак не мог вспомнить, и уже дома рассказал всё жене, а кому же ещё, мы с ней двое живем на даче, видим друзей только летом, когда к нам все как мотыльки на свет едут со всей страны... Она, выслушав меня, коротко и категорически резюмировала: «Подумаешь, фамилия какая-то покоя тебе не даёт. Да брось ты свою писанину, кому она нужна, сидишь, печатаешь днями и ночами, а кому это надо? Вот опять будешь расстраиваться и слюни распускать. Я же вижу, когда ты сам себя до слёз доводишь своими воспоминаниями, когда печатаешь, а на глазах слёзы, я же всё это вижу»...

В таких случаях я всегда поступаю по древней индийской поговорке: «Надо дать жене всё выговорить, не перебивая её, а потом всё сделать наоборот»... Так я и поступил. Дней через пять эту фамилию я вспомнил – она отрадненская, из родной станицы, запомнил её в детстве, когда мне было 10-12 лет...

Как говорится – рыбаки рыбаки...

Человек с этой фамилией часто приходил к отцу по делам или просто так, послушать пацана-балалаечника. Отец говорил, что дядя Захар Масленников любил нас послушать. Был он отличным сапожником-заготовщиком. Сам обувь не шил, но делал отличные заготовки мужской и женской обуви для не умеющих этого делать сапожников, чем славился по нашему району, да и почти по всей Кубани – его знали как мастера экстра-класса. Жил он, конечно, хорошо, потому что прилично зарабатывал, как впрочем и все мастеровые люди в то время – ведь был НЭП. Была у него большая семья, свой дом, сад, огород, и «процветал», как тогда говорили про всех мастеровых людей, хорошо зарабатывающих в Отрадной, впрочем как и мой отец... Плохо в те времена жилось только разным «тямоськам» и пьяницам-лентяям... Всё было хорошо до того года, когда «в воздухе повеяло»...

Хорошо живущих, а также хорошо зарабатывающих мастеровых – сапожников, портных, столяров, бондарей и других – советская власть обложила такими налогами, что ни одному из самых хороших ремесленников не в силах было расплатиться с финотделом. Чем выше была квалификация мастера, тем выше были налоги. И себе в убыток работать, разумеется, никто не хотел. Власти предложили всем мастеровым людям объединиться, организовать артели и т.д. Но какой хороший мастер своего дела пойдёт работать в артель, где большинство были плохие ремесленники – в большинстве лодыри и пьяницы. Никакой специалист не мог и не хотел работать наравне с ними.

Мой отец, из-за налогов бросивший портняжить дома, поехал в Армавир и там устроился на работу на швейную фабрику, сидел на конвейере, пришивал только рукава. Кое-как зарабатывал себе на харчи. Он жил в Армавире, а мы все дома – в Отрадной. Но вскоре он бросил эту «затею», вернулся в Отрадную и устроился на работу счетоводом в только что организованную МТС. Это пришлось сделать только из-за продуктовой карточки, по которой, впрочем, кроме нескольких килограммов муки на него и на семью ничего не давали. А дядя Захар Масленников, и большинство таких мастеров как он и мой отец, оказался более

дальновидным и решительным. Не дожидаясь, когда начнут раскулачивать или загонять в артели, как это делали с крестьянами, загоняя их в колхозы, дядя Захар предусмотрительно, всё рассчитав, кое-как распродав домашность, а ведь были и такие, которые просто бросили всё, а потом тайно-секретно, никому не сказав ни слова, покинул станицу. Многие уезжали в глубинные просторы нашего большого государства – кто на Дальний Восток, кто в Среднюю Азию, кто в Закавказье, кто на Север, кто в Прибалтику. В то время ведь не было ни прописки, ни паспортов – кто, откуда, зачем приехал – кому какое дело. Многие заранее обзавелись нужными справками, можно было безнаказанно и фамилию изменить, что многие и сделали, устроились с работой, а специалисты своего дела всегда были в цене – стали работать на новых местах, никто их не тревожил и не трогал.

Смысл таких переездов был ещё и в том, что такие, хорошо зарабатывающие, а отсюда и «справно» жившие, как тогда модно было говорить, местному начальству – разным «тямонькам», просто глаза мозолили. И очень правильно делали такие люди как Захар Масленников – убрались тихо-мирно с «тямонькиных» глаз долой. Хорошо устроившись на новых местах жительства, они пережили там все советские «прелести» – голод, раскулачивание, коллективизацию и дальнейшие мероприятия «генеральной линии партии», которые с особенной яркостью были проявлены на Кубани и Украине. Они сами спаслись от всего, пережив один раз настоящее потрясение в связи с необычным, внезапным, нечеловеческим моментом перемены места жительства, когда пришлось в полном смысле слова бросить родные гнезда. Утешением было то, что в своих расчетах они не ошиблись, как бы дорого это им не обошлось – пережили всё.

Пережили все горести, и на новом месте, начиная всё с нуля, хорошо устроились, остались живы-здоровы, вырастили детей, окрепли во всех смыслах, кто вернулся с войны 1941-1945 годов до сих пор живы-здоровы и благодарят судьбу за то, что они в своё время сделали правильный выбор. Должен повторить опять – мой отец в своей жизни совершил две ошибки: не уехал из Отрадной раньше 1934 года, когда, скажем, уехал Масленников. А вторая ошибка была в том, что уехавши, хотя и позже, на Дальний Восток, в 1937 году вновь возвратился на родину, в Отрадную – опять «мозолить глаза» отраденским «тямонькам», которые и сделали нашей семье ту самую «мульку», после которой он сам и я чудом остались живы, завершив обучение в «академии ГУЛАГа», которую мы с ним прошли «с успехом»!.. Уехавшие же, как моя богачка тётя Полина (старшая сестра матери) в Абхазию, её два младших брата в Среднюю Азию, сёстры отца на Дальний восток, закройщик Масленников в Сочи, большая семья сапожника Егорова – пять сыновей (младший Гриша учился со мною в одном классе), всех перетянул в Москву старший сын, уехавший поступать в ВУЗ; поступил, учился, а всех братьев устроил на обувную фабрику им. Микояна, где они и до сих пор, конечно, кто остался цел после войны, – все они живут в добром здравии, вспоминая «минувшие годы».

Это я, конечно же, не обо всех написал. Полстраны населения в те годы металось во все концы, искало спасения от этих самых прелестей «генеральной линии» и прочей коммунистической мифологии... Некоторым таким переселенцам, пристроившимся «больше, чем хорошо» на новых местах жительства, когда они стали членами КПСС и более-менее «буграми по должности», приходилось иногда менять выражение лица из-за страха перед разоблачением – а вдруг какой-нибудь «тямонька» докопается до истины? Вот тут и вспоминается так называемая «чистка партии», имевшая место в тридцатых-сороковых годах, которую, по-моему, сами же эти «тямоньки», почувствовав колебание почвы под ногами, её, едва начав, вскоре и отменили...

Так вот, сапожник-заготовщик, хорошо знавший моего отца, Захар Масленников, сделал именно так – переехал на постоянное жительство в Сочи в 1930 году, устроился на новом месте хорошо, как хороший мастер прославился своей работой на всём Черноморье, прилично зарабатывал и также неплохо жил, вырастил детей и, как говорится, умер своей смертью – никто его не трогал и не старался разоблачить. Хотя, кажется, а чего ему, или моему отцу, или мне, было бояться какого-то разоблачения? В чем? В том, что отец мой был хороший портной, а Масленников – отличный сапожник? Ну и что? Разве это грех большой перед какой бы то ни было властью, что человек своим трудом хорошо зарабатывал и потому хорошо жил?.. Ведь ни один ремесленник или просто хозяин своего дома – проще говоря, казак или иногородний сельский житель ничего не делал против властей в те годы, а их сколько высе-

лили на Север и сколько загнали насильно в эти колхозы, оставшихся в живых после голода и раскулачивания? И чего было бояться просто уехавшим, переменившим место жительства?..

И, тем не менее, Масленниковы, живя в Сочи, никогда и никому ни слова не говорили, откуда, когда и зачем они переехали в Сочи из Отрадной, да об этом их никто и не спрашивал. Здесь они благополучно пережили все ужасы 32/33 годов Украины и Кубани – голод, раскулачивание, коллективизацию, и никогда не знали 1937 года и всех «его прелестей». Хорошо работали, хорошо и жили, местным «тямонькам» не успели «намотать глаза»... Сын Жоры потом стал моряком, теперь уже дедушка, давно на пенсии, и ему только и осталось вспоминать минувшие годы. Ясное дело, что сам Жора никому не рассказывал историю своей семьи – про отца, как говорится, «молчал в тряпочку» и про себя тоже. Отца все знали как отличного мастера – это я сам слышал год назад от того самого Ивана Ивановича. Я тоже ни слова не спрашивал у Жоры про их семью даже тогда, когда уже знал о том, что Жора сын того самого дяди Захара.

Теперь мне самое время сказать про «выражение лица», с чего я начал это воспоминание. Недели через две я снова встретился в морпорту с Петром и Жорой – они работали в одной смене – и я был полон решимости прямо спросить его – не из Отрадной ли он?.. Жора на этот раз промолчал, бросив на меня такой пронизывающий взгляд. Я не стал повторять вопрос, разговор перевели на другую тему. Но его взгляд был всё же непростой, какой-то необыкновенный, хотя ничего необычного поначалу в нём я не заметил...

Время шло. Иногда в неделю раз я ездил в Сочи на рыбалку и виделся с Петром и Жорой. Примерно через месяц мне уже Петр сказал как-то, Жора из Отрадной (до этого Петр мне ничего про Жору не рассказывал, да его я и не просил).

В очередной раз я был в Сочи на рыбалке, захватил с собой бутылку своего домашнего вина, оно у нас отличнейшее! Мы втроем выпили по стакану, разговорились о том, о сём и, как бы невзначай, я и спросил Жору: «Твой отец, Жора, Захар Масленников, был отличным сапожником-заготовщиком в Отрадной, дружил с моим отцом, хорошим портным, ходил к нам домой, я его часто видел, он всегда хвалил меня как маленького музыканта – так это твой отец?..» Я просто глядел в его глаза, без всякого намерения, просто внимательно посмотрел... Жора не смог отвести от меня своего взгляда и подарил мне вот то самое «выражение лица», которое я и запомнил очень хорошо, потому что оно выражало и тревогу и страх, да, да, именно и то и другое... Как это можно описать на бумаге и какими словами – я не знаю, но видеть это выражение надо обязательно самому, своими глазами. Видеть один раз и запомнить. Короче говоря, у меня нет слов для подробного описания «того выражения», но оно запомнилось мне.

Жора также, не отрывая от меня своего взгляда, спокойно и ровно сказал: «Да, Захар Масленников – мой отец»... А Петр добавил: «Ведь его отчество Захарович»... Жора одобрительно посмотрел на Петра и, обращаясь ко мне, добавил: «Меня привезли сюда пацаном, я мало чего помню про Отрадную, которую тут забыл начисто, так всю жизнь здесь и прожил... Это моя дочь, указал он взглядом на молодую женщину возле автомобиля, и машина моя...»

Я высказал ему своё одобрение по поводу того, что вот, мол, ещё один отраденец, мой земляк, нашелся для меня, нашего полка, мол, прибыло и всё такое, в этом духе. Мы потом долго сидели, разговаривая про Отрадную. Рыбалка моя была неудачной, вспоминали кого он помнит в Отрадной, кого я помню и т.д.

Потом он меня на своей машине подвёз к автобусной остановке «Юбилейная», в том районе он живёт, а я пересел в «мой автобус», поехал домой... По пути к дому, сидя в автобусе, я немного проанализировал наш разговор и всё старался найти причину, почему до сих пор у людей в таких случаях невольно выражается чувство тревоги и страха. Ведь Жора к тому времени всё знал обо мне и моем отце, и вообще он знал про 1937 год и про всё, всё, всё... Очевидно, эта заскорузлая, укоренившаяся привычка бояться всего, так въелась в души людей за семьдесят с лишним лет, что невольно, как-то механически, выражение лица само появляется и отражает состояние души, до сих пор никак не выдавившего из себя чувства раба, подневольного, несвободного...

Вот оно, это чувство – «выражение лица», невольно выдало Жору, который всю жизнь, живя в Сочи, тревожился за то, что кто-нибудь узнает, когда и почему они оказались в Сочи, где отец Жоры фактически самостийно, нелегально, не по законам советской власти сделал

себе и своим детям хорошую жизнь и надолго. Вот почему страх и тревога и есть то самое главное, что характеризовало выражение его лица, которое я не упустил, а наоборот очень хорошо запомнил, хотя криминалистом никогда не был – это просто наблюдательность, что развилась во мне со времени обучения в «Колымской Академии», и обострилась она после того, как мне и всякому другому представилась возможность кое-что прочесть за последние полтора года, особенно в газете «Литературная» и журналах «Огонек», «Наш современник», «Кубань» и др.

Вообще, отношение казачества к иногородним семьям мастеровых было хорошее, ведь казакам приходилось обращаться с заказами к мастерам – разным портным, печникам, бочарам, или бондарям, как их называли на Кубани – и в этих отношениях была своеобразная гармония – чем выше квалификация мастера, тем лучшее было к нему отношение, доходившее порой и до настоящей дружбы.

До 1930 года у нас не было своего дома, жили по квартирам, потому что тот дом, который был дан в приданое матери – раньше был сдан дедом в аренду, и до окончания её срока нашей семье приходилось жить по квартирам. Я хорошо себя помню с этого именно времени, когда в 1920 году мы переехали в дом казаков Бардаковых, которые предложили отцу его под квартиру, после того как отец обшил всю их большую семью, выполняя их заказы. Со стороны Бардаковых это было проявлением дружбы. За свою работу отец с них получил что надо, а за квартиру отец должен был платить хозяину по договору. «Другому, – как говорил хозяин, – я не отдал бы дом под квартиру на таких условиях...» Это уже было гуманно с их стороны. Хозяйский дом был рядом, в одном дворе с нашим, оба дома были отгорожены заборчиком от хоздвора. Они были богатыми, имели много земли, было у них пять пар лошадей, столько же коров, стадо овец, большая пасека, был у них и небольшой хуторок в степи. Сам хозяин, кроме того, был отличный мастер-столяр. Делал отличные брички, тарантасы, колеса для экипажей тачанки, дуги для лошадей. Это было исключением для казаков – очень редко кто из них были такими мастерами. На хоздворе, под одной крышей с большой конюшней, у него была мастерская, где он работал. Было у них шесть сыновей и шесть дочерей и все жили в одном доме, кроме самого старшего Николая, отделившегося после женитьбы. Старшая дочь Елена уехала с мужем в Россию, а остальные все жили вместе. Мой ровесник – их сын Ваня был моим другом, мы ходили с ним вместе в школу в один класс.

Все взрослые сыновья – еще один Николай, Костя, Гавриил, и еще Николай (по старшинству) работали вместе с отцом, но только в поле. В мастерской он сам обходил. Иногда, не очень часто, просил кого-нибудь из ребят чего-нибудь перенести или помочь принести.

Младше Вани были Вася, Валя, Галя, Шура – эти помогали матери, были ещё две маленьких сестры. Я с Ваней, по обычаю, под праздники, в сопровождении старших Кости и Гаврила, ходили христославить под Рождество и посеять (так на Кубани называли колядки). Под Новый год ходили со звездой по всем правилам, посещали, в основном, нашу обширную родню, которая нас щедро одаряла. Всё сладкое и вкусное было наше, а рубли и полтинники серебряные мы отдавали нашим сопровождающим, без которых нам невозможно было бы ходить. У нас и звезду отобрали бы и всю нашу добычу отняли, так было «в законе» в те времена.

С хозяевами наша семья жила дружно. Отец мой был всеми уважаем в станице и хозяин Иван Иванович также относился и к отцу, и ко всей нашей семье хорошо.

Летом в их хоздворе, после покоса, всегда была молотба хлеба. Привозили и устанавливали молотилку и паровик. Это было самое веселое время в году для всех жителей Кубани. Во дворе, где шла молотба, было шумно, оченьлюдно, суе́та и сплошное движение во все стороны. Шум, гам, крики, рёв молотилки, очень часто гудок паровика, подающего свои сигналы работавшим на молотилке, наверху – где снопы кидают в барабан, чтобы не спешили совать сноп – перегруз в барабане молотилки сразу сказывается на оборотах колеса паровика, это приводит к соскакиванию приводного ремня от паровика к молотилке. Тогда надо останавливать паровик и ремень одевать, ставить его на место, а эта процедура не из простых. А самое главное – остановка в работе, что никак не желательно, потому что пока стоят солнечные дни, надо успеть всё обмолотить, иначе всё может пропасть. Дождь намочит снопы и тогда всё пропало. Поэтому молотба начинается буквально с рассветом и кончается уже при почти темноте.

Для хозяйки и хозяина, чей хлеб молотится – обычно несколько хозяев договаривались с хозяином молотилки и с хозяином двора, устанавливая очередь – и хозяину снопов надо было кормить всех, кто работал у паровика, на молотилке и на уборке половы, соломы, а уж сам «хлеб» или зерна пшеницы, конечно же собирали, стоя под молотилкой с мешками сами хозяева. Я отлично помню, какая это весёлая и шумная была пора и сколько радости и восторга она приносила нам, мальчишкам, когда нас катали на валках соломы, которую отвозили парой лошадей волоком, подальше в сторону или к самому паровику – она шла на его топку. Или машинист разрешал нам по очереди дернуть за проволоку от гудка паровика и раздавался гудок его – сколько это было радости для нас!.. Хозяева хлеба, которым он обмолачивался, всю бригаду работавших кормили три раза в день – приносили вареное-жареное прямо к молотилке. Делался обеденный перерыв, и тут же, на соломе, все, кто полулежал, кто сидел, с аппетитом уплетали настоящий кубанский борщ или лапшу с мясом, а потом – кусищи жареного. Надо было «не ударить лицом в грязь» перед хозяевами, отмоловившими твой хлеб. Старались угодить работникам-молотильщикам; а мы, пацаны, – без нас и вода не освятится – мы тут как тут, всё видим, слышим и знаем..., и уж на арбузы с дынями, завершающими трапезу, мы никогда не опаздывали. Хотя нас было больше десятка, всё равно нас все угощали большими скибками красного арбуза и мы, конечно, не имели права отказаться!.. И то же происходило в ужин. Время завтрака мы просто просыпали, потому что работы начинались до восхода солнца, а завтрак, разумеется, был всегда раньше, до начала работы – до начала протяжного гудка паровика, который нас и будил. Весёлая была пора обмолота хлеба, потому и не забываемая.

Через несколько лет вместо паровиков у нас появились первые трактора «Фордзоны», заменившие паровики. Для уменьшения пожарной опасности молотилку «крутил» трактор. В то время молотилки стояли по дворам, или в порядке очереди перевозились из двора во двор каждого хозяина; когда проводили обмолот – он со своей семьёй и приглашенными рабочими, следил за своим хлебом, чтобы не случился пожар. Строго, очень строго смотрели за малейшей искоркой, вылетающей из трубы паровика, и, несмотря ни на что, в малейший ветерок работы прекращались. Случаев пожара на домашних токах в Отрадной никогда не было – не припомню ни разу и ни в одном году. Хозяева строго следили сами за противопожарными мерами. Когда появились трактора, то обмолот проводили уже на колхозных токах. А вот здесь пожары случались: однажды на колхозном току сгорели дотла не только стога хлеба, но и все намолоченное вместе с соломой, половой, включая молотилки и даже два трактора. Высказывались о причинах пожаров разные версии, но, в основном – это «поджоги, совершенные раскулаченными» или «пособниками вредителей», и всё, самое «модное» в духе того времени. Когда тракторист при заправке тракторов нечаянно пролил немного бензина, затоптал его ногой, чтобы не влетело ему, а потом сам же, забыв про пролитый бензин, бросил плохо затушенный окурочок сигарки – эту причину пожара также отнесли на счет вредителей. Это я также хорошо помню, потому что уже был не пацаном и всё знал из рассказов очевидца этого пожара – товарища, присутствовавшего на похоронах тракториста, которого хоронили под наш оркестр...

Помню первую страду-обмолот хлебов по дворам хозяев, куда несколькими парами лошадей под шум и выкрики работников перевозились на тока молотилки и паровики (а их владельцы, хозяева этой техники, сами и работали непосредственно на обмолоте). Для работы на паровике нанимали кочегара, потому что топливом была солома, и её надо было непрерывно подкидывать в топку. Рабочий был и на самой молотилке, когда сам хозяин не хотел стоять наверху перед барабаном. В любом случае он всегда находился внизу обязательно, строго следил за порядком вообще, а за противопожарным – особенно. Уместно будет сказать о том, что в те времена коров, лошадей и прочего скота в станицах было очень много, у каждого хозяина не меньше десятка, не считая свиней. Но никогда и никто не кормил своих животных соломой, а её было очень много. То, что оставалось от крыш на хатах и сараях, когда их поновляли – шло на отопление. Корма хватало и без соломы у всех, кто держал много скота.

Кстати сказать, в Отрадной было пять или шесть хозяев молотильной техники – паровиков и молотилок, которых с началом колхозного строительства, конечно, раскулачили. Технику обобществили и передали колхозам, а хозяев на Север выслали, кого успели, потому что очень многие (а молодежь, все до единого) в предчувствии беды, просто разбежались по

стране во все концы. Получилось, что выслали только стариков, не успевших уехать. Так было со всеми раскулаченными, не только с хозяевами молотилок.

Наша семья с хозяевами жила очень дружно (фактически в одном дворе), никогда за все время нашей жизни в их доме, а это около десяти лет, между родителями не было никаких размолвок или распрей. Бардаковы жили своим казачьим укладом, не вмешиваясь ни в чём в жизнь нашей семьи, которую они считали «интеллигенцией», что никак не мешало хорошим отношениям. В годовые и семейные праздники были только чисто соседские поздравления, когда наша мама с каким-либо угощением на тарелке шла с поздравлением к ним в дом, или их хозяйка приходила с тем же в наш дом, дальше этих знаков внимания дело не шло. У них всегда были свои гости из родни и приглашенных; у нас такое же, своё, нашенское. Бардаковы были очень религиозной семьёй, все до единого. На увлечение моего отца общественной работой смотрели уважительно, хотя ни разу из них никто не был ни в одном общественном месте, кроме церкви, где видели отца во главе хора, когда церковная служба полагалась с большим хором. Они были потомственные казаки со всеми укладами и обычаями, свято соблюдали казачьи законы, но на отношения к нашей, иногородней семье это никак не влияло, а для нас, детей, вообще ничего не существовало. Очень часто я и Ваня в компании со старшими братьями ездили верхом без седла (а кто это пробовал, тот знает, какое это «удовольствие», после которого с непривычки ходить было больно) на Уруп купать лошадей. Часто бывали в ночном в степи на хуторе, ночевали в соломенных балаганах (так на Кубани называют шалаши). А днем, там же, ловили сетями перепелок. Их было очень много в степи, когда поспевало просо. Это было любимым нашим занятием: сидишь скрытым в шалаше и следишь за тем, когда под приподнятую на подставке-палке сеть налетят штук 15 или 20 перепелок, и тогда только за верёвку дернешь, палка-подставка падает – и сеть всех перепелок накрывает. Нам оставалось только вытащить перепелок из сети. А потом из них варили пшенный с картошкой суп, вкуснее которого на свете ничего не бывает!.. Я часто привозил перепелов домой, и мама их готовила по своему рецепту. Часто мы с Ваней бывали на их пасеке, где лакомились майским медом первого взятка, не дожидаясь, когда его будут качать. Ели прямо в сотах, что очень вкусно и опасно, потому что иногда у кого-нибудь из нас был полон рот языка – не заметишь пчелу в какой-нибудь дырочке-соте и...

Почти каждое лето у нас, у Смирновых, была собственная небольшая бахча, которую, в расплату за работу, отцу казаки отдавали «на снять урожай». Там было много арбузов, дынь и немножко огурцов, кабачков и тыкв – это уже по желанию – если что нам нужно было кроме арбузов с дынями. Бахча была готовая, возделанная. Нам Бардаковы всегда выделяли, когда надо было, бричку пароконную, чтобы мы ездили на поле убирать наш урожай, а проще сказать – за лето раза три съездить за арбузами-дынями, что для нас было радостным событием. На бахчу мы с большой охотой ездили почти всей нашей семьёй, кроме отца, который всё сидел за своей машинкой, шил, шил и шил... По годовым праздникам (имею ввиду не семейные) у нас бывало помногу гостей, но не всегда, а вот в семейные всегда было не меньше 30-ти человек. Приходили почти все наши родичи: мои дяди и тёти с детьми, такими же, как и мы. Всех детей отдельно и раньше накормят-угостят и всех на улицу или во двор, а мне предстояло развлекать гостей. Мы с отцом уже настроили свои инструменты, и я был во всеоружии – готов выслушивать похвалы и восхищения гостей – ах, как хорошо он играет, а такой маленький! и т.д. И как всегда был свидетелем всех взрослых разговоров и сплетней, всего того, что бывает при обширном и весёлом застолье многочисленных родственников наших и знакомых, некоторых участников хора и оркестра, приглашенных отцом. И мне на всю жизнь запомнилось, и уже вот теперь, в эти дни и раньше, я всегда всем нашим – теперь уже нашим гостям говорил, вспоминая то время моего детства, о котором сейчас вспоминаю, ни разу в жизни и никогда ни в какие праздники и при любой компании в нашем доме (я же ведь живой до сих пор свидетель почти всех гостевых застолий в нашем доме, как губка впитывавший в себя всё услышанное и увиденное малолетними глазами пацаненка-мальчишки) никогда и ни разу не было никакого скандала или чего-нибудь в этом роде, что могло бы, как говорится, все испорить, никогда и ни разу. Может быть потому, что было весело при собственной «музыке», может быть потому, что почти все были любители пения, а уж пели у нас за столом – это надо слышать! Ничего нет краше и лучше того, когда люди, подняв немного себе настроение рюмкой-другой, впадая в благодушие, начинают кто как может проявлять

свое настроение пением. Это разноголосие при участии хористов отцова хора качественно выравнивалось, их всегда было не менее пяти-шести человек (два баса, два тенора), что оказывалось вполне достаточным, чтобы хор звучал прилично. Не знаю, как и кто это воспримет теперь, но памятью мальчишки я всё это запечатлел себе в сердце, и всегда с трепетом в душе слушал, сам подыгрывал как мог мелодию песни, и считаю, что такое хорошее пение, именно хорошее, в полном смысле этого слова, может не понравиться только какому-нибудь заидеологизированному дубу, который кроме «Да здравствует...» никогда ничего не слышал, и сам, кроме «Я – за!» ничего не говорил... Это я вспомнил к тому, что в то время – ведь я был не взрослым парнем – наверное, я и почувствовал по-настоящему красоту хорового пения у нас дома, а потом слышал и видел настоящий большой хор на сцене, когда хористов было не менее 50 человек, которые, разумеется, пели в десятки раз лучше, чем за столом, да и исполняемые большим хором произведения, такие как «Бандура», попури из всех украинских песен, или «Кобза» – то же самое, или попури из русских народных песен – почувствовал и по-настоящему оценил, полюбил его и на всю жизнь остался большим поклонником его.

В то время отец поддерживал деловую и дружескую связь с известным в то время украинским дирижером-хоровиком Давидовским, который и прислал отцу партитуры «Бандуры» и «Кобзы», и множество других хоровых вещей, как «Лубиньска видьма», «Гей, там на гори сич идэ...» – марш запорожцев, «Разговор двух колоколен» – юмористическая хоровая картинка из жизни женского и мужского монастыря – эти ноты хранились дома до 1937 года. Много было других нот, присланных Давидовским отцу – названия забыл. Этого Давидовского куда-то «убрали», и когда – не знаю. Отец с ним переписывался, когда он был в Харькове. Музицируя с отцом дома, для наших гостей, а они всегда просили меня и отца поиграть, я привык к их похвалам и принимал их как за должное, но ведь я был все-таки пацаном, и вёл себя соответственно. Если надоедало мне играть, меня просто отпускали, видели, что я начинал просто шалить.

VIII

Изобилие в годы НЭПа. Посещение станичной церкви. Антирелигиозный диспут. Голодающие с Поволжья. «Монополька». Дьякон Животков. Кража работницы Симы. Судьба Животковых и Бесединых, уехавших на Дальний Восток. Семья Смирновых решает уехать из Отрадной. Судьбы некоторых раскулаченных

А самое главное – я же отлично помню разговоры взрослых в нашем доме, когда были у нас гости, а они бывали у нас очень часто, или когда дома бывали репетиции хора или оркестра – я же всегда был со взрослыми, как оркестрант, всё слышал и запоминал... В те времена почти все разговоры сводились к тому, что и кому новое «справить» к празднику из одежды или обуви, или как повеселее провести предстоящие семейные или годовые праздники. Часто рассуждали, вспоминая о том, кто и как пострадал во время революции и гражданской войны, лишившись большого богатства, вроде как наша богачка, сестра матери Полина, пострадавшая «лишь наполовину» – успела уехать в Абхазию. Было много по стране и таких, которые успели убежать за границу и кого-то раскулачили ещё в 1918-1920 годах... Но ведь большинство было таких людей, которых раскулачивать было не за что. А во времена НЭПа все работающие ремесленники, крестьяне и интеллигенция на Кубани, в крае с плодороднейшей землей и мягким климатом, за полтора-два года так окрепли и обогатились после военной разрухи и голода 1921 года, что лучшего и желать не надо было. Урожаи всегда были отличные, а когда хлеба даже больше чем вдоволь – всего остального тем более было в достатке, так как промышленность страны, как говорится, заработала на все обороты. Магазины потребкооперации были буквально переполнены всем, что требовалось для сельского хозяйства, а строительство жилья, изготовление одежды, обуви, а о продуктах питания и говорить нечего – всего было очень много: и на базаре, и в магазинах...

Отсюда и все мастеровые люди были при большой работе, все, кто хорошо умел делать своё ремесло – все жили отлично: гончары, печники, мастера вить верёвки и канаты из конопли, огородники, кровельщики, каменщики – все без исключения, работавшие на себя, зарабатывали хорошо – отсюда и жили все прекрасно.

Никто никого не заставлял и не принуждал работать. Кто умел работать на земле – пахал,

сеял, убирал, или, выполняя заказы казаков-крестьян и интеллигенции, за иную работу получали плату по труду, вносили налог финотделу и всё. Они были довольны и режимом и властью, я говорю о тех людях, которые хорошо работали и благополучно проживали и никогда не думали и не говорили ничего плохого про власть – не было причин и оснований... И никто никогда не предполагал, что всё это благополучие может когда-нибудь уйти в небытие, пока не нагрел тот год, нагрел так неожиданно и быстро, после чего и появились и недовольные, и сопротивляющиеся, и подозрительные, и подлежащие и т.д., т.п., которых таковыми сделала сама власть...

Вспоминаю – отец, я и пианист играли в трио (две мандолины и пианино) в летнем кино-театре (такой сарай без крыши со скамейками и экраном), сопровождали немые в то время кинофильмы. В одном таком кинофильме кооператор – тогда их называли частниками – продавал молоко «киломером». Так он назвал свою большую кружку, которая была явно меньше литра и килограмма по весу молока, наливая хозяйкам молоко из своего «киломера», приговаривал с усмешкой: «Слава тебе, Господи, и при советской власти жить можно!..» Я это «изречение» до сих пор помню, хотя прошло ни мало ни много – 65 лет...

Вторая моя бабушка по материнской линии – Мутер – была очень религиозной, фанатической богомолкой, искренней и глубоко верующей, и меня очень любила за моё послушание. Я отвечал ей своей любовью. Очень часто, а по большим религиозным праздникам обязательно, водила в церковь на всенощные и другие большие службы, когда обязательно пел церковный хор. Мне казалось, что она старалась и очень хотела по настоящему приобщить меня к религии, сделать если не совсем верующего, то хотя бы сочувствующего, хотя она и знала, что я был тогда уже пионер. Но этому бабушка не придавала особого значения, видимо считала, что её усилия когда-нибудь достигнут цели и была довольна тем, что я всегда с ней соглашался, и ни разу не отказался от её предложения пойти с ней «послушать хорошую», как она говорила, службу. Я ходил с ней охотно из-за любопытства, а больше всего от того, что очень любил хоровое пение и ещё потому, что управлял в церкви хором мой отец, что как-то тешило моё самолюбие, и как бы рад был этому, по-мальчишески задира л нос перед своими сверстниками. А в отряде пионеров не боялся косых взглядов – вот, мол, пионер, а ходит с бабкой в церковь – потому что мой «престиж» музыканта (как же, такой маленький, а играет в духовом оркестре со взрослыми!) был выше всего. Я всегда радовался, когда видел в церкви своего отца, поющего и руководящего хором. Бабушка была довольна тем, что я такой послушный, отец не возражал, и я этим пользовался. После каждого посещения церкви, придя домой вместе с бабушкой и отцом, при всех наших, отец всегда меня спрашивал: «Ну как, понравилось тебе?» Я всегда отвечал: «Хор пел очень хорошо, и мне понравилось»... Конечно же, все пасхальные и рождественские всенощные службы я был с бабушкой и очень хорошо всё помню.

В те годы ещё вопрос о закрытии нашей церкви не стоял ребром, как было модно выражаться в те времена, но антирелигиозная кампания была в самом разгаре. Помню, как проходил в нашей Отрадной диспут на тему «Есть ли Бог?» Диспут проходил в нашей школе № 1, где была сценическая площадка в большом зале – он же был и «зрительным». Все концерты и спектакли всегда проходили на этой нашей сцене. За час до начала диспута на улице возле школы играл наш духовой оркестр, в котором играл и я. Проводили диспут Секретарь нашего Райкома ВКП(б) Бахметьев и приехавший из Ростова-на-Дону архиерей – фамилию не помню.

Мне это было тоже интересно – слово-то «диспут» в нашей станице никто никогда до этого не слышал. Я прослушал его внимательно, не пропустив ни одного слова. Они, спорящие, по очереди, перемежаясь, выступали из-за небольших трибун на сцене, каждый со своими доводами и научными предположениями, отстаивая каждый свою тему, говорили очень понятно и взволнованно, что слушателями чувствовалось. Все сидели в полной тишине, с большим вниманием вслушиваясь в речи спорящих, затаив дыхание, были полны внимания, изредка одёргивали слишком активных атеистов или наоборот, делали замечания невыдержанным фанатикам веры. Всё дело в том, что в кои-то веки в Отрадной, в этой казачьей станице, проводили какой-то диспут «большой» батюшка и «большой» коммунист, это было по тем временам что-то неслыханное и неизвестное, а потому очень интересное, почему и народу было полным-полно и все с большим вниманием и интересом просидели более 3-х часов, без

антракта, и прошел он очень культурно.

По окончании его раздалась бурная аплодисменты в адрес обоих спорящих и долго не смолкали споры и разговоры между самими слушателями.

Мне, как пацану, было не совсем понятно – для чего они спорят, но само мероприятие было таким и необычным по тем временам – новым, а для меня так ещё и интересным. Это было в 1927 году, тогда я был только пионером, а в 1934 году, уже будучи комсомольцем (кандидатом), я стал активным антирелигиозником и среди нашей комсомольской организации я больше всех собрал среди населения станицы подписей за закрытие нашей церкви (целыми днями гонял на велосипеде по станице). Но это не было каким-либо моим выводом после прослушанного мною диспута, который я слушал, будучи ещё пионером. Скорее всего, это было простым бахвальством в среде комсомольцев станицы, желанием хоть как-то и хоть чем-то выделиться, такое у нас тогда было «соревновательное время».

Во время голода в 1921 году на Кубань хлынула волна голодающих с Волги. В нашей станице их было очень много, как, наверное, и по всей Кубани.

Я хорошо помню, как наживались казаки в то время, когда за ведро картошки, или за полпулда муки-размола или за полмешка кукурузы они выменивали у голодающих драгоценности, дорогую одежду и другие ценности, которые стоили в сто раз больше. Но «сытый голодного не разумеет», – этим всё сказано...

Гораздо больше было голодающих, которым менять было нечего. Они с самого раннего утра (спешили побольше обойти дворов), до позднего вечера, как бы «оккупировав» весь квартал с обеих сторон улицы, стояли у каждой калитки или ворот и жалобными голосами, со слезами, протяжно просили: «Хозяин, подайте Христа ради голодающему кусочек хлеба или сухарика»... Их было очень много, ходили толпами, и среди них было много детей, жалко было на них смотреть...

Наша мать каждый день, а то и дважды в день, варила большой чугунок картошки и часто поручала мне вынести и подать в руки голодающему кусочек хлеба или три-четыре картошки, хлеба-то не хватало, его тогда не продавали – каждая хозяйка сама дома его пекла, а наша мать просто не успевала его делать...

Нашу станицу наводнили почему-то в большинстве голодающие из Саратовской области, многие из которых остались целыми семьями жить в Отрадной навсегда, и потом они всю свою родню выписали-перетянули с Волги на Кубань...

Этот голод как-то незаметно быстро кончился, но те толпы с большими сумами через плечо и голодные дети запомнились надолго. Жители Кубани просто видели голодающих, но сами этого горя не испытывали... пока не наступил «тот год»...

Мы жили на квартире у Бардаковых до 1923 года. Когда кончился срок аренды материнского дома-приданого, наша семья, наконец, переехала на постоянное жительство в «своём» доме. Он стоял на перекрёстке улицы Красной (главной в станице) и улицы Ленина – напротив дома Бардаковых и против дома бабушки – матери нашей мамы, жившей с младшей сестрой моей матери Шурой (на 4 года старше меня, моя тётя).

Возле нашего дома росла очень высокая, старая, развесистая верба – дерево толщиной в десять обхватов – ночёвка, наверное, всех галок и ворон Отрадной, с вечным карканьем до поздней ночи, не дававшим покоя. Тень от вербы была на весь квартал, и под её сенью с самого утра до вечера сидели любители с поллитровкой и обязательными разговорами. И это полупьяное дневное сборище производило шум и гам не меньший, чем птичий базар. Монополька – лавка водочная, была в бабушкином доме, напротив, (она сдавала её в аренду), а для нашей семьи это было «веселое место», тем более, что каждый день просьбы: «тетенька, можно у вас стаканчик на минутку», выводили из терпения нашу мать, и она только чертыхалась по их адресу – стаканчиков растащили много. Иногда мне приходилось или выносить, или принимать – что было очень редко – эти стаканчики, и для меня это было интересно: я же был давно приобщен к взрослым и тут тоже всё слышал и видел, запоминал и впитывал как губка и познавал с раннего детства ещё одну сторону жизни кубанских казаков. Ведь нигде я не видел, чтобы два или три человека, с утра и до темноты, сидели на корточках в тени дерева, не сходя с места, как говорят, беспрерывно курили, и перед ними стояла одна поллитровка – не больше и не меньше – и один огурец... и бесконечные разговоры, разговоры, разговоры. Как у них хватало терпения выслушивать друг друга, а уж насчет терпения сидеть с утра до

вечера, соревнуясь с такими же парами-тройками других собутыльников – об этом надо, наверное, спросить у бабки-ворожеи. Но как только начиналось тепло (зимой такого никогда не было), так для нашего дома, как говорил отец, «начиналось кино» – только и слышно было у калитки или у окна, выходящего на улицу, против монопольки: «Хозяюшка, дай, пожалуйста, стаканчик, вернем, ей богу вернём!» И отец маме говорил: «Вот опять кум пришел за стаканчиком, иди, дай ему, всё равно не отстанет...» И доводил маму до «чертиков»: «Какой там у чертях кум – вон они сидят с утра, надоели, ну их к чёрту, Коля, на, вынеси им, будь они прокляты эти кумовья!» Отец смеялся, а я спешил вынести куму, что он просил. На бойком месте стоял наш дом, но это было недолго – подходил тот год...

Теперь в том, «с монополькой», бабушкином доме, после переделки его «под присутствие» находится Нарсуд.

А наша семья теперь уже в «своём» доме жила до 1932 года, когда по семейным обстоятельствам вынуждена была переехать в домик деда Смирнова, где жила бабушка Саша, а теперь она уезжала к внучке Сусанне в Башкирию, куда был переведен на работу её муж. Но об этом ниже.

Дом-приданое матери был продан на слом, как ветхий, а толстенную вербу превратили в дрова. Остался на её месте пенёк, на котором умещалась легковушка. Пока мы жили в «своём» доме – это было лучшее время до того года не только для нашей семьи, но и для всех людей в стране.

Отец портняжил, хорошо зарабатывал, как и все кустари, ремесленники и мастеровые люди. Теперь уже сестра отца Люба с двумя детьми, после гибели мужа, приехала по совету отца в Отрадную из Кисловодска. Вышла замуж за бывшего сельского дьякона Животкова, вдовца, у которого было три дочери. Семейка была большая, но тётя Люба – отличная портниха, портняжила, а её муж работал кучером в стансовате (больше никуда не брали), куда приняли его как большого знатока и любителя лошадей, сумевшего обуздать, укротить, или покорить, очень породистого, непокорного и норовистого жеребца Красавчика, с которым никто не мог справиться. Впрочем, никто и не пытался, пока этот бывший дьякон Животков не «урезонил его». Нашел к нему подход, и так его «уходил», что приручил к парной упряжке в тачанку, и на восторг и зависть всем станичникам, с гиком и гаком – чисто кубанское выражение – под восторженные возгласы казаков, лихо возил председателя стансовата, который, сидя в тачанке, был на седьмом небе, восседая как атаман, поскольку сам бывший дьякон с таким шиком «демонстрировал» его по улицам станицы. Такие выезды были не более двух раз в неделю, но разговоров об этом выезде и самом Красавчике, прирученном, наконец, бывшим дьяконом, было намного больше, чем, если бы они возникли после падения «звезд» на станицу. Репутация кучера была непоколебима и даже как-то связана прочно с этим Красавчиком...

Пока он осуществлял свои выезды с председателем в тачанке, его жена, кисловодская курортно-модная портниха, работала как заведённая днями и ночами. Надо было зарабатывать на большую семью, в которой было пятеро взрослых детей, а также надо было оправдывать своё звание квалифицированной, лучшей портнихи, так как сразу по приезде в Отрадную она заимела много заказчиц, особенно среди жен районного начальства и всей интеллигенции станицы, которые были требовательны и капризны, как всегда бывает в глубокой провинции – у местных дам-модниц претензий и капризов всегда больше, чем у модниц городской интеллигенции – это своеобразный «закон»...

Тётя Люба, как её называли все в Отрадной, преуспевала в своей деятельности как мастерица, работы у неё было всегда много, и она, также как и мой отец, день и ночь сидела и всё шила, шила и шила, не успевала выполнять заказы. Клиентура у неё была исключительно «светская интеллигенция». И мастерица, разумеется, принимала заказы, выгодные для неё, на которых можно было хорошо заработать и меньше потратить времени. Но всё равно она много работала, оправдывая репутацию портнихи с курортов. Ведение домашнего хозяйства – питание, порядок в доме (садика-огорода у них не было, как не было даже кошки или собаки) – она возложила на старших дочерей мужа, её падчериц, и была к ним очень строга, требовательна до невозможности, ничего не прощала двум молодым невестам Татьяне и Галине, которым было уже более 16-ти лет, держала их в полном смысле слова в чёрном теле, как Золушек, в то время как свою родную дочь Сусанну оберегала от всех работ по дому, готова

её к замужеству, подыскивая ей достойного, подходящего мужа, даже шила для неё отдельные, лучшие платья. Сусанна ещё ходила в 9-й класс и была активной участницей «Синей блузы» и хора, и для домашних дел у неё не было времени – так рассуждала мама. Татьяна и Галина, закончив по 7 классов, дальше не могли учиться. Им было некогда – так считала мама Люба. Ольга, самая младшая, была ещё школьницей. Так большая семья бывшего дьякона Животкова и тёти Любы, теперь жены кучера стансовата, купив себе небольшой домик за четыре квартала от нашего, жила по своим правилам; жили они «хорошо» – разговоров об одежде, продовольствии и другой обеспеченности у них никогда не было, так же, как и у всех людей того, «нэповского», времени...

Пятым из детей семьи тёти Любы был Ваня, младший брат Сусанны, мой ровесник и двоюродный брат. Ходил со мной в одну школу, музыкой он не интересовался, увлекался рисованием, в чем немного преуспевал. Впоследствии учился в Баумановском, в Москве, а когда призван был в армию, попал в летную школу; как лётчик, погиб в первые дни войны, участвуя в обороне неба Москвы.

Младшая сестра отца Тоня, также отличная портниха, после революции и гражданской войны проживала вместе с бабушкой Сашей в её домике и дочкой Женей (муж погиб во время войны); во времена НЭПа вышла замуж за соседа Беседина Николая, который жил в своём доме с родителями и младшим братом, напротив, через улицу. После в их садике был наш Отрадненский профсоюзный сад отдыха, где стояла раковина для нашего духового оркестра. Родители его, богатые люди, не убежали от революции (до «того года» они успели уехать в Среднюю Азию), а в их доме потом была прокуратура. Сам дядя Коля, как я его называл, был просто воспитанный, грамотный человек, без всякой специальности. Младший брат Шура – каланча, как его называли в Отрадной за его высокий рост – был вратарём в футбольной команде, а дядя Коля, став мужем Тони, кем только не работал, чтобы хоть копейку приносить в дом и не быть иждивенцем у жены. Это и было той основной причиной, по которой они по два раза в год расходились и снова сходились на смех всем родственникам и соседям. То он работал бухгалтером, но до первой проверки сам уходил с работы, чувствуя что выгонят, так как он не знал совсем бухгалтерии, надеялся «на авось», то тайно лечил больных травами, как врач, но также до первого случая, бросал это занятие, как только узнавал, что его клиентура сомневается в его медицинских способностях... Он был неунывающим человеком, со своеобразным юмором, каждый раз придумывал для себя профессии одну за другой, лишь бы его обожаемая жена Тоня не сердилась на него, старался изо всех сил хоть что-нибудь принести в дом...

Разумеется, он был честным человеком, и в своем положении не способным на какие-нибудь крайности, как говорится «читил законы», но иногда решался на то, чтобы чем-нибудь спекулировать. Но в то время коммерсанты были «большими специалистами», и среди них дяде Коле делать было нечего. Тем не менее, он иногда рисковал, чего-то там выгадывал, но жена, видя его неразворотливость, устраивала ему скандал на этой почве. И я (в то время мальчишка, нередко приходил к своей бабушке Саше) был свидетелем их объяснений и видел вместе с соседями, как дядя Коля со своим гардеробом улепётывал через улицу в свой дом, который пока ещё у них не отобрали. А дня через три-четыре, не больше, когда страсти утихали, этот «Тарквиний новый» вечером, тайком, чтобы никто не видел, с этим же гардеробом пробирался обратно в хату бабушки Саши, к своей обожаемой жене Тоне. У всех наших родственников, да и просто соседей эта пара была «притчей во языцех», но что поделаешь – любовь есть любовь и нипочем ей мирские пересуды!.. Жизнь брала своё... Насколько я помню, по рассказам нашей необъятной родни в Отрадной, они всю жизнь так жили – от развода до развода... Тоня продолжала портняжить, воспитывать дочку, но приблизились события «того самого года», когда начались разговоры про коллективизацию и индустриализацию, про раскулачивание и «ликвидацию кулачества как класса»... Люди дальновидные, предприимчивые и такие, кому терять было нечего, быстро сориентировались, сообразили, высчитали наперёд и предусмотрели каждый своё возможное будущее в новой жизни, своё место и работы, и жительства, и вообще своё положение. Кто чувствовал за собой какие грешки и грехи немедленно смотались, уехали, убежали, а куда – никто не знал. Первыми такими «смывшимися» были, конечно же, те, у кого сохранились кое-какие ценности. Например, такой была наша «богачка» – старшая сестра матери, уехавшая в Абхазию. Были и

такие, кто предчувствовал, что их раскулачат. Они, забрав всё ценное с собой, бросали всё свое хозяйство и с детьми скрывались тайно, и никто не знал, куда они уехали. Многие покинули родные места, бросив всё, из-за боязни пострадать по причине несогласия с новыми порядками. И, как показало время, все такие смельчаки и предприимчивые сделали правильно, покинув родные места. Они впоследствии прижились в далёких от родной Кубани местах, не пострадали ни в период раскулачивания, ни во времена коллективизации, ни во времена искусственного голода 1932-1933 годов, остались живы и здоровы, пережили 37-й год, войну с фашистами (погибших на войне не будем считать) и дожили свои годы благополучно до самой, как говорится, своей естественной смерти...

В нашей семье «тот год» ознаменовался тем, что у отца стало намного меньше работы, так как всё, как по мановению волшебной палочки, вдруг исчезло из магазинов – никаких материалов, мануфактуры, а также и продуктов питания. Как-то вдруг и на базаре не стало ничего. И поскольку пошли разговоры о колхозах и артелях, то отцу первому пришлось подумать – где, в какой артели ему работать?..

Портные (их меньше было, чем сапожников) не сумели организовать в артель, и наш отец поехал в Армавир, поступил там на фабрику «Швейпрома», на конвейер. Там не надо было быть мастером высокого класса. На конвейере один рукава пришивает, второй – пуговицы, третий – подкладку, продукция получалась быстро изготовленная и дешевая. Отец еле-еле на пропитание себе там мог заработать. Жить пришлось ему, как говорится, на два дома. В Армави́ре отец снимал комнату (мы же семьей не могли к нему переехать) и, проработав на этой фабрике с полгода, он приехал домой. Работать портным он уже не смог. Финотдел такой налог ему «запрограммировал», что он не стал принимать заказы, бросил портняжничество и поступил (прежде всего из-за продуктовой карточки на муку), по знакомству, в МТС счетоводом. Работать на МТС, только что организованную в Отрадной, счетоводом, через год поступила и мать, сначала ученицей-машинисткой, потом стала сама печатать, она так там и проработала до 1934 года, как и отец.

Семьи портных – сестер отца – Тони Бесединой и Любы Животковой, в компании с нашими родственниками организовали сельхозартель «Плуг и Молот» во главе с кучером стан-совета, бывшим дьяконом, но работать в ней им не пришлось, так как само собой понятно – «соцпроисхождение» у них было не то... И, не долго раздумывая, семьи тёти Любы и тёти Тони решили «рвануть когти» куда подальше и как можно быстрее, пока не поздно, не дожидаясь пока тот самый год нагрянет...

Решили продать свой дом Животковы, и на период подготовки в дальнюю дорогу и для того, чтобы выполнить принятые ранее заказы, по-честному рассчитаться с клиентурой – они переехали жить в наш дом. У нас была большая комната («зал», как мы ее называли), изолированная от наших других комнат, временно они там и поместились. Это было ещё до того, когда наш отец уезжал в Армавир работать на швейке.

У нас была домработница Сима – молодая женщина 25-27 лет. Она была не отраденская, жила у нас дома, как член семьи, уже не один год. Тётя Люба, принятые от модниц заказы, материалы, конечно, привезла всё из своего дома к нам. У отца тоже было много принятых заказов-материалов, которые в ожидании очереди на пошив лежали в кладовой, бывшей лавки в нашем доме. Сима это всё, конечно, видела и знала, что и где лежит. В одну ночь, когда родители были в гостях у наших родственников (она знала, что все нескоро возвратятся домой, а пошли все взрослые вместе) нас, детей, она долго не укладывала спать, затеяла с нами игру в лото допоздна... Когда мы уже начали, как говорится «носами клевать», спать захотели, Сима быстро уложила нас всех – и все заказы-материалы на пальто и костюмы, как у тёти Любы, также и отцовские, выгребла все до единого, и на подводе с дружкой каким-то быстро «смылась» в неизвестном направлении. Пока мы спали, а родители были в гостях, она просто обворовала отца и Любу. Так её и не нашли потом.

Наутро отец с Любой пошли в милицию, но пришлось отцу и Любе с заказчиками рассчитаться честно, куда пошло много денег за проданный дом Любы.

Через неделю семьи Животковых и Бесединых уехали на Дальний Восток. Бывший дьякон с кучей детей обосновался во Владивостоке, а Беседин с Тоней и дочкой её уехали на Сахалин, в Александровск, где он стал работать завскладом в «Интеграле», а Тоня портняжила... Там они благополучно пережили «тот год», который для всех оставшихся на Кубани ознаме-

новался раскулачиванием, коллективизацией и голодом, о которых они знать ничего не знали.

Животков, бывший дьякон, сам устроился на работу, на судоремонтный «Дальзавод». Жил там безвыездно, ни с кем из наших родственников не держал связи. Всех дочерей выдал замуж за рабочих и инженеров «Дальзавода», появились внуки, что не особенно нравилось его жене, курортной портнихе, которая его дочерей по-прежнему ненавидела. Как и следовало в таких случаях, дочери поставили перед отцом вопрос ребром, он их послушал и отправил Любу-портниху к её родной дочери Сусанне, которая к тому времени уже жила в Ростове-на-Дону в качестве жены директора Ростовского треста совхозов, который был заместителем погибшего на войне первого мужа Сусанны директора этого треста. Так тётя Люба остаток своей жизни – с 1940 года до 1970 прожила с родной дочкой, умерла, как говорится, своей смертью, не изведав на Кубани всех бед голодного тридцать третьего года. Её бывший муж также благополучно прожил у дочерей, которые и до сих пор там живут большими семьями, ничего так и не узнав про кубанские горести «того года».

Мне пришлось со всеми встретиться во Владивостоке в 1959, 1963, 1967 годах во время гастролей Магаданского театра оперетты, в котором я работал. Я виделся по-родственному, по-домашнему, у всех Животковых дома, и с самим отцом, и со всеми детьми. Вспоминал, как наша Симка обворовала наших портных, и многое другое. В своих воспоминаниях о мачехе тётё Любе все дочери просто не находили слов для характеристики бывшей «мамы». До того они все были обозлены на неё, что имени её не хотели слышать. Связи с ними я не поддерживаю в настоящее время. Они все хорошо живут во Владивостоке, в хороших квартирах, всем обеспеченные...

Семья Бесединых, проработав на Сахалине первые три года по договору, приехала в отпуск в Краснодар в 1934 году. Мой кумир, летчик дядя Шура, в тот год жил в Краснодаре с новой женой, но у него места для семьи не было, и Беседины на время устроились жить в квартире в станице Пашковской, которая в то время была ещё не в черте Краснодара. Они хотели остаться на Кубани, но ещё слишком «свежи были розы» – последствия голода ещё не совсем выпали из памяти населения. Только что открыли «Торгсины», на базарах ничего не было, по карточкам выдавалось очень мало муки, а про продукты и говорить нечего – жизнь ещё была очень «разбалансирована». Появился коммерческий хлеб, что было ошеломляющей новостью после голодного, страшно голодного, трагически голодного 1932-1933 гг.

Эта жизнь никому не нравилась, все метались, разъезжали, искали, где получше, а Беседины написали моим родителям про Дальний Восток – там, мол, сами видели и жили, и настоятельно просто требовали, советуя отцу и матери продать бабушкин домик, в котором мы жили, и приезжать в Пашковку, откуда вместе с ними ехать на Дальний Восток. Это было для нашей семьи слишком неожиданным предложением, с которым мои родители на первых порах никак не могли согласиться, и не приняли его, вернее – не торопились дать ответ в Пашковскую, хотя сложилась такая обстановка в нашей жизни, что надо было что-то придумать для выхода из нелёгкого положения, в котором оказалась не только наша семья портных Смирновых, но и других ремесленников, мастеровых людей, наших родственников. Но в нашей семье сложилась очень сложная ситуация, требующая разумного и скорого решения.

Когда мы жили в своём доме, напротив дома бабушки Мутер – она жила с самой младшей дочкой – сестрой моей матери Шурой, которая по окончании педучилища, не приступив к работе, внезапно умерла, после бани в июне продуло голову ветром. Случилось острое воспаление мозговой оболочки – менингит, – через два дня всего – смерть. Бабушка Мутер перешла жить к **сестре мужа моего деда**, отца матери моей, так как в домике бабушки Саши, где мы жили, просто не было места – всего две небольших комнатки, а у нас семья вместе с бабушкой Сашей – 7 человек. Поэтому предложение немедленно ехать на Дальний Восток было слишком серьёзным и трудно разрешимым.

Я уже школу закончил, и после неудавшейся попытки поступить в лётную школу, разобидевшись на свою судьбу, пошел работать счетоводом-учеником, а потом перешел в Отделение Госбанка. Брат Саша поступил в овцеводческий техникум на станции Прохладная на Северо-Кавказской железной дороге, сестры ещё были школьницами 5-7 классов. Долго тянулись домашние советы и совещания, в которых принимали участие и наши многочисленные родственники. Вопрос отъезда и продажи домашности (огород с садиком, беседка в саду и два сарайчика), разумеется, и сам домик бабушки Саши (она-то ведь хозяйка всего),

как распорядиться этим всем «хозяйством», как предложить бабушке Саше в её 70 с лишним лет расстаться со всем и ехать куда-то в поисках нового пристанища, неизвестно в какие условия, и вообще, – податься к чёрту на кулички в поисках какого-то счастья, какой-то новой хорошей жизни, которая, тем не менее, по рассказам Бесединых, была там намного лучше жизни на Кубани. Кстати сказать, сама бабушка и наши родители, верили рассказам, но всю жизнь жили в одном и том же месте, и в том же окружении родственников, многочисленных знакомых, которые за длительную жизнь знали друг друга от первых дней рождения до самой смерти, сжились, как говорится «вплотную во всех проявлениях» и вдруг – надо куда-то уезжать, чего-то искать, на что-то надеяться, а самое главное – ехать в такую даль!.. Никто из наших родственников и знакомых дальше Армавира – и то не все – никуда не уезжали, сидели «сиднями» по своим домам. Просто не было необходимости ездить. И вдруг, пришлось решать... Как бросить всё-всё – вплоть до могил дедов и прадедов. На кладбище уже давно у каждой семьи и фамилии были свои отдельные, отгороженные места с могилами умерших. Со всем этим предстояло расставаться надолго, если не навсегда. Все эти вопросы надо было решать, и как можно быстрее, так как из Пашковской Беседины торопили наших, требовали ответа, так как их отпуск подходил к концу, а ехать без них – нашему семейству самостоятельно, да в такую даль, дело было немыслимое, поэтому бесконечные домашние «собрания» с участием нашей родни целыми днями, вечерами и даже ночами, по обсуждению предстоящего отъезда, иногда доводили женщин до слёз, проходили бурно и решение никак не могли вынести, всё упиралось в какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Мама наша плакала, не стесняясь никого, – ей просто немыслимо было оставить свою Мутер, которая от поездки категорически отказалась и, как она сказала, – я вас благословляю ехать, буду за вас молиться, а обо мне не печальтесь, я у своих не пропаду, езжайте с Богом, чем успокоила нашу маму. Но всё равно она плакала... Сестренки мои были рады поездке, были на всё согласны, а я страшно хотел ехать хоть куда-нибудь и уговаривал отца с матерью, как только мог.

Брат Саша написал, что он не хочет прерывать учёбу в техникуме и не хотел менять место жительства, в каникулы его принимала к себе бабушка Маня, сестра бабушки Саши, которая согласилась и на продажу своего домика, и на поездку с нами без всяких рассуждений, заявив при этом: «Поедем, я чувствую, что хуже не будет. Если бы там было плохо, Тоня с Колей Бесединым обратно туда не поехали бы сами и нас туда не звали бы». Так она рассуждала, и к её разумному выводу отнеслись все доброжелательно, и в конце концов ответ в Пашковскую был отправлен положительный, после которого через неделю был получен от них подробный совет, что брать с собой из вещей и посуды и прочего домашнего «хлама», так как они уже были опытные в этом смысле и знали, что надо иметь с собой в такой длительной и дальней поездке. Куда именно, в какое место, поселок или город нам предстояло ехать, мы узнаем по приезду в Пашковскую, где теперь обосновалась наша вроде как бы «штаб-квартира». Там Беседины сняли в аренду целый дом из двух больших комнат. В одной они сами жили, а вторую приготовили для нашей семьи – наши родители, бабушка Саша и нас трое – две сестренки мои и я... И как только был решен вопрос с продажей домика – было несколько вариантов и, разумеется, наши выбирали для себя подходящий – распрощавшись со всеми остававшимися нашими родными, наш «колхоз», как я назвал нашу семью, уехал в Пашковскую...

Конечно, было очень грустно расставаться с родным местом. Видел я, как мама плакала, а сестренки, глядя на неё, «вторили» ей, отец молча переживал всё это мероприятие, он всё шутил, и по каждому поводу находил место какой-нибудь шутке или хохме – он вообще был всегда большим шутником и весельчаком, – и в эти дни старался всех успокоить и как можно развеселить, что ему удавалось...

Бабушка Саша на всё смотрела философски, относилась к таким большим переменам в своей жизни очень спокойно, чем положительно действовала на всех нас. Она со своим мужем-портным прожила свою жизнь как могла, стойко перенесла все «похождения» деда моего, умершего в запойной горячке с иконой Божьей матери в руках, и теперь на все была согласна и верила в то, что всё будет хорошо. Её успокаивало то, что ни мой отец, ни Коля Беседин, не были склонны к «увеселениям Бахуса», и она вверилась им, чего нельзя сказать за дядю Шуру-летчика, к которому бабушка Саша ни разу не поехала даже в гости в Таганрог, где он жил, когда на время отпуска приезжал в Отрадную и проводил все дни со своим другом

Геврюней. Теперь, в Пашковской, встреча с ним нам всем предстояла, в том числе и бабушке Саше, – но она на это смотрела больше, чем философски и даже улыбалась, покуривая свои папиросы.

Кстати сказать, если мамина мать, Мутер, была сверхбогомольна и фанатично религиозна, была ярким примером человека «сверхсвято» верившего в Бога, то бабушка Саша была полной противоположностью бабушке Мутер во всех отношениях: она была абсолютно неверующей, курила крепкие папиросы и к жизни относилась как-то слишком практически, верила только в то, что имела в руках. Кстати сказать, она и меня курить научила в ранние годы. Её принцип был таков: всё равно ты курить будешь, так лучше я тебе посоветую и научу, как это от родителей скрывать и как отличать хороший табак от плохого...

В кругу всей нашей родни её называли просто мамаша. Под этим именем она и была известна на всю Отрадную, так же как и тем, что она одна была курящей женщиной во всей нашей обширнейшей родне.

Встреча с Беседиными в Пашковской была трогательная и радостная. Как никак, мы не виделись более четырех лет, которые для нашей семьи, как и для всех жителей Кубани, запомнились надолго. В бесконечных разговорах, которые велись в первые дни, наша семья только и говорила о том, как бы поскорее уехать «в те края», которые, по рассказам ничего не переживших за эти страшные годы Бесединых, казались нам всем сказочными. Я отлично помню, как Беседины не верили рассказам моих родителей о страшном голоде в Отрадной, хотя приукрашивать события тех времён не было никакой надобности. Но всё же Беседины не верили рассказам, потому что это было и без того невероятно, а тем более для Бесединых, проживших эти голодные годы в Александровске на Сахалине, где никто и во сне не мог увидеть тех ужасов, которые пришлось пережить нам всем, кубанцам...

Мы же, вся наша семья, разинув рты, слушали рассказы Бесединых, и в свою очередь не верили им, хотя они рассказывали обычные сведения о жизни на Сахалине, ничего не приукрашивая. Мы не представляли себе, как это может быть – для всех хлеба вволю, и что о снабжении продуктами питания жителей Сахалина даже разговоров никаких не было. Трудно себе представить такие картинки из нашей жизни времён коллективизации и голода 1932-1933 гг. на Кубани. Даже сейчас, вспоминая то время, несмотря на молодость, я крепко запомнил то выражение лиц, которое было у Бесединых, слушавших жуть о голоде на Кубани, и такие же недоумённые выражения лиц моего отца, матери и бабушки Саши, когда они слушали обыкновенные рассказы о не такой уж и отличной жизни на Сахалине, там была все же карточная система (но это я понял позднее). Кстати сказать, именно в таких дальних краях, как Камчатка и Сахалин, всегда снабжение было лучше, чем где-нибудь в любой другой местности, городе или селе страны, и в те времена и после, и даже сегодня <...>.

Не мог удержаться от описания того невероятного состояния, в котором пребывали мои родители и Беседины, рассказывая друг другу о том, что с ними произошло, потому что в раннем детстве мне пришлось своими глазами видеть, и конечно же запомнить на всю жизнь, страшное выражение лица, даже ужасно страшное, которое до сих пор стоит перед моими глазами. Я помню его, отлично вижу, несмотря на то, что прошло с того времени ни мало ни много, а более 65-ти лет. Вот этот случай...

Как я уже писал, мы несколько лет жили в доме, который нашей семье сдал в аренду Бардаков Иван Иванович, казак и многосемейный хозяин, у которого была большая семья и очень большое, более чем зажиточное хозяйство. Он был одним из первых раскулачен во время коллективизации и сослан куда-то в Калмыцкие степи с женой и младшими детьми. Старшие его сыновья и дочери разбежались, как и множество подобных несчастных людей по всей стране, тем самым избежали гибели. А вот их отцу, Ивану Ивановичу, судьба предопределила самые страшные и самые жестокие испытания в его жизни, хотя теперь, после того, как нам многое стало известно из замалчиваемой до сего времени нашей истории, истории «построения социализма», и «генеральной линии», и прочих идей, исковеркавших жизнь всего русского народа, эти испытания покажутся и не такими уж непереносимыми.

Перед тем, как семью Бардаковых начали раскулачивать, уже по станице все вслух говорили, когда и кого будут «тямоньки» кулачить. Ивану Ивановичу, уже точно знавшему, что не сегодня-завтра их будут выселять из дома, сообщили, что его старший сын Игнат, офицер, за участие в гражданской войне на стороне белых был расстрелян органами ГПУ. Эта «но-

вость», в дополнение к тому, что уже и так переполнило его душу горем и потерями всего, так на него подействовала, что у него от пережитого и еще предстоящего переживания, как говорится, от ужаса-горя глаза на лоб вылезли в полном смысле этих слов, просто вышли из орбит, и он стал слепым. Он, конечно, сразу слёг, не мог ходить, и его, лежащего, положили в бричку на кое-какой скарб-вещи, которые им разрешил «тямонька» взять с собой, усадили его потрясенную, ничего уже не соображавшую и совершенно отрешенную жену-старушку, усадили малолетних детей Васю и Валю и увезли... Кто в то время был рядом, и видел всю эту бытовую картинку времён коллективизации, наверное, на всю жизнь запомнил плачущих малолеток-детей, совершенно убитой горем их матери, ничего не соображающей и абсолютно отрешенной и мертвенно-безразличной от горя, и лежащего посреди телеги-брички (по-кубански) полуживого мужчины с вылезшими из орбит глазами, которые наводили ужас на всякого, кто мог смотреть на такое обезображенное и страшное лицо человека. Кто-нибудь, когда-нибудь видел по-настоящему «вылезшие глаза» у человека? Много таких людей найдётся? Таких очевидцев? А я вот видел, своими глазами, самолично, потому и запомнил виденное на всю жизнь. И до сих пор отлично вижу это ужасное лицо, потому и не мог не написать об этом, вспомнив про «выражение лиц» моих родителей и родни.

Кстати, с того рокового дня никто так и не знает, что же было дальше с этой выселенной из своего дома семьёй, куда их выслали?... Вот такие «бытовые картинки времен коллективизации», мало, очень мало известные теперешней молодежи и вообще всем, оставшимся в живых после «всей этой великой эпохи»...

Самый старший сын Ивана Ивановича, Николай Бардаков, отделившийся от него ещё задолго до коллективизации, благополучно прожил свою жизнь в Отрадной и недавно умер, как говорится, своей смертью, а остальные его дети по старшинству: ещё один Николай, Костя, Гавриил, Ванюша – мой ровесник – и дочери Елена и Шура перед самым раскулачиванием, как сбежали из Отрадной, кто куда – остались живы и здоровы, и прожили свои жизни, как говорится, более или менее благополучно. Ванюшу я видел в 1935 году – он работал в Краснодаре электриком в универмаге, погиб при мотоциклетной катастрофе.

И до сих пор, когда я слышу разговоры, в которых звучат слова «выражение лица» или «лица потрясенные» – мне невольно, но всегда сразу вспоминается и ясно видится в воображении то лицо, с вылезшими из орбит глазами, неповторимо СТРАШНОЕ, потрясающее...

И ещё одно выражение лица надолго врезалось в мою память...

Был в Отрадной один хороший мастеровой-сапожник – Попов, хороший знакомый моего отца. Старший его сын служил в армии, а младший – Шурка, был мой одноклассник. Мы с ним с начальной школы учились в одном классе. Отец приучал их сапожничать. В артель «Кожкоопремонт» Попов не вступил, и как-то незаметно куда-то вовремя «смылся» вместе с семьёй, а старший сын после армии пошел работать в Армавирскую тюрьму, и был там дежурным по следственному корпусу.

В декабре 1937 года я находился в одной из камер тюрьмы, в которой нас было как селёдок в бочке – в полном смысле этого слова, так как в камеру, рассчитанную на 8 человек, насажали 86 человек! Теснота страшная, невыносимая жара – хотя был декабрь – все «враги народа» и разное жульё-ворьё (их называли «бытовики»), полуголые, как собаки голодные, ждали своей участи и гадали: увидятся ли они со своими родными, так как по рассказам давно сидящих в этой камере (сидели по полтора-два года), никакого даже намёка не было на то, чтобы хотя бы одному передали передачу. А передача означала собой контакт с родными! Кормили, вернее, морили голодом: пол-литра утренней и обеденной баланды, в которой плавали буквально считанные крупинки овсянки или пшена и пайка хлеба в 600 граммов, да спичечная коробочка сахарного песку – вот и «всё меню». Все голодные и злые, как собаки, только и ждали, когда дверь камеры раскрывалась на кормежку, а вечером – на поверку. Зычным голосом дежурного охранника в коридоре корпуса раздавалась команда: «На поверку станов-и-и-и-с-ь!» Через несколько секунд дверь камеры распахивалась и принимающий дежурство величественно, ни на кого не глядя, устремив взор на пол, в присутствии сдающего дежурного и двух охранников, быстро входил в камеру и, выслушав рапорт старосты камеры о количестве здоровых и больных в камере, отмечал карандашом что-то в своём блокноте, и также молча, и также величественно, как какой-нибудь король или царь на параде, удалялся, дверь закрывалась... И так каждый день.

Со дня моего ареста прошло больше двух недель – такие считались ещё новичками, таковым я и был. И вот в один из вечеров на поверке я узнал старшего сына сапожника Попова, по своей молодости и наивности, совершенно забывшись, где я, простоудушно и даже с некоторой усмешкой, а вернее улыбкой, дерзнул с ним поздороваться, и негромко, хотя все слышали, сказал: «Здравствуйте, дядя Ваня, вы меня не узнали?..».

Я это сказал после того, как он сделал отметку в блокноте и уже сделал один шаг для выхода из камеры. Услышав такое, он немного приостановился и бросил на меня – не знаю, узнал он меня раньше или нет, но знал меня он отлично, потому что я, как одноклассник его брата Шурки, очень часто бывал в их доме, и он знал и моего отца – именно бросил такой взгляд, такой огненный, кажется всё испепеляющий и в то же время такой злой, просто страшно злой взгляд, от которого мне хотелось провалиться сквозь пол, я даже испугался этого взора. Ничего он мне не ответил, и, кажется, чуть быстрее обычного, также «с достоинством» удалился.

Этот взгляд надо было видеть! Он меня живого съел глазами – столько в нем было злобы и злости, её хватило бы, наверное, на всю тюрьму, чтобы испепелить каждого. Я потом часто тот взгляд вспоминал и сравнивал с тысячами таких «приветливых глазок», будучи уже «при деле», на прииске, это были взгляды приисковых охранников с собаками и без – они назывались самоохрانا... Звероподобные, таких трудно даже себе представить. Больше всех натерпелись горя все несчастные заключенные именно от этих выроdkов рода человеческого – самоохранников. Это такие же заключенные, только им дали в руки заряженную винтовку и сказали: «Хочешь быть живым – охраняй этих вот врагов народа»... И они ретиво зверствовали, ухищряясь в своих зверских выходках, соревнуясь между собою, чем и угождали лагерному и приисковому начальству.

Так вот, по тому взглядику дежурного по тюрьме Ивана Попова я понял, что он меня узнал в тот момент, несмотря на то, что выразил он этим взглядом по отношению ко мне только удесyтеренное презрение... По советам старых сокамерников, я с ним больше не здоровался.

IX

Иногородные. Клан Смирновых. Мой дядя – кумир детства. Гаврюня и дядя Шура. Тамара и Варвара Петровна. Мелочи семейного быта. Поездка в Пашковскую. Служба в Госбанке. Жизнь в Пашковской после голода 1933 г. Вселенский страх. Встреча после лагеря с родителями. Гриша Вайнберг. Поездка к Черному морю

Вот и выходит, что я стал тем самым куликом, который своё болото хвалит, и теперь продолжает хвалить, всякий раз вспоминая и сравнивая убогие в этом отношении поселки на земле не кубанской. И где бы меня судьба не заставляла, всегда вспоминал и видел в воображении свою очень красивую станицу, особенно с высоты горы. Всегда, всю жизнь и до сих пор...

После такого «предисловия» я и хочу начать описывать свои воспоминания о нашей смирновской семье, когда-то большой, дружной, трудолюбивой и, пожалуй, одной единственной такой музыкальной и с такой многочисленной роднёй среди семей наших отрадненских казаков, которые также отличались многодетством, очень большими родственными фамилиями или родами, которые жили (и не только в нашей станице), достигая в прямом исчислении более сотни человек в одном фамильном роду – скажем – прадед, дед, сыновья, внуки и т.д. Наша смирновская родня была тоже очень большой (это был не род казаков), но об этом ниже.

Все наши родственники были на Кубани пришлыми людьми, как все иногородные – были мастеровыми, ремесленниками и кустарями, которым приходилось вроде как «обслуживать казачество» во всей их жизни-быте. Сапожники, портные, печники, кровельщики, каменщики, столяры, плотники или просто батраки-работяги по найму – это были иногородные. Земли им не полагалось – значит не казаки, не хозяева, т.е. не землепашцы. Казаки, как хозяева Кубанской земли, относились ко всем иногородним доброжелательно, иногда и дружили с не казаками, но всё было до определенности, вроде как бы до определенной черты, после которой полагалось иногородним «не забываться» и знать своё место. Всё это иногороднее население казачьей Кубани хорошо усвоило и, в общем-то, серьёзных разногласий на этой

почве не возникало...

Жили мирно и по-добрососедски, и даже роднились, когда казаки женились на не казачках, или когда казачки выходили замуж за иногородних. Если когда-нибудь и возникали на этой почве конфликты, то они были явным исключением и всегда как-то мирно улаживались, без особых последствий.

Наша смирновская фамильная (и обильная) родня была потому такой многочисленной, что в одно и то же время в Отрадной жили пять сестёр моей бабушки Саше – матери отца. Все были замужем за мастеровыми людьми и имели много детей: таких, как мой отец, в каждой семье было не менее четырех человек, а таких как я у своего отца и моих братьев и сестёр было также не менее четырех человек.

И по материнской линии тоже у меня было в Отрадной три бабушки с такими же многочисленными семьями, как, например, у моей матери было три сестры и четыре брата. Так что наша родня в Отрадной была ничуть не меньше казачьих семей-родов, фамилий, как Савины, Чикильдины, Бардаковы и другие, жившие в Отрадной кутами, что значит целый квартал станицы, а то и два и три – и все были одни. Скажем Савины, их род больше сотни человек, почему и называли – этот Савин кут, а вон тот – Бардаковых кут.

Я пробовал нарисовать наше родословное древо и отказался от этой затеи, потому что на обыкновенном листе ватмана это дерево выглядело таким густым кустом, на котором имена и фамилии, вписанные в кружочки величиной с копейку, были так мелки, что их никак невозможно было разобрать, а если и нарисовать эти кружочки величиной ну хотя бы с пятак – надо минимум три листа ватмана.

Себя я помню примерно с 4-х летнего возраста, и начну писать свои воспоминания не раньше как с 1920 года, воспоминания о нашей, когда-то большой, дружной и трудолюбивой семье простого портного, моего отца, который с детства был приучен к работе своим отцом, бывшим крепостным портным у помещиков Стояловых (по религии молокан), имение которых находилось в 6-ти километрах от станицы на вершине той горы, с низины которой мы любовались красивым видом нашей станицы.

Я деда не видел – он умер в 1919 году от запоя. Родители говорили, что насколько он был хорошим портным – настолько был и приличным любителем выпить. После ухода от помещика (отмена крепостного права) дед купил себе небольшой домик-хату о двух комнатках, с садиком и огородом (в этом домике потом мы жили по соседству с начальником РО НКВД Романовым) и женился на Саше Назаровой (моей бабушке), у которой было пять сестёр: Татьяна Куцемелова, Елена Помаз, Мария Муранова, Катя Галушко, мужья которых были все мастеровыми ремесленниками, и пятая сестра Аксютя Рябых была женой казака.

Дед портняжил – шил, принимая заказы на дому, но очень часто ходил по казачьим кутам, обшивая членов семей всех Савиных или Баевых, и по месяцу не приходил домой. Бабушка Саша только успевала принимать плату за работу деда. Ей приносили и привозили картофель, капусту, помидоры и другие овощи, мясо, масло, молоко, разные фрукты, иногда и живых куриц, поросят, баранов, привозили и дрова, расплачиваясь натурой. Иногда приносили и деньги. Сам дед деньги тоже иногда приносил домой, если не успевал их пропить, потому что по окончании работы у хозяина полагался магарыч, от которого дед отказаться не мог и, получив наличные в окончательный расчет, догуливал их, не являлся домой по неделе, а то и больше. Бывало так, что его, пьяного до беспамятства, казаки привозили на телеге или санях, и сдавали бабушке Саше. Она ничего не могла с ним сделать и давно смирилась со своей судьбой; как хорошо обеспеченная всем, занималась воспитанием двух дочерей Любы и Тони, которых учила портняжить женское. Они вскоре стали хорошими мастерицами, хорошо зарабатывали. Бабушка была хорошо обеспечена всем, вплоть до топлива, а дед, зная всё это и свои заработки у казаков, позволял себе эти месячные загулы. И, несмотря на это «горе», бабушка с дедом жили хорошо.

Все их дети, вместе с моим отцом, были портными, кроме самого младшего в семье Александра – моего кумира дяди Шуры, который в школе учился плохо, часто вместо школы и уроков гонял по Урупу и по чужим садам с ватагой таких же как он лентяев, а то и совсем не посещал школу и, в конце концов, сбежал из дому и пропал в неизвестности несколько лет.

В конце концов, как говорится, «выравнил свою судьбу» – попал юнгой на черноморский военный корабль «Ростислав». Есть дома фотография тех лет, на которой он в группе моря-

ков в военной форме, с надписью на ленточках бескозырки «Ростислав»... Эта фотография сводила с ума меня и всех мальчишек – такая красивая форма у моряков. И, конечно же, все мы мечтали стать такими же настоящими «морскими волками» – это было пределом наших желаний...

А кто из мальчишек не переживал такого понятного чувства при виде старшего брата или дяди, или просто знакомого на фотоснимке, подобного этому? Тем более, что в те времена – годы первых лет Советской власти, Всесоюзный комсомол официально принимал шефство над молодым нашим морским флотом, о чем в те времена очень много говорилось и писалось в печати. А я, как самый молодой из всех музыкантов нашего Отрадненского духового оркестра, отлично помню то время и тот день, когда мы получили ноты нового марша, называвшегося «Марш краснофлотцев». Мы его быстро выучили и потом очень часто играли, и я в те минуты – вот ведь до сих пор помню! – всегда вспоминал своего дядю Шуру в красивой форме военного моряка и особенно страстно хотел быть похожим на него, и решил стать в будущем военным моряком – ни больше и не меньше!... А кто в таком возрасте «не мечтал в дым», как говорил поэт...

На этом «Ростиславе» мой дядя Шура связывался с революционной молодежью, что было модно в те годы, особенно среди моряков – стал потом настоящим моряком-большевиком.

Крейсер «Ростислав» во время войны затонул. Оставшаяся в живых часть его команды, оказавшись на берегу, растворилась по фронтам. Кто попал в армию, кто в партизаны... Короче говоря, после Гражданской войны дядя Шура оказался в Таганроге, куда попал, видимо, с друзьями с «Ростислава», и работал на авиационном заводе техником. Наверное, на «Ростиславе» он имел к этому какое-то касательство. Его дружок работал вместе с ним, но он был по специальности летчик-испытатель. Однажды, во время испытательного полёта, в который он взял и своего техника дядю Шуру, случилась авария, и они вместе с самолётом упали в море и угодили в рыбацкие сети, что их и спасло. Самолёт затонул, а летчика и техника рыбаки успели вытащить. Обоих с тяжелыми травмами (дяде Шуре голову здорово разбило) свезли в военный госпиталь, где в то время старшей медсестрой работала Варвара Петровна, которая самолично выходила дядю Шуру, и спасла его от смерти.

Возникла романтическая любовь, дядя Шура предложил ей руку и сердце. Но строптивая невеста усомнилась в том, что он холостяк. Время было такое – совсем недавно отгремела Первая мировая война, революция и гражданская война – никто никому и ничему не верил. Её умудрённая жизненным опытом мать не дала своего благословения на этот брак и решила проверить – нет ли у него жены на Кубани.

По данному ей женихом адресу сделала запрос в Отрадную бабушке Саше – матери жениха. А она в подтверждение его холостяцкой правды передала своей будущей свахе золотой – червонец или больше, не знаем точно, который явился неопровержимым доказательством того, что дядя Шура серьёзный жених. Золотой магически подействовал, сработал что надо – и мама дала дочке своё благословение. Из госпиталя дядя Шура вышел мужем Варвары Петровны. Продолжил работать на том же заводе и в той же должности техника...

Вот в это время он и приезжал в Отрадную в лётной форме, чем и вызывал у всех родственников и вообще отрадненцев настоящий фурор. Видели в форме лётчика дядю Шуру Смирнова, значит он лётчик, тем более что в то время лётчиков, как таковых, было не так уж и много... А много ли надо было доказательств отрадненцам? Кто мог усомниться в том, что он не лётчик?... За встречами со своим лучшим дружкой Гаврюней ему некому было рассказывать подробности о себе, а расспрашивать об этом его никто не решался, тем более что кроме Гаврюни, в течение месячного отпуска, его никто никогда не видел...

Но о том, что он попал в сети во время аварии самолета, и что его спасли рыбаки – о чем было не раз написано в письмах потом – много было и разговоров, и шрам на голове после аварии дядя Шура охотно показывал тем, кто особенно дотошно интересовался этим происшествием...

Так или иначе, никто не сомневался в том, что он лётчик и лучшим доказательством этого был его неотразимый костюм летчика с голубыми петлицами и форменная фуражка с кокардой...

После долгого перерыва, со дня, когда дядя Шура покинул Отрадную, убежав из дома, он появился в Отрадной со своей женой. Она стала работать в медицине, дядя Шура, как

большевик и красный партизан – это в те времена было особенно престижно и очень модно – работал, как тогда говорилось в совпартактиве – то в КОВе (Комитет Общественной Взаимопомощи), то в парткоме, то в стансовате на разных совпартдолжностях. Но нигде не проявил себя как активный совпартработник, был просто рядовым партийцем, делал то, что приказывало начальство и время. Портным, какими были его сестры и мой отец – его старший брат, он быть не хотел, но брюки шить он кое-как мог, потому что в детстве нехотя учился шить у своего отца, который умер от запоя.

В музее Отрадной есть большая фотография 1921-22 годов районного съезда или слёта совпартактива, на которой, в числе более ста делегатов, есть и дядя Шура.

Жили они тогда в Отрадной вместе с бабушкой Сашей в её домике, в который после их отъезда в Таганрог переехала наша семья, и потом, при отъезде на Дальний Восток «за длинными рублями», он был продан.

Здесь надо сказать о том, что мой кумир дядя Шура уже не был для меня тем, который мне нравился на фото как военный моряк. Я уже расхотел быть похожим на него, так как увидел его в жизни сам, своими глазами... Как говорится, я сменил свои симпатии, и перестал хотеть видеть в нём предмет своего поклонения.

Дядя Шура заметно отличался в нашей обширной смирновской родне, как любитель «бахуса», в чем он был очень похож на деда Смирнова. На этой почве у него уже возникали размолвки с Варварой Петровной, которая, видно было, пока терпела его «игрища», так как он, просто говоря, был любитель выпить. В Отрадной был его дружок школьной юности Гаврюня, о котором я уже вспоминал и ещё не один раз вспомню. Но Гаврюня был человек деловой, «при деле», как говорится, сам зарабатывал и содержал семью. Он был отличный мастер-кузнец, ремонтировал охотничьи ружья, занимался пчеловодством, дрессировал охотничьих собак – говоря по-охотничьи – натаскивал на перепелов, куропаток и зайцев и выгодно продавал их, и конечно же был и не дурак выпить. Рыбалка и охота вместе с «бахусом» было его «хобби», как говорится, кончил дело – гуляй смело, что он и делал.

Любители выпить шли к Гаврюне потому, что он был человеком весёлым и не жадным, и у него ещё и баян был, на котором Гаврюня отлично играл. А когда к нему приходили с угощением, рассчитывая на его «дичину» и рыбку во «всех смыслах – жареную, солёную, вяленую и пр.», Гаврюня не приbedнялся, но никогда он сам не покупал ни вина, ни водки. Ему хватало того, что приносили под его закус... И дружба дяди Шуры с Гаврюней была крепкой, которая продолжалась со школьных времен, а этот «злополучный компонент» их дружбы «на закус дичь или рыбка», конечно же был «цементирующим», еще больше «скреплял» их дружбу, что к тому же очень своевременно было замечено не только его мудрой женой Варварой Петровной, но всей нашей многочисленной в Отрадной смирновской роднёй.

Я, опять повторяюсь – был в курсе всех этих семейных обсуждений и разговоров вокруг дружбы дяди Шуры с Гаврюней, которые нашей роднёй велись без всяких секретов – присутствовал со своей балалайкой при гитаре отца – ведь наша была обязанность развлекать гостей. А отец иногда был «стратегом» при этих разговорах: когда он видел, что «страсти начинали накаляться» – пошел уже спор и начинался раздор – во всеуслышание объявлял, обращаясь ко мне: – А ну-ка, Колюта (так меня в детстве все звали), давай сыграем нашим гостям чего-нибудь новенького! И я с готовностью наяживал на балалайке чего-нибудь, отвлекая спорящих, и начинавших крупно разговаривать, а отец мне на гитаре аккомпанировал, все обращали внимание на меня – «ну смотрите, такой маленький, а как хорошо играет, как взрослый!.. И страсти разговорные утихали, все «накалы» угасали и все были довольны... Мне это до сих пор отлично помнится, прошло уже много-много лет!..

Но, тем не менее, наш дядя Шура ничего этого не замечал, как в жизни вообще такие дяди Шуры греха в своих выпивках не видят и не желают видеть, пока «гром не грянет», проще говоря, пока жена сама не примет мер по своему разумению, а чем это кончается – все знают. После такой длительной разлуки со дня, когда дядя Шура сбежал из дому, и «много воды утекло» – дружба его с Гаврюней ещё больше окрепла. Что было дальше – об этом я напишу, а пока что, как говорят, пока суть да дело, жена Гаврюни и Варвара Петровна стали кумами. Гаврюнина жена стала крестной матерью Тамары – дочери, родившейся у Варвары Петровны, после чего их дружба ещё больше окрепла. А разговоры «про дружбу» часто возникали и продолжались, но на дядю Шуру они не действовали и он был по-прежнему «верен себе»...

Варвара Петровна была из семьи старых интеллигентов, воспитывалась в духе тургеневских барышень, была очень щепетильна в соблюдении правил хорошего тона, была начитана, и по тем временам образована по высшим меркам провинциального образования. Была красива и лицом и фигурой, отлично пела – у неё был красивый грудной невысокий голос, и в среде военной интеллигенции, куда она попала как сестра милосердия, что в ту войну было модно и очень престижно – пользовалась всеобщим уважением и имела массу поклонников, так как была самой интеллигентной и заметной среди всех женщин, работавших в том госпитале.

Когда она впервые появилась в Отрадной как жена дяди Шуры (он после долгого отсутствия в станице приехал вместе с ней), все отраденцы, как говорится, были «на корню сражены» этой парой: такая она была эффектная, одетая по последней моде, вызывающе красива на фоне провинциальных отраденцев.

Своим мелодичным грудным голосом и манерами поведения ошеломила всех, особенно отраденских интеллигентов, и разумеется всю нашу смирновскую фамилию и родню. Всем она очень понравилась, и чувствуя это, вела себя достойно в «этой тональности», вызывая ещё большее уважение к себе, конечно же, у мужчин – в первую очередь. Отлично вела себя в любой семье из наших родственников, в любой застольной компании в праздничные или семейные дни торжеств, была всегда на высоте, вызывала всеобщее восхищение, особенно, когда пела или танцевала. Она всегда была на недосягаемой для глубоко провинциальных отраденских дам высоте, на фоне которых она вполне оправдывала собой «столичную штучку», как иногда полушутя, полусерьёзно называл её мой отец, любивший подшутить...

Я хорошо помню такой случай: Сазонов – муж старшей сестры моей матери Полины (мать того самого Тямоньки была у богатой тетки кухаркой до раскулачивания её) по настоящему влюбился в Варвару Петровну, что кончилось великим скандалом, после которого эти две женщины до самой смерти остались непримиримыми врагами.

Все это случилось на именинах тети Полины. Я сам видел, когда Сазонов поднял с пола туфельку Варвары Петровны, которая, сбросив обувь, вскочила на стол и прямо на нём, среди тарелок и бокалов, лихо оттанцовывала «Матлёт» – и наполнив туфлю вином, предложил всем гостям тост в честь Варвары Петровны, и залпом выпил из туфли ко всеобщему изумлению всей родни-гостей, бывших на именинах. Вот тут тётя разъярённая, устроила самый настоящий «вселенский» скандал, чуть было не закончившийся, «вселенским» разводом. Этой туфелькой набила морду Сазонову, разогнала всех гостей, объявила врагом № 1 свою лучшую подружку Варвару.

Не развелись они потому, что, как известно, все богачи очень жадные люди, а они только недавно «сошлись» именно на этой почве, время то было напряжённое, и они больше думали о том, как бы сохранить хоть то, что сумели припрятать, чтобы потом бежать от раскулачивания, что им удалось, и они умерли своей смертью, укрывшись в Абхазии буквально от всех бед: раскулачивания, высылки в Сибирь и голода 32 года.

История мордобоя с туфлей навсегда вписалась в историю нашей фамилии, она обсуждалась в связи с «гусарской жизнью» дяди Шуры, и так получилось, что и нетрезвая дружба с Гаврюней, возможно и стала тем кульминационным пунктом, после которого Варвара Петровна и решила уехать из Отрадной, как говорится, подальше от греха и дружка Гаврюни.

Они уехали в Таганрог, где жили её родственники и где они получили отдельную квартиру. Варвара Петровна работала в медицине, а дядя Шура поступил техником на авиазавод. Росла дочка Тамара, требующая внимания и забот, чем и была полна жизнь Варвары Петровны. На мужа при его образе жизни она совсем не рассчитывала, часто между ними происходили, как говорится – сцены, крупные разговоры, со временем приобретающие всё более резкие формы, доходившие часто до настоящих семейных скандалов. По её письмам дядя Шура очень часто загуливал, с работы являлся в виде «еле можахом». Были у него дружки по этой части, которые часто приводили его, а то и приносили, вернее, вносили в дом «пред ясные очи» Варвары Петровны. Она стойчески долго терпела всё это, как когда-то бабушка Саша в Отрадной от своего деда, но эти «номера» довели её до предела, когда лучшим выходом из этого «пик-положения» является развод, что она, в конце концов, и сделала.

После развода Варвара Петровна часто приезжала к нам в Отрадную, привозила Тамару, как внучку, к бабушке Саше, с которой вместе жила наша семья в её домике. Хорошо помню

как мы, дети, вповалку спали на полу бабушкиной беседки, которая была в саду – обширная, с железной крышей. Завтракали и обедали мы, дети, за маленьким низеньким столом, рядом со столом взрослых, у нас из рук курицы часто выхватывали кусочки хлеба, что нас всегда веселило. Помню, как целыми днями мы гоняли по Урупу, купались и загорали, ватагой лазили ночами по чужим садам за яблоками, хотя своих было достаточно в саду бабушки, но из чужого сада они всегда были более сладкие! То время было для нас самой счастливой порой нашего детства, к несчастью так быстро, внезапно и сразу закончившееся и не только для нас – детей, но и для всех взрослых, жестоко и страшно начавшимся голодом 1933 года после раскулачиваний и коллективизации! Мы, дети, это очень остро почувствовали и восприняли, недаром до сего времени отлично помнятся все «прелести» того времени.

В школу Тамара пошла уже в Таганроге. Время шло, незаметно и Тамара стала совсем взрослой, а её мама гордо переносила своё одиночество.

Была ли когда-нибудь и есть ли теперь на свете такая мать, которая не желала бы своему сыну красивой, самой наилучшей на свете невесты, или дочке – тем более единственной, самого что ни на есть красивого и знатного жениха, как говорят, «принца»?..

История и жизнь показали нам, что таких мам на свете никогда не было и нет до сего дня. Варвара Петровна своей любимой и единственной дочери, конечно же, искала и старалась сделать так, чтобы у Тамары был самый красивый, самый умный и самый достойный муж и она в этом преуспевала, и до самых последних дней своей жизни только об этом и думала, и все свои планы в этой области, можно сказать, с успехом осуществила. Этому во многом способствовал спокойный и ровный характер самой Тамары, которая маму свою очень любила с раннего детства, и у неё не хватало решимости или смелости даже в мелочах ослушаться, сделать что-нибудь не так, как мама сказала. Хотя впоследствии, по прошествии времени, Тамаре пришлось сожалеть о многих годах прожитой жизни, «не так, как бы самой Тамаре хотелось». Тем не менее, жизнь Тамары почти вся прошла «по нотам» мамы, любимой и единственной...

Заведующим лабораторией Таганрогского мясокомбината работал инженер-химик Евгений Хмарин, и вместе с ним, в той же лаборатории, лаборанткой работала Тамара. На работе они познакомились, а мама Тамары рассмотрела его со всех сторон, всё о нем разузнала и, найдя в нём тот самый идеал, который «всю критику» Варвары Петровны выдержал и соответствовал «принцу» – выдала Тамару за него. Они стали официальными «женатиками», на чём Варвара Петровна и поставила решающую точку, успокоившись на самом волнующем её материнское сердце «пункте», и решивши, что самое главное в жизни Тамары она устроила блестяще – лучше и быть не может. Жили они в той старой квартире вместе. Тамара продолжала работать вместе с мужем, Варвара Петровна на своём месте в поликлинике. Время шло незаметно, и вскоре появился на свет сын Саша.

С этого времени в скромной квартире Варвары Петровны жизнь в корне преобразилась, пошла непредсказуемо хорошо. Маленький Саша стал кумиром, всеобщим любимцем, предметом обожания, как всегда во всех таких счастливых семьях...

Папа, мама и бабушка любили его безмерно, всячески балуя его, кто как и чем только мог. Больше всех, как водится, внимания ему уделяла бабушка Варя, и маленькому Саше жилось точно как у Христа за пазухой.

Счастливое для них время шло незаметно, уже Саша и в школу пошел. Ничто не омрачало хорошей жизни скромной семьи счастливых родителей, все были больше чем довольны, особенно бабушка. Она чувствовала себя счастливее всех, и от радости, как говорится, была «на седьмом небе». И было от чего – ведь она поставила завершительную точку над «і», которая в её жизни была ясно и чётко обозначена, и выражалась в том, что судьбу своей единственной и любимой дочери определила в ту самую священную колею жизни, которою она сама всю свою жизнь для Тамары делала, и все свои замыслы она воплотила в жизнь: ведь у Тамары – мало того, что самый лучший муж, какого она для Тамары и хотела – ещё и сын появился, что было уже пределом её мечты, как впрочем, и всех на свете мам, делающих смыслом своей жизни счастье любимой дочери. В то время вся их семья и мысли не допускала о том, что кто-нибудь или что-нибудь сможет нарушить их счастливую жизнь.

Им казалось, что и работать они стали, вроде бы, лучше с появлением на свет маленького Саши, отлично себя чувствовали, все были вполне здоровы, и вся их жизнь была подчинена

маленькому кумиру, которого они все воспитывали, все трое видели в нём надежды на воплощение всех своих замыслов, в которых никто из них ничуть не сомневался, любили его всё больше, ничего не жалея для него. И так же незаметно пришло время, когда Саша пошел в школу, учился хорошо, чем радовал папу, маму и бабушку...

Время шло, но неожиданно горе-несчастье подкралось к счастливой семье. Внезапно умер Евгений – большое сердце – предотвратить не успели, да и не смогли бы – он был фронтовик, что говорит само за себя...

Случилось всё прямо неожиданно-негаданно, точно как поётся в песне: «после радости – неприятности по теории вероятности».

Саша, хотя и воспитывался баловнем, ни в чём не ощущая отказов, тем не менее, вырос парнем не избалованным, отца он очень любил, и в знак уважения к нему, после его смерти, решил стать военным. После окончания строительного техникума по предложению пошел в военное училище, с успехом его закончил и в армии прослужил до подполковника. Военную пенсию после смерти отца передали Саше, а сейчас Саша уже сам стал отцом своей дочери, вышел на пенсию и теперь живёт со своей семьей в другом городе, как пенсионер работает в милиции в правоохранительных органах.

Казалось бы, всем нам этого так хочется: хватит одного горя для счастливой семьи – похоронили отца, на всю жизнь этого горя хватит. И хотя сын – продолжатель своего отца, начал свою жизнь и устроился хорошо и жил хорошо, ничего плохого не предполагая ни для себя, ни для кого другого, но в жизни всё случается, и на непредсказуемые несчастья она полна и щедро всегда была и для всех. Как в жизни говорят: «одна большая беда не бывает», что в дальнейшем и пришлось испытать этой когда-то счастливой семье. То, что случилось «по теории вероятности», когда Тамара осталась одна, без мужа, но с сыном и мамой – конечно же, была жизненной трагедией, единственным утешением в которой она находила в сыне Саше, которого любила безмерно....

Но Саша уже в армию пошел, а Тамара была одна, а неумолимое время и жизнь, как говорится, брали своё...

Тамара была точной копией своей мамы, но лицом больше похожей на отца, красивой, в полном смысле слова привлекательной женщиной, среднего роста, с красивой и статной, не склонной к полноте фигурой, привлекавшей внимание всех без исключения мужчин, когда говорят «все на неё оглядываются», что было и есть лучшей похвалой для всех без исключения женщин. До пенсии ей было ещё далеко, и жизнь не оставила её в стороне. Постепенно успокоившись после большого горя, по прошествии времени и доведя Сашу, как говорится, до «нужных кондиций», она как-то незаметно, но с охотой приняла от жизни тот зов, который напомнил ей и её возраст и «уходящее время», и она, как этого требовала сама природа, не сопротивляясь и не возражая, почувствовала себя тем, чего от неё природа требовала. Но её мама ничего не хотела видеть и знать, и снова возвратившись к решению проблемы своим испытанным способом, т.е. она с особым рвением стала присматривать за любимой дочерью, и никак не отказалась от мысли, что новый муж Тамары, которого она и в этот раз обязательно найдёт сама, должен быть опять самолучшим, во всяком случае не хуже, чем был отец Саши.

Тамара не отличалась крутым нравом, по-прежнему маму слушалась, жила скромной затворницей, но жизнь есть жизнь, и она брала своё. И однажды бдительная мама почувствовала от Тамары запах бензина, тут же провела семейное расследование, из которого узнала о том, что у Тамары появился знакомый шофер. Как и прежде, заботясь о Тамаре и её счастье, она поставила вопрос ребром – чтобы никакого запаха бензина она от Тамары больше не чувствовала бы: «И если хочешь выходить замуж, выходи, только не за шофера». Сказано это было в такой категорической форме, не терпящей возражений, что Тамаре делать было нечего, она в силу своего мягкого характера не могла ни возразить маме, и ничего сделать или доказать, но, полагаясь «на метод», испытанный веками женщинами всего человечества – чтобы и волки были сыты и овцы целы – решила уйти в «подполье». Она маму обхитрила: связи с милым не прекратила и даже не думала об этом, но запаха бензина, её потерявшая бдительность, усыпленная так сказать кротостью и своим послушанием милая мамочка, больше никогда не чувствовала, на чём и успокоилась, будучи уверенной в своих мероприятиях по «подысканию принца для Тамары», уже в то время безуспешных, хотя и старалась, и была уверена в том, что всё равно найдёт для Тамары мужа, которого она сама хочет.

А время, меж тем, неумолимо шло и текло, и уже мама давным-давно на пенсии и здоровье её стало давать сбои, в силу чего и самой маме надо было уже думать не о счастье Тамары с «принцем-мужем», которого она во сне не раз видела, а о своём здоровье, с каждым днём дававшим о себе знать, медработникам это чувствительней, чем любому другому человеку, который к медицине обращается чаще всего когда уже «поезд ушел»...

А жизнь своим чередом потихоньку «текла», у каждого по своему руслу. Тамара и её дружок, так и не обнаруженный бдительной мамой, тоже продолжал работать, и связь с Тamarой уже не была такой «грешной» – прошло немного времени – опасность пахнуть бензином сама собой отпала. Тамара, наконец, официально стала женой своего «тайного принца», о чем узнали все соседи, друзья и родственники, и если мама Тамары и догадывалась, когда была жива, но виду не подавала, или она решила, наконец, что со всем согласилась или просто устала от бесконечных поисков «принца», или у неё уже стало не то здоровье, и ей было уже не до поисков. Во всяком случае, Тамара уже давно, как говорится, «пропахла бензином» во всех смыслах, но домой, в квартиру, где часто мама находилась дома, так как потихоньку уже прибаливала – муж Тамары ни разу не появлялся, и бдительная мама его никогда не видела и не знала ничего о нём, а Тамара, конечно же, ничего маме не рассказывала. Всё шло хорошо – у Тамары и в её новой семье – Юра, новый муж вполне соответствовал идеалу Тамары. Жили они хорошо, поддерживали крепкие родственные отношения с Сашей, который в то время жил со своей семьёй под Смоленском. У него уже дочка училась в техникуме и Тамаре, наконец, пришло время от души радоваться за Сашу и его благополучную семью. Родители его жены жили в Таганроге, недалеко от квартиры Тамары, они были очень дружны с Тamarой и её мужем – и ничего другого, лучшего не надо было и желать этим сватам, и самой Тамаре со вторым мужем, который к Саше относился как родной отец, и Саша видел в нём достойного человека. Кажется, и в этот раз ничто не могло омрачить наладившейся хорошей жизни в семье Тамары, после того самого, что случилось «по теории вероятности»... Но уже было сказано и в жизни не раз доказано, что большая беда одной не бывает...

Однажды (далее все подлинные слова из письма Тамары мне, как двоюродному брату) «оставила родную сестру мамы Вари на хозяйстве, и по уходу за мамой Варей (она приблела и находилась дома) поехала с Юрой на своей машине на 10 дней в Закарпатье, затем поехали к Саше под Смоленск, а там уже была телеграмма ему из Таганрога о смерти бабушки Вари. Сашу командир части не отпустил на похороны, а Тамара с Юрой уже опоздали»... и маму похоронили без Тамары... что и называется – большая беда одна не приходит...

В эти дни Тамара давно уже на пенсии, и её муж Юра тоже, живут они в новой квартире в родном Таганроге и вспоминают минувшие годы...

Тамара рассказывала мне, как, вспоминая своего отца, с которым рассталась будучи девочкой, она тогда не понимала свою маму, решившую развестись с отцом, которого Тамара очень любила. Как при жизни с мужем Евгением, который был культурным, интеллигентным человеком – ей было очень часто страшно стыдно перед мужем за своего отца, потерявшего, как ей казалось, человеческий облик, когда он возвращался домой пьяным, валялся на голом полу в коридоре, не в силах добраться до дивана, и как ей было его в те моменты жалко. Все это происходило чуть не каждый день на протяжении десяти лет – всего того времени, что мама с ним прожила. Как тяжело и больно всё это переживала мама – тогда Тамара не вполне понимала маму, а теперь вспоминает, что, когда она, молча, отца жалела – мама всё это замечала, видимо, по выражению лица Тамары, хотя она и не решалась хоть что-нибудь сказать маме, но мама, видимо предупреждая любой разговор на эту тему, спокойно и вполне благожелательно говорила Тамаре – и она запомнила это крепко на всю жизнь: «Вот придёт время, станешь взрослей, выйдешь замуж, и тогда ты меня в сравнении поймёшь, будешь знать, что иного выхода, кроме развода с ним у меня не было. Ведь для того, чтобы с ним продолжать мирно жить, надо было понимать его, а для того, чтобы вполне понимать – надо было мне вместе с ним выпивать, а я этого не могла»...

И когда мама убедилась в том, что отец и не помышлял изменить свой образ жизни и не обращал абсолютно никакого внимания на спокойные, благоразумные разговоры, уговоры, советы и пожелания интеллигентной женщины, которая, кроме всего прочего, была ещё «и медицина» со своей спецификой и методами лечения – несмотря на всё это он знал и исповедовал только одно – как бы и где бы выпить, и Тамара убедилась тогда в том, что мама

сделала всё правильно...

После войны, в 1946/47 годах, он немного жил в своей бывшей квартире вместе с мамой и Тamarой, но прежнюю привычку не бросил, мама не предложила ему остаться, а вторая его жена Муся, от которой он на войну уходил, также развелась с ним на этой почве. Он от них ушел. Навсегда. И в 1954 году умер в Армавире.

В доказательство воспоминания и благородства мамы Тамары говорит тот факт: после развода с мамой, когда отец жил со своей новой женой Мусей, летом, во время школьных каникул, Тамару часто мама отправляла к отцу. Муся очень хорошо относилась к Тамаре. Отец Тамару очень любил и Тамара не переставала любить, и эта взаимная между ними любовь, наверное, как то благотворно действовала на отношения, хорошие отношения разведенных отца с мамой. Однажды мама даже пригласила Мусю с отцом к себе в гости – они приехали в Таганрог из станицы Гниловской, где отец работал в авиачасти. Был накрыт роскошный стол с водкой, винами и всевозможными домашними деликатесами, на которые Варвара Петровна была большая мастерица. Долго сидели за столом, угощаясь, смеялись, веселились, шутили – всё было так прилично и хорошо, будто бы никогда ничего плохого между отцом и мамой не произошло – и мама и отец вели себя отлично, не заметили, как ночь подошла... Варвара Петровна, конечно же, была на высоте, выглядела эффектно и прилично и, главное, не было даже отдаленного намека на то, что когда-то произошел конфликт. Муся сидела за столом, активно принимала участие в застольном веселье, смеялась и шутила наравне со всеми, но её вид вообще, в сравнении с Варварой Петровной, намного желал быть лучшим, такая она была невзрачная и тусклая перед настоящей интеллигентной светской дамой, которой была в то время мама Тамары. И Тамара, хотя и была в то время девочкой, отлично всё слышала и видела и на всю жизнь запомнила.

К сожалению, немного в нашей жизни встречается людей с такими «высокими показателями» культуры. Чаще бывают случаи, когда папы и мамы до того опускаются, что, считая своих бывших или бывшую чуть ли не врагами, и детям не разрешают видеться с родителями, воспитывая в них такие же чувства вражды, отчего сами теряют уважение в обществе.

Мама Тамары была хорошим человеком во всех смыслах, но ей, видимо, выпала такая судьба, что её любимая единственная доченька, которую она всю свою жизнь учила только хорошей жизни, не смогла её достойно похоронить... Вот какие казусы судьбы происходят в жизни некоторых людей. Тамара до сих пор не может успокоиться и не знает, какому Богу молиться, только бы он не корил её...

А я вспоминаю, как печально для меня лопнула моя мечта стать летчиком, мечта, которой я заболел с самого раннего детства, увидев впервые настоящего, живого лётчика в лице моего дяди Шуры, который во время своего отпуска приезжал к нам в Отрадную, останавливался у своей мамы, бабушки Саши, которая видела его только в день приезда, потому что на второй день он уходил к дружку Гаврюне, и весь месяц с ним рыбачил, охотился и никто его не видел дома, в том числе и баба Саша до самого дня отъезда...

Мы, мальчишки, а я с братом больше всех, восхищались его костюмом лётчика, таким красивым, с голубыми петлицами и пропеллером на них, и сам он был нашим всеобщим кумиром. Разумеется я, как племянник, гордился им больше всех. Делал это открыто и без стеснения, и всем с гонором говорил: «Вот увидите, теперь я буду лётчиком, дядя Шура мне уже сказал, что после окончания учения возьмёт меня к себе в лётную школу»... А где он работал, я конечно же, развонил давно всем, не без гордости, тайно радуясь тому, что все парни мне верили, так как видели его своими глазами и страшно завидовали мне...

А мой дядя Шура, как залился в первый день к своему дружку Гаврюне, так и пропал с ним. Где? Что? Никто никогда не знал и не видел его до самого конца его отпуска – до дня отъезда... Загорелый, с опухшими глазами, красными как у варёного рака, он являлся в последнюю ночь к бабушке Саше, чтобы на утро уехать – его отпуск кончился.

Так и продолжалась его жизнь до тех пор, пока Варвара Петровна не развелась с ним. Точно такая же история произошла и с его новой женой Мусей, которая также не вытерпела его гусарской жизни и сама от него ушла.

В Таганроге Варвара Петровна воспитывала его дочку (1923 г.р.), а у этой новой его жены Муси детей не было, чем и облегчен был сам факт развода.

А я ждал своего года окончания учебы и с нетерпением собирался в путь-дорогу, с боль-

шой надеждой и к великой зависти всего мальчишеского населения станицы. С радостью дождавшись дня – поехал к нему в Пашковскую, поступать в лётную школу, как мы с ним давно договорились.

Он повёл меня на аэродром, посадил в небольшой фанерный самолёт «П-2», посмотрел на меня и говорит: «Видишь, Коля, твои ноги не достают до педалей... Как же ты будешь учиться летать?.. (я был худенький и маленького роста, парнишка такой мелкокалиберный), давай подождём годика два, вырастут ноги, тогда видно будет, а?»

Так всё и было, сам убедился – ноги короткие... Поняв всё это, я страшно обиделся на самого себя, на весь белый свет, на свою судьбу, огорчился до предела. Ведь мне предстояло приехать в Отрадную, как говорится, с носом. Что я скажу мальчишкам – друзьям-товарищам?

Это был для меня первый и самый страшный удар в моей жизни. После этого я решил твёрдо – дальше учиться никуда не поступать, а идти работать...

Разве не обидно было мне – столько лет восхищаться своим дядей, то военным моряком, то лётчиком – эта его фуражка с кокардой лётчика, эти голубые петлицы, сводившие всех нас, мальчишек, с ума. Ходить перед мальчишками, задрать свой нос выше некуда, предвкушая все прелести «жизни лётчика» – и вдруг такой щелчок мне по носу? Ведь все мы в том возрасте с восхищением смотрели на «живого» лётчика, думали и мечтали о том, что скоро и мы будем ходить в такой форме, и меньше всего представляли себе, а что же такое за работа настоящего лётчика, и какие такие «полёты» в небе – такая была наша мальчишеская логика...

«Решил идти работать»... это громко сказано было. Что я умел делать, кроме писать и читать? В то время мой отец уже не был портным – работал кассиром-счетоводом в только что организованной в Отрадной МТС, а когда он дома портняжил – меня он не хотел и не учил своему искусству, хотя в дальнейшей своей жизни я все-таки приобщился к портняжному ремеслу. Будучи в лагере научился, именно научился, подсмотрев у портного, как шить фуражки и кепки, и довольно прилично «зарабатывая на табак и дополнительный – так называемый «ларьковый хлеб», который продавали в лагерном ларьке по спискам, для выполнявших норму выработки, что было чувствительным подспорьем для не голодания... В то время мне только и оставалось делать, как идти работать куда-нибудь «писарчуком», как говорят на Украине. Я и пошел, вернее, решил учиться бухгалтерии, так как в Отрадной в то время не было никаких производственных предприятий, кроме МТС и сапожной артели «Кожеопреремонт» – в сапожники я сам не хотел идти.

Поэтому, решив посвятить свои порывы к работе в бухгалтерии, я пошел, поступил на работу счетоводом-учеником в Отраденский Осоавиахим, при котором и вернее находились под контролем, в смысле доходов, обобществленные мелкие мастерские и парикмахерские. Это было началом моей счетной работы. Потом я поступил учеником-счетоводом в Отделение нашего Госбанка и там получил первые бухгалтерские навыки и знания, так часто меня выручавшие в моей дальнейшей не такой простой жизни, так же как и умение играть на гитаре. Благодаря этим моим «умениям», если так можно выразиться, я и спасся от неминуемой смерти в лагере...

Продолжаю свои воспоминания о моих романтических мечтах детства и своём кумире лётчике.

По окончании войны он бывалым фронтовиком возвратился в Таганрог, и попытался примириться со своей женой Варварой Петровной, но она, видя, что он не прекратил своё увлечение былыми утехами, несмотря на фронтовые «уроки» и то, что из-за этих увлечений они-то и разошлись – отказала ему, не захотела с ним жить, и он вынужден был уехать в Армавир, после того как некоторое время после фронта проработал в какой-то воинской части Таганрога, это было в 1947 году.

В Армавире он нашел себе сожительницу. Чем она занималась, нам он не сообщал, как вообще ничего и никому из родственников он не писал вообще. Где он сам работал, что делал, чем и как жил – ничего мы не знали. Из Таганрога нам тоже ничего не писали.

В 1952 году, после нашей реабилитации, моя жена была в отпуске без меня, будучи в Отрадной, узнала, что дядя Шура живёт в Армавире, и посетила его. Побывала у него дома, где он жил уже с третьей своей женой, той самой Надей, которая «не вылезала с базара», наверное, промышляла по спекулятивной части. Это я сам так подумал, и вот почему: узнав из моего письма жене в Армавир наш магаданский адрес, она вдруг прислала мне телеграмму такого

содержания: «Дорогой Коля, выручи нас с дядей Шурой, нам хочется иметь поросёнка, вышли тысячу рублей»... Меня эта телеграмма шокировала, но получив письмо от жены, и узнав, что она за «птица» (я не ошибся в своих предположениях) – денег не послал, а просто промолчал и дня через два получаю от Нади вторую телеграмму: «Скоро день рождения, вышли немного хоть на куриные потрошки». Эту телеграмму я долго хранил для хохмы. А среагировал на неё так: сообщил жене телеграммой до востребования – так мы с ней условились на всякий случай ещё до её отъезда в отпуск – чтобы она купила на базаре живую курицу и живого петуха для дяди Шуры, что она и сделала, и вскоре по окончании отпуска приехала в Магадан, домой. После этого у нас с Надей и с ним не было никакой связи, и только в 1956 году сама Надя нам сообщила, что дядя Шура умер в Армавире, она его похоронила.

Так прозаично окончилась жизнь моего кумира дяди Шуры, который был и моряком, и лётчиком для меня. Как прозаично, но и из меня не получилось ни моряка, ни лётчика, о которых в детстве «я мечтал в дым», желая быть похожим на моего кумира...

С его дочкой Тamarой и Варварой Петровной через много лет я, вместе с отцом, виделись много раз, а вот о первой встрече, больше чем через 20 лет, напишу дальше. Но сначала о последней встрече с дядей Шурой, в бытность его в Пашковской лётной части, откуда он приезжал к нам в Отрадную.

Жил дядя Шура в Краснодаре, в квартире тещи со своей новой женой Мусей Алехановой, артисткой Краснодарского театра драмы – как он нам её представил, когда приезжал с ней в Отрадную. В Пашковку он приезжал на работу и заходил к нам, в нашу колхозную квартиру, где его угощали козьим молоком...

Сестра отца Тоня с мужем, проработав по договору три года, и по окончании договора в 1934 году, с Дальневосточного края (ДВК) решили приехать – заработавши! – снова на Кубань, в родные места, но в Отрадную не решились возвратиться, сняли квартиру в Пашковской. Решили присмотреться к кубанской жизни, и вообще, слишком заметна была разница в условиях жизни в тот год на ДВК и на Кубани...

А жизнь не только на Кубани только-только приходила «в норму», как говорят, хотя и относительную. Прошедший голод давал о себе знать, в магазинах ещё пока кроме коммерческого хлеба (1кг – рубль!) ничего не было. Только что открылись «Торгсины», где было полное изобилие всего – и товаров, и продуктов всевозможных, но продавалось всё за валюту и за золото и серебро, по баснословно низким в то время ценам. Строгая карточная система процветала тем, что и по карточкам ничего, кроме нищенской нормы муки – в последнее время кукурузной – не давали. И поэтому, приехавшим с ДВК эта «картина» очень не понравилась, они, не заезжая в Отрадную, письмами уговорили моих родителей продать домик бабы Саши – и чем скорее, тем лучше, что родители и сделали в 1934 году, и переехали в Пашковскую. Там решили, после того как основательно подготовились к такой длинной дороге, что надо было и кое-что продать лишнего из вещей, и подкупить кое-каких продуктов на дорогу – ехать на Амур поездом в то время надо было не меньше двух недель. Там наши бывшие «дальневосточники» присмотрели на всякий случай объекты работы – по объявлениям в газете наметили трест «Амурзолото» в городе Свободном, куда и решили «всем колхозом» – две семьи с бабушкой Сашей «во главе» ехать из Пашковской.

А пока, поселившись в их квартире, мы так «колхозом» и жили. Для молока купили козу, которую потом мне пришлось на поводке тащить на краснодарский базар – с ней, упрямой, в трамвай не пускали, а как я с ней «повеселился» по пути из Пашковской до Краснодара (9 километров по жаре) – это достойно отдельного повествования, которое как хохма впишется в репертуар чтеца-исполнителя любого артиста эстрады. Так мне было «весело» с этой проклятой козой! Почти месяц мы прожили в Пашковской в 1930 году, когда они ехали на ДВК.

Будучи там, так далеко от Кубани, своих родным мест, семья Тони – три человека и семья Любы – пятеро детей благополучно, безбедно и спокойно прожили и пережили все потрясения и несчастья, которые пришлось на долю жителей Кубани и Украины, и других мест – раскулачивание, коллективизация, страшный голод 1933 года и ещё более страшный 1937-й год. Никто из их семей, да и не только их, а всех живущих на ДВК, ничем не пострадал, и не пострадал в те времена, и в течении их дальнейшей жизни как до войны, во время войны – кроме воюющих, и после войны, благополучно прожили и умерли своей смертью, а их дети с внуками до сих пор живы-здоровы.

Как показала жизнь, если бы наша семья не возвратилась в Отрадную с ДВК по истечении срока договора, и по причине той, что вторая бабушка – мать моей мамы, три года жила у совсем чужих людей в Отрадной – (она побоялась ехать с нами вместе с бабушкой Сашей), то не пострадали бы в 37-м году ни я, ни отец. Сёстры отца Тоня и Люба с мужьями и все наши новые знакомые и друзья на ДВК, которые как предчувствовали какую-то беду, сами на стали возвращаться в родные места, как наши – и очень отговаривали моих родителей не делать этой глупости, не возвращаться домой, не уезжать с ДВК, а остаться в тех местах, где работали, продолжить договоры и жить – такая возможность была.

Но судьба наша такая – мы возвратились на свое горе и несчастье... О нашей трагедии в 1937 году все наши родственники хорошо знали, но, как и все родные всех репрессированных людей страны, а наши не были исключением, – постарались забыть о нас, арестованных, и никто из них, подчёркиваю, никто, даже не подумал – кроме матерей и отцов – обеспокоиться и попытаться навести справки, что стало в дальнейшем после ареста с нами, где мы находимся и живы ли вообще.

ВСЕ, повторяю, ВСЕ, БОЯЛИСЬ ЗА СЕБЯ (не дай Бог ещё и нас арестуют), тогда это было НОРМОЙ поведения, и как говорил Аркаша Счастливцев в пьесе «Гроза»: «И за грех не считали»... Страх, вселенский страх обуял всех, и не будем их строго судить за это. Если и устанавливались связи арестованных с домом, то это было не раньше чем через год, а то и больше, и инициатива в этом происходила от самих пострадавших, как говорится, спасение утопающих дело самих утопающих»...

Только отцы и матери пострадавших, только они не боялись ничего, и не верили в то, за что их близких арестовали, потому что знали, что причин для ареста не было. И куда только они не обращались по розыску несчастных – ничего не могли узнать, не получали никакого ответа на свои запросы.

Вот пример – я сам только через год, из лагеря, с Колымы, сообщил домой, где я нахожусь и что со мною. Письмо по моей просьбе увёз один человек из «вольных» добрых людей, которых, как оказалось, много было в нашей жизни, не боявшихся выполнить просьбу – увезти письмо заключенного и в любом городе опустить его в почтовый ящик.

Жены арестованных, но не все, тоже верили в невиновность своих мужей и не боялись их разыскивать, не теряли надежды установить местонахождения их. Многие из жен вместе с мужьями попали в тюрьму и лагеря, а многие, запуганные органами, отказывались от своих мужей, другие просто из-за страха делали это, потому что страхом было парализовано великое множество людей в то страшное время, поэтому, повторяюсь – не будем их строго судить за это...

Варвара Петровна, будучи в Отрадной, очень хорошо относилась к отцу – и как к брату мужа, и как к уважаемому человеку в Отрадной, которого вся Отрадная знала как отличного портного, и как руководителя оркестра, и как руководителя «светского» и церковного хора, пользовавшегося большим авторитетом жителей станицы. Его и звали все отраденцы – «дядя Проня». Она отлично знала, что и отец и я, совершенно напрасно пострадали в 37-м году, знала, что это какое-то недоразумение, знала, что и отец и я не могли быть такими, какими нас сделали разные *тямоньки*, верили в нашу непогрешимость, и конечно же, вполне искренне были рады за нас, когда узнали за наше возвращение в нормальную жизнь. И как только представилась возможность с нами встретиться-увидеться – сразу согласилась...

Как она говорила при встрече: «Уж больно сильно было желание увидеть вас своими глазами после всех ужасов, пережитого вами в голоде и холоде каторжных лагерей, убедиться самолично в том, что вы оба живы и здоровы. Надо не забыть о том, что она была ведь медиком, и тут, по-моему, имел место быть и чисто профессиональный интерес... И эта встреча состоялась в 1955 году – через 30 лет. Я называю её самой замечательной, ибо была она первой и особой по своему напряжению и переживаниям из всех встреч с моими родственниками, запомнившаяся мне на всю жизнь. Поэтому об этой страничке моей послелагерной жизни стоит написать поподробнее, что я и попытаюсь сделать. Но перед этим стоит вспомнить и первую встречу с отцом.

В этом же 1955 году, через 18 лет – я с ним встретился. Он после лагеря в Пуксе (под Архангельском) жил у дочери Лиды, моей младшей сестры, в г. Жашкове, что под Киевом. Это произошло в первый наш отпуск после реабилитации. Я с женой Катей приехали в Жашков,

чтобы потом вместе с отцом и Лидой поехать на курорт Гудауту, где жила та самая бывшая богачка-сестра моей матери Полина, уехавшая из Отрадной после мордобоя туфлём. Там же, только отдельно в своём доме, жила и её старшая дочка Нюся, в 1955 году ставшая уже бабушкой. Вот к ней-то мы и ехали «на курорт после лагерей» в полном смысле этих слов, что нам самим было более чем приятно сознавать и радоваться в душе тому, что наконец-то мы: я, отец и Катя – бывшие каторжники-тюремщики имеем возможность поехать в места, которые нам только снились незадолго до этого в наших мучительных тюремных снах, когда мы думали, что никогда больше не увидим тех райских мест даже и во сне. А теперь мы едем на Черное море, кроме того у нас ещё и есть к кому ехать, нам не надо путёвок, а это тогда имело большое значение, ведь мы отлично помним до сих пор кто и как достаёт эти путёвки, и нам, простым смертным, да ещё вчерашним лагерникам, именно и во сне не снились эти блага...

Мы и отца с собой взяли, и Лиду пригласили, вроде как для того, чтобы она разделила с нами радость, хотя она тоже кое-что пережила за время войны на фронте.

Тем заманчивее было для нас хоть перед родной сестрой и её мужем похвастаться тем, что теперь «и мы не лыком шиты»!.. Кто это когда-нибудь пережил хотя бы частично, то поймёт меня... Это не забывается...

До встречи с отцом – он был в пос. Пукса, а я в Магадане – мы довольно интенсивно переписывались во всех подробностях, знали про каждого всё подноготное. Встреча наша была хорошая, тёплая, волнительная и со слезой во взоре, как говорится. Но, наверное, в силу того, что в лагере мы с ним как-то огрубели что ли, или почерствели, хотя родственных чувств и не утратили, но сама лагерная жизнь внесла – таки какой-то особый отпечаток в наши души, потому что я до сих пор помню, что того самого трепета души и волнения до дрожи мы с ним взаимно не пережили, встретились как два равных выживших лагерника, с тяжелыми в душе осадками, и с большой неохотой вспоминать прошедшие в лагерях годы. А ведь прошло 18 лет, как нас разлучили. Меня высадили из вагона как больного и возвратили обратно в Армавирскую тюрьму, а отца повезли в Архангельские лагеря (везли нас в одном вагоне). Наверное, время – 18 лет и расстояние Кубань – Колыма! – были решающим фактором в некоторой потере родственных чувств, в некоторой огрубелости и охлажденности. Но, повторяю, всё равно встреча была и радостной, и волнительной, хотя и не на самом высоком уровне...

А вот встреча с сестрой Лидой – прошли ведь такие же 18 лет со дня нашей разлуки – встреча там же, в её доме в Житкове была такой простой и обыкновенной, как будто бы мы не виделись всего две недели. Этого я никогда не предполагал и не ожидал, тем более, что и с ней у меня была очень активная переписка и письменно мы к этой встрече готовились, полагая, что она будет радостной и волнительной.

В день нашего приезда к ней, она поехала в Киев на базар продавать мясо, недавно кабана зарезали. На вокзал послала грузовик, усадив в кабину отца – для встречи, а самой ей, оказывается, «было некогда»...

Это на меня подействовало отрицательно, я почувствовал, что встреча уже не будет такой, как предполагалось... И когда на второй день она появилось дома, приехав с Киевского базара в плохом настроении и не в духе, как говорится, и не поздоровалась с моей женой, которую видела впервые – это было для меня как ушат холодной воды на голову. Я очень расстроился, и как-то слишком обыкновенно и холодно обнял её и просто сказал: «Ну, здравствуй, Лида!» – без всякого волнения и трепета, так обыкновенно и просто, будто бы точно прошла всего неделя-две после разлуки. Она же, как я запомнил – была вообще холодна как лягушка и не выразила ни малейшей радости от встречи, продолжая мою жену не замечать, и, как мне казалось, даже игнорировать, это была какая-то нежелательная «встреча с бедным родственником», как мне казалось и чувствовалось. И мне было очень неприятно, на душе, как говорится, «кошки скребли», в пору – да другой может быть так бы и сделал: просто тут же ушел из дому или уехал. Отец всё это видел и, как всегда, не хотел вмешиваться, вроде бы не замечал ничего, или делал вид, что ничего страшного не произошло... Вообще, я в те минуты отца не мог понять до конца, а жена моя Катя – это вообще человек с золотым характером и всепрощающим сердцем – больше переживала за меня, чем за себя, увидев в лице моей сестры Лиды женщину, которой моя жена не понравилась, но она ничем, ни словом и ни жестом не дала даже намёка на то, что ей это неприятно...

Этим самым моя жена Катя оказалась на сто голов выше моей сестры с высшим образо-

ванием, в десятки раз тактичнее, культурнее и благороднее, чем Катюня моя, всегда и везде отличалась и такая она есть и до сих дней...

На второй-третий день нашего пребывания в доме Лиды, отец стал не то что жаловаться мне, а просто делиться со мной и посвящать меня в его житейские будни у родной дочери, из чего я понял, что ему тут живётся не важно, не так как хотелось бы и как надо было бы у родной дочери, да ещё после тюрьмы и лагеря...

И все отношения к нему как со стороны дочери, а также и со стороны её мужа, желали быть лучшими. А её муж Гриша Вайнберг, инженер сахарного завода, с которым она познакомилась в Пуксе, где после освобождения из лагеря он жил с отцом в одном бараке (Лида после фронта поехала к отцу в пос. Пукса, когда отец уже вышел из лагеря, и там прожила несколько лет). Так этот Гриша по отношению к отцу вел себя вообще как великий «благодетель», предоставивший ему «место под крышей своего дома» – топчан в углу комнаты с соломенным матрацем и серым лагерным одеялом, которое отец привёз с собой, «и стол бесплатный» – харчи родной дочери! Какое великое благодеяние!... заставлявший жену мыть ему ноги, когда он после работы, заходя в дом, разбросав по комнате сапоги, садился на кровать, перед которой стоял таз с тёплой водой. Лида, бросив все дела, торопливо принималась мыть ему ноги... Я был поражен, когда увидел это впервые, да и вообще, в нашей семье, насколько я помню, никто никогда не знал об этом и не слышал про других... А отец мой при виде этой «процедуры» глазами мне показывал, мол, «до чего дело дошло»... Этого я не ожидал от сестры и был просто ошарашен увиденным, как никак, а Лида прошла школу войны, фронтовичка, как говорится «бывалая и битая», но это мытьё ног... В дальнейшем их отношения меня мало интересовали и с того дня я свои отношения с Лидой и её супругом не старался улучшать, наоборот, отношения всё время натягивались и такими остались до сего дня. А тот случай, когда Гриша присвоил 700 рублей, высланных мною отцу (он еще не был прописан у них, перевод был сделан на имя Гриши), который, получив деньги, отцу об этом не сказал, и купил своему сыну (от первой жены) Юрию фотоаппарат, о чем Юра рассказал отцу – этот случай явился тем самым моментом, с которого я с Гришей отношения порвал совсем и не знаюсь с ним. Лида умерла в 1975-м году.

Когда я предложил отцу уехать после отпуска с нами в Магадан, он с радостью согласился и тут же начал собираться, решив после Гудауты сюда больше не возвращаться, что и сделал впоследствии...

Пробыв у Лиды ещё несколько дней, мы поехали в Гудауту. На поездку к Чёрному морю Лиды с дочкой вместе с нами, мне пришлось «испросить высочайшего разрешения у самого Гриши», который, вняв моей просьбе, «благосклонно разрешил» – дал своё «добро» на это мероприятие, вроде бы сделал великое одолжение!..

И вот, после двух моих послелагерных долгожданных встреч, получившихся на уровне «ниже среднего», как я потом отметил для себя, мы едем поездом Киев – Адлер, и «на семейном совете» решили послать телеграмму в Таганрог тётке Варе и Тамаре, чтобы они приехали на станцию Марцево – недалеко от Таганрога, по пути в Ростов, к приходящему нашему поезду, и там во время стоянки поезда наша встреча и состоится. Как никак, а не виделись 30 лет, а теперь живы и здоровы после лагерей и тюрьмы, живы и здоровы, едем на Чёрное море. В общем, сами мы все, воодушевленные идеей встречи, рассчитывали на то, что и они будут рады встретиться с нами теперь уже реабилитированными, что, разумеется, их страхи развеяло – время-то стало немного другое. Тогда сочинили телеграмму, и отец во время стоянки поезда за несколько станций до Марцево, чтобы из Таганрога успели доехать до неё, пошел на вокзальный телеграф отправить срочную депешу...

... И вот мы, стоя в вагоне замедляющего ход поезда, видим Тамару и тётю Варю, как они, радостные и улыбающиеся, увидев нас в дверях вагона, как-то вроде бы вперед подались, сделали шаг-два к дверям, к нам поближе, и у меня и у них тоже в этот миг глаза наши, как говорят, были на мокром месте – наверное, от избытка чувств, переполнявших наши души. Не знаю как у них, но у меня всё перевернулось от радостных чувств, вызывавших настоящие слёзы радости.

Ведь тётя Варя – как мы её звали тогда в Отрадной – помнит меня с тех детских лет, как маленького мальчика Колюту, музыканта с балалайкой в руках, всегда бывшего во взрослых компаниях рядом с отцом и гитарой. Меня все любили и баловали как юного музыканта, в

том числе и она, а теперь перед ней был взрослый, женатый человек, рядом с которым его жена. Это тоже надо было как-то пережить и мне и Тамаре, которую я помнил девчушкой с пухлыми губками, застенчивую стеснительную, а она меня помнит небольшим мальчишкой Колюткой – маленьким музыкантом. А теперь я вижу перед собой красивую, стесняющуюся, раздетую молодую даму, в которую всякому мужчине не грех было влюбиться с первого взгляда – так как неотразимая была Тамара в тот момент, рядом со своей тоже интересной и красивой мамой. Всё это мне отлично помнится до сих дней. Варвара Петровна, не утратив своей прежней красоты и привлекательности, стала полнее, солиднее. Её полнота – не особенная – как-то даже подчёркивала бывшую красоту, и только седина в голове напоминала нам о том, что с 1925 года, когда она виделась с нами в последний раз – прошло 30 лет – это же всё-таки порядочное время?..

Судя по тому, с каким волнением они пытались заговорить с нами – мы также были в таком же состоянии – ничего не получалось, потому что сначала были одни только взаимные всхлипы и только потом вырывались слова: «Ну, мои милые, дорогие, здравствуйте наши Колюта, Лида, Катя, мои хорошие, мои дорогие, и ещё здравствуйте, и ещё раз, и ещё, и бесконечные объятия, и опять всхлипы... и опять – ну, дай-ка я тебя поцелую, и опять объятия и слёзы... И так продолжалось три-пять минут, говорю об этом без преувеличения, а Тамара – красивая очень, похожая на своего отца, очень смущающаяся и робко улыбающаяся, такая раздетая, с букетом цветов в руках, покрасневшая и радостно возбужденная, не скрывая своего волнения, все время убирала слезы платочком, переходила из одних объятий в другие, глядя на всхлипывающую маму и на нас – меня стеснялась, но уже никак не сопротивлялась и позволила мне обнять ее и поцеловать, но сама она как-то робела и всё-же слёзы не могла удержать... И Лида, и Катя, тоже от слёз не удержались, но это уже, как мне казалось, была реакция на слёзы увиденные, как говорится, «за компанию»... Они ведь были недавние фронтовички, видели на войне и не такие слёзы, но, тем не менее, их волнение было совершенно искренним, как и слёзы...

Это были незабываемые минуты. Мы стояли на перроне возле вагона, народу на этой небольшой станции было мало, но всё равно, увидевшие эту нашу встречу со слезами, останавливались невдалеке, и молча наблюдали сочувственными взглядами, поняв, что это за необыкновенная встреча почти без разговоров, когда слышны больше одни ахи, охи, да всхлипывания и торопливые слова и жесты – ведь время остановки подходило к концу. Я стоял очень взвинченный происходящим и расстроенным до того, что меня пробрала настоящая дрожь, несмотря на то, что мы стояли на солнцепёке, а я стоял и дрожал. Помню как сейчас – все вроде торопились что-то сказать, что-то сделать, чтобы успеть, пока поезд стоит, наверное, это и была та самая дрожь при встрече или была встреча до дрожи в теле...

А время остановки подходило к концу и тут тётя Варя, опомнившись и оглядываясь, взволнованно спрашивает: «А где же Проня? Почему он не выходит из вагона?»- При этом с тревогой поглядывая на каждого из нас...

И мы все, как-то опомнившись, спохватились, осознали, что отца нет с нами, о чем и сказали всем им. «Как так нет? А что же вы нам телеграфировали? И чуть не со слезами, да не чуть, а именно всхлипывая, плача, тётя Варя говорит: «Как же так, почему его НЕТ?»...

Тут последовала на секунды немая сцена из спектакля «Ревизор»... и потом, успокоившись и успокаивая тётю Варю и Тамару, мы торопливо рассказали «всю эпопею про отца», и при последних словах нашего торопливого повествования прозвучал третий звонок, наш поезд стал медленно двигаться, мы быстро вошли в вагон, прокричав оторопевшим и по-моему ещё не вполне осознавшим, что же случилось – «не торопитесь уезжать в Таганрог, дожидитесь следующего поезда-а-а!»... Наш поезд набирал скорость, мчал нас, а тётя Варя и Тамара – их долго было видно – стояли и всё махали нам прощально руками, изредка утирая платочком слёзы. Вот так и случилась у меня та самая главная и единственная после колымских ужасов встреча с моими родственниками, про которую я и хотел написать более подробно. Она произошла и в жизни, и в моих воспоминаниях...

А что же произошло в дальнейшем с отцом? О чём мы «в трёх словах» рассказали тётке Варе и Тамаре на перроне?

...Пошёл на вокзальный телеграф отправить срочную телеграмму... Время стоянки поезда истекает, третий звонок, а отца нет. Мы в тревоге, уже поезд тронулся, а его нет... Прошло

5-10 минут, а его нет!

Мы терпеливо ждём, думаем, что он сел в другой вагон. Но времени уже прошло много – он должен был уже прийти в свой вагон, а его нет... Пошли и проверили весь состав по вагонам, а его нет!!!

Решили тогда, что он отстал от поезда, и сообщили об этом проводнику, огорченные и расстроенные. Ведь он вышел из вагона налегке, по-летнему, без пиджака – дело то было в июле. Хорошо, что Катя догадалась и при его выходе дала ему его билет, так, на всякий случай – и это нас немного успокоило. В крайнем случае, его отправят по этому билету со следующим поездом.

Короче говоря, когда мы на станции Марцево, встретившись с тётёй Варей и Тамарой, огорчённые тем, что с нами отца не было, рассказали второпях его «одиссею» – они дождались следующего идущего по пути поезда, встретили и увезли его к себе в Таганрог – как юношу – в одной рубашке, а на следующий день по его билету – какое счастье, что он был при нём! – отправили, и он на следующий день после нашего приезда прибыл в Гудауту – как ни в чём не бывало – предстал пред нами ясны, но с лёгким укором взоры... Какая была его встреча с Варварой Петровной он нам подробно рассказал. Была она хорошей...

Х

Станичный парк и церковь. Футбол. Мельница Сорокина. «Вальцовка» Мальцева. Пивовар Медведев и его судьба. Пивзавод Гржибова. Мельницы Тютюнникова и Чердниченко. Влияние войны на застройку Отрадной. Скупердяй дед Замура. Ярмарочная площадь. Паровая мельница Айвазова. Казачьи праздники. Проблема топлива. Художественная самодеятельность. Герои-отраденцы

Много лет назад учениками Отраденской средней школы на так называемой площади станицы был разбит парк. В центре была еще не закрытая очень красивая отраденская церковь, с большим позолоченным куполом в окружении четырех малых куполов по краям, высокой колокольней, устремленной ввысь своим конусом. Золотые кресты с цепями сияли на солнце и были видны издали. До 1931 года церковь стояла в самом центре площади станицы и являла собой именно украшение площади.

Парка еще как такового не было. С южной стороны площади был лишь небольшой бульвар в пять рядов деревьев. В посадке нового парка в 1930 году, за оградой церкви, за её алтарём, в числе учащихся нашей школы (которая находилась слева от памятника 100-летию станицы) принимал участие и я. Высаженные наши ряды саженцев теперь превратились в толстые вековые деревья, украшающие современный парк. Тогда же, перед центральными воротами в ограде церкви, перед входом, мы, будущие комсомольцы-энтузиасты, со старшими активистами и футболистами, разбили стадион. С одной стороны сделали несколько рядов скамеек напротив церкви, перед входом в ограду, на котором играли день и ночь в футбол. Часто возникали разговоры: верующим этот футбол не нравился – прямо напротив храма. Выходящим из двора церкви после службы людям приходилось обходить футбольное поле, где «бесились», как говорили старушки, «черти бесштаные», «бессовестные антихристи». Старушки проклинали нас. Но эти проклятия на футболистов никак не действовали, некоторые из них старались иной раз попасть мячом в какую-нибудь старушку, что было самым настоящим хулиганством. Но мы считали, что этими выходками мы, как воинствующие атеисты, принимали активное участие в «антирелигиозной кампании», «генеральной линии», а сама идея разбивки стадиона напротив центрального входа действующей церкви была как бы утверждением нашей правоты в «борьбе с опиумом для народа». Так в то время нас воспитывал комсомол, а мы были фанатиками того времени.

После закрытия церкви купол сняли и убрали колокольню. Теперь здесь был кинотеатр, а на месте стадиона продолжили посадку деревьев, и получился сплошной парк.

Давнишняя традиция отраденцев ходить на гору, любоваться станицей с высоты птичьего полета, до сих пор всеми свято соблюдается, несмотря на то, что многие видели её уже сотни раз. Я сам, когда через восемнадцать лет разлуки оказался в Отрадной, первое, что сделал, так это пошел на гору.

Мне еще мой отец рассказывал, как они в молодости со своими друзьями всегда ходили

на эту гору, чтобы полюбоваться прекрасным видом станицы, что зафиксировано на одной фотографии времен 1910 или 1912 года (эта фотография находится в музее Отрадной). И став взрослым, уже со своей компанией, очень часто ходил туда. Последний раз был в 1990 году, когда приезжал в Отрадную, и видел все тот же висячий мост, и на том же месте возле моста роща. А правый берег – высокая гора, под которой бежит Уруп. Не очень далеко от этой рощи, ниже по течению Урупа, была первая отвод-протока части русла реки через сады к водяной (без мотора) мукомольной мельнице Сорокина, которая работала только до зимы. Муки делалось много; станица большая, и был большой привоз зерна с хуторов. Мельница славилась качеством муки, и быстротой помола, и невысокой платой за помол. Успешно работала мельница до самых морозов, пока позволял уровень воды.

Ниже по течению был второй отвод-протока, тоже через сады станичников в небольшую рощу хозяина мельницы Мальцева, в два раза больше сорокинской, двухэтажной, с большим широким деревянным колесом десяти метров в диаметре, на лопасти которой вода попадала внизу, под колесом, под небольшим уклоном, для увеличения силы. В этих протоках на всем их протяжении летом все купались.

Мальцевская мельница работала круглый год. Она была престижнее других мельниц. Ее оборудование и «вальцы» позволяли молоть муку высших сортов, из которой выпекали куличи ко дню великого праздника Святой Пасхи.

Перед мельницей была довольно обширная площадь, мощенная булыжником, на которой всегда в очереди на помол стояли обозы с мешками зерна. Люди жили и спали под брезентами, варили на кострах еду, поэтому возле мельницы всегда было шумно и весело. Через площадь, напротив, за хорошим высоким забором, стоял хозяйский дом – большой и красивый, с хозяйственными постройками и жильем для работников. Перед самым домом был цветник и небольшой сад фруктовых деревьев, в тени которых стояла дачная плетеная мебель и всегда были какие-нибудь гости. Кроме мельницы у хозяев было большое стадо коров, в горах – отара овец, в степи – большая пасека, и по-над Урупом – большущий фруктовый сад.

Хозяйкой была сестра моей матери тетя Полина, потом ставшая Сазоновой, женой хозяина второго в Отрадной маслозавода. Её первый муж Мальцев умер в 1918 году, простудившись, когда делал прудку по отводу Урупа в протоку ранней весной.

Рядом с двором Мальцева углами сходились заборы, за которыми было хозяйство Медведева – хозяина пивного завода, который до сих пор цел и выпускает пиво. История этого завода интересна. В 1920 году, когда на Кубани кончилась [Гражданская] война, хозяин пивзавода не стал его разрушать. Даже заряженные солодом чаны и все запасы льда и ячменя хозяин завода предложил Красной Армии. Ну, вроде как подарил. Взамен этого попросил для себя и жены только маленький флигелёк – домик, возле большого хозяйского дома, который он также предложил командованию. Начальство воинской части посчитало этот факт заслуживающим внимания, приняло этот дар от Медведева, выдало ему «бумагу» – вроде как охранную грамоту. Медведева потом никто не трогал, его сын впоследствии был призван в ряды Красной Армии, отслужил, потом работал в торговле и умер в 1975 году в Симферополе. Сам Медведев с женой тихо и мирно прожили в том флигельке до смерти. Две дочери вышли замуж за младших братьев моей матери, которые работали на мельнице у Мальцева до тех дней (1929 год), когда тетку мою раскулачили, отобрали мельницу и дом.

Еще ниже по течению, среди садов протоки от мальцевской мельницы, недалеко от берега, был второй пивзавод хозяина Гржибова. Хозяин завода имел в то время собственный автомобиль, в войну его не трогали, сам он не убегал от красных, во времена НЭПа процветал со своим пивзаводом, разъезжал по Отрадной на своем автомобиле, посещал ресторан (кстати сказать, тогда в Отрадной был отличный ресторан с музыкой, которая представлялась двумя хорошими ресторанными баянистами. Один из них играл на баяне, с ножными басами – специальная установка одних басов для ног: нажимая на педали с мехами ногами, баянист, играя руками, дополнял, усиливал аккомпанемент, его звучание, создавая иллюзию того, что вроде играл оркестр баянистов). При ликвидации НЭПа хозяин бежал на своем автомобиле. Завод закрыли, потом растащили. Ресторан закрыли, и в его помещении и рядом с ним, в доме с подвалом, была отраденская милиция. Во время войны, в 1943 году, она сгорела, на этом месте потом построили красивое двухэтажное здание райкома КПСС.

Еще ниже по течению, за большим мостом через Уруп, через фруктовые сады, была от-

вод-протока к еще двум водяным мельницам хозяев Тютюнникова и Чередниченко, которые конкурировали с мельницами Сорокина и Мальцева. Все эти хозяева были раскулачены в 1929–30 годах. Я отлично помню всех их еще с 5–8-летнего возраста, когда был учеником школы и музыкантом струнного и духового оркестров.

Все они были заказчиками моего отца – лучшего портного Отрадной.

Сплошной массив фруктовых садов вдоль Урупа был довольно широк. Река подходила к самым садам. Этот массив был разделен на две половины протоками от Урупа к четырем водяным мельницам. Со временем Уруп смыл эти сады. Не стало и самих проток. После войны, в местах, где осталась часть садов, проложили новую улицу, которая теперь упирается в бывшую площадь напротив старого кладбища, рядом с которым находился маслозавод хозяина деда Замуры. Он был очень богат и очень скуп. Зимой и летом ходил в рыжих от времени, страшных от заплат сапогах, в таких же заплатанных и перемазанных маслом штанах, в черной промасленной куртке, в черном от сажи кожаном замусоленном картузе. Он был и хозяином и работником на своем заводе. Держал только одного рабочего – моториста на дизеле, а все остальное по выжимке подсолнечного масла делал сам. Был он в станице своеобразным пугалом. «Не плачь, а то дед Замура идет». Свою семью держал впроголодь. Его сын Шурка учился со мною в школе. Однажды, не вытерпев, сбежал из дома. В конце концов попал в армавирскую тюрьму. Замура и его жена, после раскулачивания во время голода 1932 года, умерли.

Про его богатства все знали, но никак не могли обнаружить захоронения ценностей. Во время войны завод был взорван.

На этой бывшей кладбищенской площади, которая была также и отличнейшим пастбищем для телят и свиней, построили потом камнерезную фабрику, и площади не стало. А раньше она отлично просматривалась с высоты горы, с которой была видна и ярмарочная площадь, раза в четыре больше кладбищенской, отделенная от центра второй речкой – Тегинь, за мостом которой и начиналась ярмарочная площадь. На этой площади проходили знаменитые ярмарки, которые длились по нескольку недель. Товар привозили со всего района и от соседей из Невинномысской, Урупской, Лабинской, Баталпашинской.

До войны на этой площади был один магазин и располагалось «Заготзерно» с тремя-четырьмя сараями-ссыпками, посередине было место выпаса телят и гусей, а украшением этой площади была знаменитая паровая мельница Айвазова, так она называлась в отличие от водяных мельниц, потому что круглогодично были слышны «ухи-вухи» большого вертикального дизеля с огромным маховым колесом семь метров в диаметре, которое наполовину уходило в специальный разрез в полу машинного зала, не очень быстро крутилось, нагоняя ветерок от вращения, защищено было барьером, чтобы никто не свалился случайно в его разрез.

С другой стороны этой ярмарочной площади был второй маслозавод – хозяина Сазонова (он-то и стал вторым мужем моей тетки). После раскулачивания они уехали в Абхазию, а на базе этого маслозавода сделали первую в Отрадной МТС.

Мельница Айвазова долгое время была настоящим украшением ярмарочной площади. Большое красно-кирпичное трёхэтажное здание в два корпуса выделялось на фоне пустыря. После раскулачивания ее передали организованному в Армавире «Мельтресту», она долго работала как госпредприятие. Перед мельницей была обширная площадь, покрытая булыжником. Здесь очередь мукомольщиков была намного больше, чем у мальцевской мельницы, так же былолюдно и шумно.

Направо, на север, за мельницей, начиналось шоссе на Армавир, налево – шло шоссе на Спокойную. Это был самый оживленный перекресток. За пустырем, на север, стояла частная ссыпка из красного кирпича, которую почему-то называли магазин с ударением на вторую букву «а». Этот магазин после коллективизации разобрали на кирпичи, хотели построить в Отрадной Народный дом. Только после войны на том, заложенном еще в 1929–30 году, фундаменте, несколько переделанном, построили в станице гостиницу или промкомбинат, который функционирует и сейчас. Ярмарочная площадь после войны перестала существовать. На месте бывшего базара сделали павильон для сельхозвыставки. Бывшее «Заготзерно» теперь застроилось, построили автовокзал, насадили аллеи деревьев, всю площадь-выгон застроили разными хозяйственными и другими постройками. Вместо одного магазина там стало их не меньше пяти.

В здании айвазовской мельницы расположена семенная лаборатория. И узнается это когда-то высокое красно-кирпичное здание только по шоссе, круто поворачивающему на север.

На Отрадненской ярмарочной площади во время революционных праздников устраивались скачки, или соревнования казаков по всем видам конно-военного спорта. Это зрелище можно было наблюдать все годы до начала коллективизации, когда не стало ни хороших лошадей, ни настоящих казаков-джигитов: лошади были обобществлены в колхозное стадо, а самих казаков на север и в калмыцкие степи разогнали.

Во все времена на Кубани была одна трудноразрешимая проблема – проблема топлива. Печки в домах топили кто чем мог: шелухой от семечек или отходами от конопли (костра), собирали разный хворост, покупали солому, делали кизяки.

До войны почти половина станицы была из хат, исключение составляли несколько зданий школ, дом старой почты и райисполкома, который был в бывшем здании старого кредитного товарищества. Эти здания были кирпичные. Старый домик, бывший во времена моей пионерии, где мы дежурили как пионеры, избы-читальни, где после был райземотдел, затем райколхозсоюз, стал потом детской музыкальной школой (ныне школа искусств).

Уже ставший старым красивый парк (перекресток улиц Красной и Первомайской) с памятником 100-летию Отрадной украшает центр станицы. Красив и чист этот центр, и трудно даже представить себе, что когда-то здесь была, как говорят, тусовка для молодежи – знаменитый отрадненский бетон, так его тогда называли, – этот единственный на всю Отрадную кусочек бетонированного тротуара, где по вечерам толпилась отрадненская молодежь до киносеанса и после.

Массовой в те времена в Отрадной была художественная самодеятельность: хор, драмкружок, духовой оркестр. Я до сих пор помню фамилии некоторых руководителей оркестра: Г. Дмитриева, Кияшко, С. Ильина, Г. Еремина, братьев Помазовых, М. Вайцера, А. Баканова и др. Помню эстрадного самодеятельного артиста Н. Остроушко, который с большим успехом исполнял на сцене рассказы М. Зощенко и певца-баритона отрадненского жителя Савина. Из этих замечательных артистов вырос поистине талантливый человек, которого знают все в Отрадненском районе, – Илларион Сапрыкин.

В Отрадненском парке на Аллее Героев есть портреты семи Героев Советского Союза, среди них есть портрет Николая Сулина, которого я помню как активиста-комсомольца тридцатых годов. Он был известен всей Отрадной. И в какой еще станице Кубани есть аж семь Героев Советского Союза!

[Из переписки с отрадненскими пионерами]

В 1961 году, в апреле, я получил удостоверение почётного пионера дружины и приглашение на слёт дружины пионерского отряда №2 начальной школы №24 в станице Отрадной, Краснодарского края, который состоится 16 апреля 1961 года в помещении школы. В этой школе я учился с 1924 по 1928 год, окончил 4 класса. Так вот, пионерская дружина им. В.И. Ленина этой школы (тогда она была школа №1, а теперь №24) решила создать летопись пионерской организации школы со дня её возникновения до настоящего времени. При помощи учителей-пенсионеров, обучавших в то время первых пионеров, дружине удалось выявить список всех пионеров того времени отряда №2, пионером которого являлся и я. Совет дружины отряда прислал мне вместе с приглашением и пионерский галстук, и просили приехать на этот слёт, но мне не удалось приехать – была подготовка к большим гастролям нашего театра, и меня просто не отпустили с работы. Все-таки не так близко Магадан и Кубань... Я послал пионерам письмо извинительное, послал им немного книг для отрядной библиотеки, которую посоветовал им начать собирать, а через год – во время отпуска – я привез им горн-сигналку и барабан с палочками и ещё книг. Впоследствии, у меня с отрядом была длительная и долгая переписка, я им всё время посылал книги для отрядной библиотеки.

И вот в связи с этим я вспомнил, как в одном концерте, который делался силами взрослой самодеятельности в станице Отрадной (был большой хор, струнный оркестр и хороший драмкружок). В струнном оркестре, которым руководил мой отец (4-х струнные домры) я играл на домре-пикколо. Все музыканты были взрослые, и был один наш учитель Н.Ф. Сиричук. Он сидел в оркестре рядом со мной, а мне было всего 10 лет. Я был маленького роста

и худенький, но играл я на домре отлично.

Отец купил балалайку в 1921 году и показал мне как играть «Во саду ли, в огороде» – и на этом все мои уроки музыки кончились, дальше я сам учился. У нас дома были свои инструменты: гитара, мандолина, балалайка, и даже цитра была. Отец в молодости был участником «Великорусского оркестра балалаечников» под управлением Дедзиолло – такой оркестр был на Кавказских Минеральных Водах в Кисловодске в 1912 году, где отец работал портным у хозяина Робакидзе (передо мной фотография отца в форме «русского молодца» с балалайкой и надписью). Кроме того, отец был и руководителем «светского хора». В отличие от хора церковного, так тогда (в 1926-28 году) назывался самодеятельный хор в Отрадной.

Пел отец хорошо, и мать пела в хоре, и вообще, у нас в семье все, мы дети – нас было четверо – все играли на инструментах наших, а сёстры обе пели – у них были хорошие голоса. Я с братом – были безголосые, не пели.

Но я был активным членом школьного драмкружка, и в оркестре был одним из лучших музыкантов, несмотря на свой небольшой возраст. Так вот в одном концерте, не школьном, а «взрослом» – сцена была в нашей школе, тогда ещё не было домов Культуры – у нас была только изба-читальня, но сценической площадки там не было. Так вот я принимал участие в этом концерте и отлично помню, как я читал со сцены, выступал, как тогда было принято говорить – читал стихи, автора не помню, но последние строки помню:

*«И пять ночей в Москве не спали,
Из-за того, что Он уснул...
И был торжественно печален
Луны почётный караул...»*

Эти стихи назывались «На смерть В.И.Ленина», а кто написал – не помню...

Но я отлично помню, какой успех у меня был. Мне долго аплодировали и вызывали на бис... Конечно, я в школе был героем дня после этого концерта. Надо всем помнить, что это было в 1926 или 1927 году – всего десять лет от прошедших событий, революции и войны... Помню также, как я с успехом выступал на сцене в детском спектакле «Галстук пионера» (пьеса Неверова) где я играл беспризорника Ваньку Визгряка, который из беспризорников стал отличным пионером (об этом была пьеса). Спектакль ставили в нашей школе и участвовали в нем ученики нашей школы № 1. Как много прошло времени, а я всё отлично помню – тогда мне было 10 лет, а теперь 70!

Сам начал я учиться играть на балалайке, потом научился на мандолине, гитаре, и в 11 лет я уже играл во взрослом духовом оркестре, сначала на альту, потом на трубе. Так что в свои 20 с лишним лет, на Колыму меня привезли уже, можно сказать, немного опытным, подготовленным, хотя и самостоятельно, но каким-то музыкантом. Как меня гитара спасла от голодной смерти и что такое духовой оркестр в лагере – я напишу отдельно, ниже...

Получив приглашение приехать на слёт отряда первых пионеров – я не смог поехать, и написал пионерам вот такое письмо:

Дорогие ребята, дорогие пионеры!

Поздравляю вас всех с праздником 1-го мая и желаю от всей души всему вашему отряду пионеров больших успехов в учёбе, хорошего здоровья и бодрого духа! Будьте всегда готовы к учёбе, труду и всему, чему учат вас старшие ленинцы. Большое вам всем спасибо за ваше внимание, которое вы проявили ко мне вместе с вашими учителями-пенсionерами и старшими товарищами. Было очень давно, когда я действительно был пионером того первого отряда пионеров, который в то время был действительно первым отрядом и в нашей школе, и в нашей станице Отрадной. Я очень хорошо помню, как наш отряд под руководством старших комсомольцев и учителей, для того чтобы привлечь побольше желающих записаться в отряд пионеров в нашей школе (в то время № 1), – ставил пьесу Неверова, которая называлась «Галстук пионера». В этой пьесе рассказывалось о том, как несколько мальчиков-беспризорных (которые стали беспризорниками после Гражданской войны) записались в пионеры и стали примерными и пионерами и учениками школы, после того как ребята-пионеры рассказали и показали им, что такое настоящие пионеры.

Я в этой пьесе играл роль мальчика-беспризорника «Ваньку Визгряка» (вот видите, до сих пор помню его имя), который из беспризорников стал хорошим учеником и примерным пионером.

Учился я всегда хорошо, что было особо отмечено в моём удостоверении об окончании школы, и всегда был одним из самых активных пионеров. В то время у нас в ст. Отрадной был хороший большой струнный оркестр домр, в котором я, тогда совсем маленький мальчишка (я был маленького роста), – вместе с учителем школы Н.Ф.Сиричуком (теперь он пенсионер) – играл в том оркестре на домре. В нашем пионерском отряде я вместе с другими ребятами, членами редколлегии, всегда делали очень хорошую стенную газету: собирали и сами писали заметки, рисовали карикатуры и следили за тем, чтобы ребята, которые попали в стенгазету, не срывали заметки, не портили стенгазету. Помню до сих пор первую нашу учительницу в первом классе Наталию Михайловну Гуренко, а потом – с третьего класса, у нас была Ефросинья Александровна Шевернова (она приехала к нам из г.Чернигова). Кроме того, я, в числе других ребят-пионеров нашего отряда, был самым активным книгоношей, и всё свободное от уроков время, и днём и вечером, ходил по нашей Отрадной с лотком, на котором у меня были разные книги, которые нам давали для продажи. За активное распространение книг меня магазин премировал годовой подпиской на газету «Пионерская правда».

Очень часто мы со своими лотками с книгами ходили и на базар и там их продавали, и не пропускали ни одного общего какого-нибудь собрания или митинга, всегда там были со своими лотками. В то время у нас в Отрадной ещё не было клуба или дома культуры, а была только Изба-читальня, которая помещалась в том здании, где сейчас в Отрадной милиция. Для определения количества граждан, посещающих избу-читальню, нас, пионеров, посылали туда дежурить, где мы сидели и записывали в тетрадку по особым графам всех посетителей избы-читальни: возраст, профессию, мужчина или женщина, по какому вопросу пришел в избу-читальню и др. Как в поощрение за эти дежурства, нас, пионеров, возили на экскурсии в г. Армавир, где нам показывали радиостанцию, пуговичную и ватную фабрики, стекольный завод, где мы видели, как в то время мастера выдували бутылки разные... Кроме того, наш отряд принимал активное участие по уборке школьного огорода, который в то время был при нашей школе. В одно лето, забыл в каком году, я сам собрал большой гербарий, сделал его и подарил нашей школе – он был самый лучший и долго хранился в школе. Я собрал все травы и злаки, и листья со всех деревьев нашей станицы. Был я горнистом в нашем отряде, всегда играл сигналы на сбор нашего отряда. После, когда я уже стал комсомольцем, играл на трубе в Отрадненском оркестре, а в настоящее время я работаю в Магаданском областном музыкально-драматическом театре, играю в оркестре на трубе.

Я очень люблю книги и поэтому послал вам несколько книг нашего Магаданского издательства, которые не везде можно купить, и советую вам, ребята, начать собирать БИБЛИОТЕКУ вашего отряда. Пусть эти книги будут «первым вкладом» в фонд вашей «Отрядной библиотеки»...

В этом году, во время отпуска, в июле-августе месяце, я приеду в Отрадную и привезу для вашего отряда хороший горн и барабан.

Большое спасибо вам за приглашение на сбор отряда 16 апреля, но ввиду того, что Магадан далеко от Отрадной, я не смог приехать, а потому прошу извинить меня за неявку на сбор!..

А пока, дорогие ребята, до свидания. Спасибо за то, что вспомнили о старых пионерах, ещё раз желаю вам всем больших успехов в учебе и труде, хорошего здоровья. Желаю вам быть самыми примерными помощниками комсомола и настоящими ленинцами!..

Передайте мою благодарность и привет всем учителям-пенсionерам, которые помогали вам разыскивать нас, первых пионеров вашего отряда.

До скорого свидания, дорогие пионеры!..

С уважением, Смирнов Н.П.

Магадан, 20 апреля 1961 г.

К открытию слёта отряда я послал телеграмму: «Дорогие пионеры! Юбилейный сбор вашего отряда проходит в исторические дни завоевания космоса советскими людьми!.. При-

мите мой горячий привет первого пионера вашего отряда и пожелание быть достойными ленинцами в жизни и учёбе, которые прославят нашу Родину в будущем, как Юрий Гагарин. Очень жалею, что не могу приехать на слёт, но я всей душой и сердцем с вами, мои дорогие юные друзья. Смирнов. Н.П.»

Как я уже написал, барабан и горн я им привёз и посылал несколько раз книги. Переписка с отрядом продолжалась долго, лет десять... Старые учителя ушли, а новым это стало не интересно, и как-то само собой все прекратилось. Присланный мне пионерский галстук я регулярно одеваю в дни пионерских торжеств в мае месяце каждого года, когда в Москве на Красной площади проводятся торжества Всесоюзной пионерии, и пою песню «Взвейтесь кострами синие ночи»...

РСФСР
Министерство Просвещения
Отраденская начальная школа № 24
23 марта 1961 г.
ст. Отрадная
Отраденского района
Краснодарского края

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ
Николай Прокофьевич!

В 1924-1926 годах Вы являлись пионером первого пионерского отряда № 2 начальной школы № 1 (ныне № 24) станицы Отрадной, в которой в это время учились.

Пионерская дружина имени В.И. Ленина нашей школы решила создать летопись пионерской организации школы со дня ее возникновения до настоящего времени. При помощи учителей-пенсionеров, обучавших в то время первых пионеров, дружине удалось выявить список всех пионеров отряда № 2.

Нам очень хочется встретиться с первыми пионерами нашей школы, увидеть тех, кто шагал под знаменем первого пионерского отряда, кто помогал партии и советскому народу строить социализм в нашей стране.

Ждем Вас, дорогой товарищ, на сбор дружины, посвященный встрече двух поколений.

Сбор состоится в помещении начальной школы № 1 (теперь № 24) станицы Отрадной, Отраденского района, Краснодарского края 16 апреля 1961 года в 14 часов по московскому времени.

Мы надеемся, что Ваше горячее пионерское сердце приведет Вас на этот сбор. Не считайте за труд прислать свою фотокарточку.

С пионерским приветом: председатель совета дружины Коля Петров.

Члены совета дружины: Тома Сапрыкина
Таня Саварец
Наташа Фомина
Таня Золотарева

2.

ВЫПИСКА

из решения совета дружины имени В.И.Ленина при Отраденской начальной школе № 24 от 16 апреля 1961 года.

СЛУШАЛИ:

О принятии почётными пионерами дружины.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять почётными пионерами дружины

Тов. Смирнова Николая Прокофьевича, первого пионера школы.

СОВЕТ ДРУЖИНЫ

3.

РСФСР
Министерство Просвещения
Отраденская начальная школа № 24
6 мая 1961 г.
ст. Отрадная
Отраденского района
Краснодарского края

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ
Николай Прокофьевич!

Спешим поделиться с Вами нашими пионерскими делами. 16 апреля 1961 года наша дружина встретилась на торжественном сборе с первыми пионерами нашей школы: Полькиной Сусанной Гавриловной, Белоусовым Леонтием Максимовичем, Мальцевой Клавдией Дмитриевной, Бердниковым Андреем Гордеевичем, Новосельцевой Надеждой Васильевной, Мальцевой Александрой Дмитриевной, Кудриной Александрой Фёдоровной и Белоусовой Прасковьей Максимовной, а также с одной из первых учительниц Домникией Степановной Сиричук.

Сбор прошёл очень торжественно. Играл духовой оркестр. Всех первых пионеров совет дружины принял почётными пионерами дружины. Было много гостей: от РОНО, от райкома ВЛКСМ, от Дома пионеров, от районной газеты, были родители, вожаки из других школ.

Зачитывали Ваше письмо и письма Прасковьи Фёдоровны Белоусовой (Михайловой) из Ленинграда; Петра Сергеевича Косенко из Москвы; Ксении Петровны Двужиловой (Кузнецовой) из Туркмени; Михаила Карповича Карпенко из Сухуми.

К 1 мая наша дружина насчитывает 130 пионеров. Из них 14 почётных пионеров. В дружине пять отрядов. Учатся на «отлично» 30 пионеров, на «хорошо» и «отлично» – 76 пионеров. Неудачников нет. Собрали ... металлолом. Обкопали и посадили в парке и в школьном саду ... деревьев. Имеем пришкольный огород. Помогаем Дому пионеров на его земельном участке. Дано 7 концертов для трудящихся станицы. Создана при школе целая «третьяковка» из 250 репродукций.

Надеемся, что Вы не прекратите с нашей дружиной переписки. Будем с нетерпением ожидать Вашего ответа.

С пионерским приветом, Совет дружины:

Коля Петров

Наташа Фомина
Таня Саварец
Тамара Сапрыкина
Таня Золотарева

4.

РСФСР
Министерство Просвещения
Отраденская начальная школа № 24
21 октября 1961 г.
ст. Отрадная
Отраденского района
Краснодарского края

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ
Николай Прокофьевич!

Пионерская дружина начальной школы № 24 станицы Отрадной приняла решение организовать выставку «Пионерские умелые руки».

Совет дружины просит Вас принять участие в этой выставке и прислать какое-либо изделие (картину по живописи, рисунок по графике, скульптуру, работу по столярному делу, металлу, рукоделию, вышивке, шитью, выпиливанию, выжиганию, по бумаге, моделирова-

нию, цветному фото и т.д.), сделанное вашими собственными руками в любые годы Вашей жизни после вступления в пионерскую организацию нашей школы, в которой Вы состояли с 1927 года по 1928 год.

Экспонаты направляйте по адресу:

Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная,
начальная школа № 24, Совету пионерской дружины.

Совет дружины.

5.

Здравствуйте, многоуважаемый наш первый пионер Николай Прокофьевич!

С горячим приветом к Вам пионерская дружина ст. Отрадной!

Дорогой наш Николай Прокофьевич! Большое Вам спасибо за дорогой подарок и такое хорошее, хорошее письмо. Вашу телеграмму и письмо мы читали на школьной линейке. Мы гордимся Вашей благородной работой. И по карте отметили Ваши гастроли. Как бы хотели мы посмотреть ваш спектакль.

Дорогой Николай Прокофьевич! Ваши книги и вырезки нам очень и очень нужны. Большое Вам спасибо за Ваше беспокойство.

Дорогой наш друг! У нас заканчивается учебный год. Все пионеры в году старались учиться на совесть. По всем отрядам на отлично закончили 76 человек, очень много хорошистов и очень обидно, что 3 человека остались на второй год.

Дорогой Николай Прокофьевич! Оканчивая 4-й класс, нам очень жаль расставаться с нашими учителями, со школой. 31 мая у нас будет выпускной вечер. Прилетайте, пожалуйста. У нас в Отрадной сейчас очень хорошо, тепло, вокруг яркая зелень, птицы поют. На всё лето для нас в школе наши учителя организовали комнату отдыха, где мы будем играть, и будем ходить на Уруп загорать и купаться.

Приезжайте к нам!

С горячим пионерским приветом к Вам,

Пионерская дружина НШ № 39 и наши учителя.

28/V-65 г.

[О домашней библиотеке, пионерах и книгах]

Свою библиотеку я начал собирать-покупать с 1954/56 годов, когда начали у нас издавать все хорошее, и продолжал до 1985 года. Особенно много книг я приобретал на гастролях театра по Приморскому и Хабаровскому краям, по городам Камчатки и Сахалина, приносил работницам книжных магазинов контрамарки на спектакли наших оперетт, а я имел возможность это делать — на гастролях был замдиректора и гл. администратором, а театр наш имел огромный успех во всех городах, где мы были, — и мои контрамарки всегда были для работниц книжных магазинов, как говорят, «слаще мёду», и они с удовольствием выполняли все мои заказы. И я всегда по окончании гастролей домой привозил по два-три ящика самых дефицитных, специально мне оставляемых книг. Я не брал Марковых и Коптяевых и других зашоренных и идейных писателей, потому что я уже тогда не видел ничего в них хорошего, и всегда критически относился к разным идейным. Таким образом, до 1985 года у меня сложилась моя библиотека, примерно без полутора сотен 3000 томов, и полные собрания сочинений я также не все собирал, например, М. Горького я совсем не признавал уже тогда... Короче говоря, у меня книги только хорошие, как раз те, что теперь на вес золота, но тоже не подряд, а только очень хорошие. Из переводных — тоже не что попало, а только самое-самое. Л. Фейхтвангер у меня 12 томов — разных изданий, Агата Кристи, Т. И. Г. Манн — тоже по несколько томов — их ведь тогда не издавали полными собраниями сочинений, в общем, я выбирал, и только хорошие...

Много из серии «Жизнь замечательных людей», из библиотеки военных, шпионских приключений, военных мемуаров, как немецких, так и наших военных, специальные поэтические издания «Библиотека поэтов», основанной М. Горьким — книжечки малого формата, редких книг вроде «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика, много с дарственными надписями

авторов, особенно дальневосточных, которые в магазинах делали надписи, стоя за прилавком магазинов, короче, ценная библиотека. Я мало у кого видел такие «собрания». Ведь была мода в те времена; а у нас в театре соревновались, кто больше и кто лучше собирает себе личную библиотеку. Так вот, моя была одной из самых лучших — почему была, она и сейчас есть!..

А детей у нас нету, из моей фамилии один я остался — Катюнина родня, из оставшихся — им книги до лампочки, хороших знакомых у нас не осталось. У нашей подружки Светланы, с кем мы в Магадане жили около 30 лет одной семьей, её муж Акимов был мой друг и дирижер театра (уже умер), а библиотеку я и он начинали собирать в одно время, и я всегда всё покупал в двух экземплярах, и он так же. Так вот — у Светы своя библиотека не хуже моей, но у нее есть дети, а у нас — никого... Дарить библиотеку Отрадненским пионерам не хочу, так как её растянут — пионеров теперь нет и у меня из родни никого нету...

Вот я и думаю, а что мне с нею делать? Куда книги девать? Дарить некому, продавать — а кто её купит, сейчас вон по 3000-5000 рублей в красивых обложках, вроде тех, что купили твои дети — ты как-то писал мне об этом — так таким покупателям вон сколько этой макулатуры. Кстати, половина этих «новинок» у меня есть в старых изданиях, тогда они были по 2-3 рубля, не дороже...

Вот я и думаю — что же мне с моими книгами делать?

Вот проблема № 2 для меня. Жаль, что ты не видел моих книг...

Совета не прошу, потому что все варианты разрешения этой проблемы я уже отработал...

ooo

В конце своего повествования хочу просто от чувств, переполняющих мою душу, сказать: уж если хвалить кулику свое болото, то надо хвалить его до конца, что я и сделал.

Правдивая история жизни Жоры Лизогубова

«Всё живое особой метою

Отмечается с давних пор...»

То, о чём я сейчас пишу — это самая правдивая история жизни с самого детства Жоры Лизогубова — моего дружка-товарища, как говорят «по воле и по несчастью». И применительно к нему строчку стихотворения Есенина — «отмечается с давних пор» — я переименовал бы в таком варианте: «отмечается с детских лет». Для этого есть основания, и я постараюсь как можно подробнее описать его самую начальную — с детских лет и до последнего дня жизнь и оправдать своё намерение в перемене этой строчки. Ясное дело — Есенин не имел ввиду Жору, но мне придётся хоть как-то оправдать своё желание, как говорится — «в силу своего умения»...

В самом раннем детстве Жора лишился своих родителей — и матери, и отца, и именно с раннего детства он уже «был отмечен» — жил на правах бедного родственника у сестры своей матери Карпенко тётки Саши. Муж её во время Гражданской войны служил в войсках ОГПУ и после «смутного времени» прибыл домой, в нашу Отрадную, и работал в органах ОГПУ-НКВД, а потом председателем СельПО и начальником Райпотребсоюза, там же, в Отрадной. Своих детей у них не было до того времени, пока Жору не женили. Он был у них приёмным, вроде сына, но без усыновления.

Василий Карпенко — муж его тётки — не был отчимом Жоры, но относился к нему очень хорошо. Тётя Саша считала его за сына, любила его, и как могла, старалась заменить Жоре родную мать, на что Жора отвечал им самыми тёплыми чувствами души, слушался обоих своих покровителей во всем и в их семье никогда не было ни одного случая какого-нибудь хоть маленького непонимания или раздора. Сам Карпенко работал в настолько престижном учреждении, как ОГПУ, которое тогда было настолько же грозным. Младший брат Василия-огэпеушника Никифор был музыкантом, играл в Отрадненском оркестре на басу, и Жора с ним нашел общий язык и стал учиться играть на трубе, и на этой почве они были уже друзьями. Никифор призван был в армию, служил в Сухуми в полковом оркестре, куда в своё время пошел до призыва служить и Жора, и так в Сухуми и отслужил свою службу в полковом

оркестре. Вот так мы жили в своей Отрадной с первых дней нашей жизни, которая в то время только начиналась в стране после Октября. Мы ведь родились за год-два до наступления новой жизни, и Жора был самым обыкновенным новым человеком того нового времени, и той новой жизни, и он, также как и все из новых людей того времени никогда не знали о том, что им придётся когда-нибудь быть в ответе за своих родителей, потому что родители оказались не те, которые должны были быть при новой жизни, в том новом времени. И когда установились «критерии» – те родители или «не те», соответствуют ли они новому времени и новой жизни или не соответствуют – очень многим из них пришлось-таки по-настоящему терпеть и переживать неприятности и невзгоды на протяжении всей жизни, до самого конца, и так и не узнать – за что же, за какие грехи их жизни были исковерканы начисто... Как могла быть плохой биография у человека, родившегося вместе с новым временем, чтобы в дальнейшей новой жизни ему не пришлось бы быть каким-нибудь «меченым особой метой»?.. А только так, именно так и было в жизни Жоры, с самого детства до последних дней. Он умер, так и не узнавши всей настоящей правды. Умер он в 1987 году, когда всему человечеству стало известно очень многое, а про нашу «новую жизнь» – особенно...

Мы с ним, как и все в то время, начинали свои биографии с новой школы, в новом времени – с 8-ми летнего возраста, это было и для нас и для всех самым радостным временем, как у начинающих школьников, потому что учение в школе тогда было объявлено обязательным, что, кстати сказать, было принято всеми особо хорошо, даже с каким-то энтузиазмом и радостью. Родители были рады не меньше самих учеников, а ученики, такие как я и Жора, от радости, что будем ходить в школы, были на седьмом небе... Незабываемая пора нашей прошлой жизни, до сих пор всё отлично помнится... Откуда причина той радости?..

Может быть, потому, что школ больше стало, или потому, что всем, буквально всем детям, можно было просто прийти и записаться в любую, самую близкую к дому школу, без всяких выяснений «родословной» или принадлежности к любому сословию, как тогда говорилось, имелось ввиду – казак или иногородний, верующий или не верующий в Бога, чиновник или мещанин – ведь такое тогда время было «пока хорошее», до известного года, о чем будет написано дальше...

А пока наступила новая эпоха в жизни страны, и всё новое с первых дней продолжало расти вместе с людьми – это диктовалось самими условиями новой жизни, новой политики и нового бытия... Старые школы все сохранились, и вместе с новыми их, может быть, стало и чуть больше, действовали, и все учителя старого времени – всех 4-х классов школ – также продолжали преподавать, как специалисты самого высокого класса (новые советские учителя ещё не выросли), делали своё преподавательское дело на высшем профессиональном уровне умело и добросовестно. Ведь недаром все наши сверстники до сих пор помнят, и очень хорошо, своего первого учителя или учительницу, которые оставили в памяти самые светлые воспоминания, которыми и сейчас, в наше время нам, старикам, не грешно поделиться с теперешними начинающими первоклашками и их учителями. Мне почему-то до сих пор помнится, с какой охотой мы спешили в школу с сумками – тогда ведь не было ранцев и портфелей. У кого не было сумки, а такие бедняки были, носили тетрадки и букварь в картонных обложках от старых книг...

А пионерия?.. Отлично помню, с какой радостью все записывались в пионеры, какое это было большое событие – стать пионером-ленинцем. Так, и только так, мы себя называли – считали пионерами-ленинцами. С каким необыкновенным чувством превосходства перед остальными, носили мы пионерские галстуки, и как самозабвенно пели хором любимую пионерскую песню «Журушка-журавель», который до вступления в пионерский отряд «бил кошек и собак, настоящий был босяк», а став пионером, сразу стал самым примерным и дисциплинированным школьником... А сколько было пролито слёз теми учениками, которым родители не разрешали записываться в пионеры...

И как они всё же тайно, но становились пионерами, а чтобы родители не увидели их галстуков, они их отдавали на хранение друзьям, которые на следующий день их приносили в школу. А ещё больше было пролито слёз от обиды и лупцовки родителями тех, кого они все же уличали в обмане. Хорошо отлупив своих чад, родители требовали, чтобы пионеры сами заявили о том, что больше они не пионеры.

И мне и Жоре приходилось это видеть и слышать много раз, и также многих ребят утешать,

дружбы с такими пионеры никогда не порывали. Пионерами-ленинцами все проявляли себя до самозабвения, кто как мог, с большой охотой и энтузиазмом показывали это друг перед другом. С каким-то рвением необыкновенным выполняли все заветы пионерской дружины, с охотой участвовали во всех проводимых мероприятиях как пионерско-отрядных, также и общественных: как дежурили в избе-читальне и были книгоношами – продавали с лотков разные книги по станице и детские и для взрослых. В нашей молодой жизни на первом месте была пионерская личная дисциплина на улице, дома и успеваемость на уроках в школе и поведение. Была у нас в школе и своя пионерская стенгазета, был и хороший драмкружок и спорткружок, в котором особо модно было в то время построение пирамид из физкультурников. По команде вожатого – «Делай – раз!» – и кто на колени становился, кто ложился на пол. По команде: «Делай – два!» – кто становился на полу в стойку, кто-то вспрыгивал на колени или на руки поддерживающего, по команде: «Делай – три!» – пирамида все усложнялась, по команде «Делай – пять!» или «Делай – шесть!» – или семь – пирамида всё больше выстраивалась и усложнялась и когда была полностью построена, то с полминуты стояла в мёртвой стойке, в зале все внимание на сцену, раскрыв рты и не спуская глаз с пирамиды все школьники внимательно и восхищенно смотрели на готовую пирамиду, раздавались аплодисменты, все больше усиливаясь. А сами «пирамидчики» с нетерпением ждали желанной команды вожатого, ведь нижнему этажу пирамиды тяжело на себе держать нескольких человек. Звучала команда «РАЗРУШЬ!» и пирамида рассыпалась, кто сверху спрыгивал, кто с рук поддерживающих, кто поднимался с полу, и, хотя и запыхавшиеся от усилий, но всё равно довольные и радостные. Немного отдохнув, приготавливались к построению следующей пирамиды, ожидая новой команды: «Делай – РАЗ!». И так за вечер, под продолжительные аплодисменты, физкультурники «выдавали» по пять-шесть пирамид. Родители учеников и пионеров всегда охотно приходили на наши своеобразные концерты – их всегда было больше в зале, чем учеников, время – то было новое – всё это было тогда впервые. Где, когда и кто слышал раньше про какую-то самостоятельность в начальных школах, в сельской местности особенно?..

Тогда ведь кроме хорового пения и молитв во время уроков закона Божьего ничего детям не прививалось и не рекомендовалось, а на Кубани, с казачьим укладом жизни, вообще всё новое прививалось с большим трудом. Но жизнь брала своё, а таким, какими мы были в том возрасте, и в той новой жизни и времени, всё было очень интересно. Те дни первых пионеров – вообще незабываемы, они ведь были первыми в стране, потому так долго и помнятся...

А какое счастье было участвовать в школьном драмкружке... «Артисты» ходили такими счастливыми, под собой земли не чуя! И на эти наши спектакли также охотно приходили все, а родителей всё равно всегда было больше, чем школьников. Особенно родители «артистов» часто приводили с собой всю свою родню, которой было великое множество, посмотреть, похвастаться, как, скажем, Коля Смирнов будет изображать на сцене беспризорника Ваньку Визгряка в спектакле «Галстук пионера» по пьесе Неверова. Этот спектакль в нашей школе ставился несколько лет подряд – по два раза в год. Беда была в том, что в то время было очень мало пьес, созвучных эпохе. Время то новое, и современных пьес ещё не было, а старых вообще не было никогда. В то время и у взрослых, у интеллигенции, как тогда принято было говорить была сильная драматическая самостоятельная труппа, которая пользовалась большим успехом у жителей Отрадной того времени, в составе которой были конечно же учителя, служащие разных учреждений: почты, банка, землемеры, жены работников партийного и профсоюзного аппарата.

Как сейчас помню – работник райкома партии ОСТРОУШКО был прекрасным чтецом юмористических рассказов модного в то время Зощенко, и был активнейшим артистом драмкружка, всегда на главных ролях. Своим примером, как бы призывал жителей станицы смелее и дружнее приобщаться к новой жизни, что в то время, да ещё на Кубани, со своей спецификой казачьих привычек и уклада жизни, делать было нелегко. Нелегко, потому что новое время только начиналось, и подавляющее большинство населения всей страны, не только Кубани, находилось ещё в большом недоумении в произошедших переменах в жизни и, откровенно говоря, мало верило в «новую жизнь», находилось всё ещё «при старых взглядах»... Но, несмотря на это, именно интеллигенция и была предвестником новой жизни и активно участвовала во всем, что по тогдашним временам было самым необходимым в культурно-просветительной работе. Ещё раз повторяю, что до наступления того самого

ГОДА, в нашей станице, да наверное и по всей стране, самодеятельность во всех её проявлениях, была главной опорой работников КультПросветРаботы (такой инструктор тогда был в каждом Райкоме ВКП/б/, возглавлявший этот Культпросветотдел). Везде успешно работала эта «армия культпросветителей», выступления «Синей блузы», разных драматических кружков, «светских хоров», называемых так в отличие от хоров церковных, которых было очень много. И эти церковные хористы с большим удовольствием выступали на всех мероприятиях на равных с хористами светских хоров, что никогда не считалось каким-то нарушением «социалистического реализма», а потому и считалось, как само собой разумеющимся. Со стороны культпросветаппарата не было никаких возражений и даже поощрялось. И также охотно посещались жителями станицы все концерты, спектакли, выступления «Синей блузы» – каждое такое «мероприятие» в те времена было как событие. Успех был колоссальный, что способствовало поднятию ещё большей активности той самой интеллигенции, которая как-то негласно, но вовлекала в свои ряды и жителей не интеллигенции.

В нашей школе был и струнный оркестр, в основном состоявший из учителей, но я также состоял в нём (был самый маленький – 8 лет мне было). Уже в то время я отлично играл на мандолине, а в оркестре был солистом на домре-пикколо. Сидел в оркестре рядом с нашим учителем СИРИЧУКОМ Николаем Федоровичем, который играл на домре альт и страшно мне завидовал, часто открыто об этом говорил мне вслух – он слабо играл на альту, но всегда относился ко мне очень хорошо. Кстати, в школе я был один из первых учеников по успеваемости, и меня всегда учителя ставили в пример другим, а СИРИЧУК особенно, хотя он и не учил меня – я был в классе учительницы ГУРЕНКО Наталии Михайловны (уже в то время ей было более 50-ти лет).

Жора в струнном оркестре не принимал участия, я же играл и в духовом оркестре, и вместе с ним успевал. Жора принимал участие и в «Синей блузе», там были комсомольцы старшего возраста, те самые, первые комсомольцы нового времени. Как музыкант духового оркестра я иногда тоже принимал участие в постановках «Синеблужников-профсоюзников», как их тогда называли. Но все-же мы были молодыми парнями, и ничто нам не было чуждо. Летом мы, как и все мальчишки, пропадали целыми днями на Урупке – на нашей любимой речке, купались и рыбачили, и футбол гоняли по пустырям и убраным огородам, а зимой катались с горки на санках, и конечно же гоняли по замерзшим лужам и на некоторых местах Урупа на коньках, как все ребята. Но, несмотря на это, и я, и Жора, музыку не забывали.

В школе Жора учился тоже хорошо, был примерным учеником по «всем показателям», т.е. был самым настоящим новым человеком того нового времени, жил у родной тётки Саши Карпенко и её мужа Василия Карпенко. В этой семье и начиналась его личная биография – пока ещё – до службы в армии – биография мальчишки-сироты ничем «не запятнанная», которая и после службы в армии также была такою же чистою, и безукоризненною, каковою она была у него и до самой смерти – до 1987 года...

По окончании службы в армии группа музыкантов из Сухумского полкового оркестра, в том числе и Жора, демобилизовавшись, поехали в Москву, как говорится «в поисках лучшей доли» – надо же было приобретать гражданскую специальность, поскольку в армии они были музыкантами и не приобрели армейской, или становиться музыкантами-профессионалами, для чего надо было значительно повышать свою квалификацию, короче говоря, надо было учиться и музыке по настоящему...

Как демобилизованные, были приняты на работу на один номерной оборонный завод, надо же было на что-то жить, чтобы учиться. И работая шлифовальщиком в цехе шлифовки коленчатых валов для самолётов, Жора, без отрыва от производства, поступил на учение к профессору ТАБАКОВУ по классу трубы, который взял его в свой класс, как подающего надежды, способного, хотя и малограмотного в музыкальном отношении бывшего полкового трубача (профессор ТАБАКОВ неспособных к себе в класс не брал).

Его товарищи, прибывшие вместе в Москву, каждый по своему инструменту стал заниматься, а Жора уверенно учился у ТАБАКОВА, в чем преуспел, и через полтора года, несмотря на малый срок обучения, стал приличным трубачом, занятия у ТАБАКОВА даром не прошли. Очень жаль, что пришлось Жоре прервать и работу и учение. Он уже стал приличным шлифовальщиком, хорошо зарабатывал и хорошо научился играть, но вот с этого момента его жизни он и почувствовал на себе эту самую «особую мету»...

Когда он стал отличным музыкантом-трубачом и заимевшим хорошую вторую специальность рабочего-шлифовальщика, кому-то в станице Отрадной он просто не давал покоя, мешал жить. Как же, Лизогубов, да в Москве, да на оборонном заводе, работает и хорошо зарабатывает, да ещё и в таком большом столичном оркестре (при заводе был отличный духовой оркестр «столичного масштаба») играет, да ещё как отличный трубач!.. Неслыханно, недопустимо! И пошла в Москву кляуза, на него беднягу. А там и разбирать ничего не стали или выяснять. Раз с его родины поступили «материалы» – УВОЛИТЬ безо всяких... Вот она, первая ласточка – отметина, начинает давать знать о себе. Уволили...

Приехал опять в Отрадную, и опять к тётке Саше и Василию Карпенко, другого дома у Жоры не было. Он был принят снова в ту семью и, хотя и горько было ему сознавать что «всё поломалось», всё пошло прахом, напрасны были его усилия самому устроить свою жизнь, ничего он не сможет теперь сделать, чтобы восстановиться хотя бы на работе, по теперь уже приобретенной специальности, потому что подходили те самые времена, подходил тот ГОД, в который всё пошло, как говорится «НАПЕРЕКОСЯК» – и за один-два года всё так переменялось, что не верилось в то, что было хорошо всего несколько времени назад. Тот, кто так беспокоился о судьбе таких как Жора – «неблагонадежных», «элементах», наверное этими своими «действиями» в помощь властям, укреплял СВОИ ЛИЧНЫЕ позиции, чтобы как-то самому не попасть в эти «элементы». За счет горя других устраивали свою судьбу таким «честным» путём.

Муж тётки Саши Карпенко был ГЕПЕУШНИК, знал Жорину «биографию» с начала до конца, он никакого участия в его судьбе не принимал, т.е. не старался как то повлиять на события в Жориной жизни своим авторитетом, как-то его защитить, отвести беду от его фамилии, сделать что-нибудь в защиту Жоры. Почему? Наверное, знал, что он ничего не сможет сделать в облегчение Жориной судьбы, точнее знал, и давно, какою «особой метою Жора был отмечен» со дня его рождения, но как потом, через несколько лет стало известно, уже и Жоре и всем, что эта кляуза в Москву, откуда он вылетел точно пробка от шампанского, была той самой точкой отсчета в его судьбе, точка, поставившая точку в его жизни вообще. После той Московской кляузы, до самой смерти Жора так и остался «отмеченным особой метою»...

В нашем Отраденском оркестре Жора, конечно же, принимал самое активное участие. Он после Москвы стал украшением нашего оркестра, как приличный трубач, и его все наши старики-основатели оркестра, участники (в прошлом) торжеств по случаю празднования 300-летия дома Романовых, музыканты, кое-что видевшие в своей жизни – Жору с душой приняли и признали, как отличного трубача, что Жора и оправдывал очень убедительно, профессор Табаков сделал его трубачом с отличнейшей высокой техникой и красивейшим звуком. Наш оркестр по-прежнему был очень уважаем жителями Отрадной и все, конечно же, знали, что Жора как раз и украшает своей игрой весь наш оркестр «районного масштаба». В то время оркестр базировался в Отраденском ОСОАВИАХИМе, куда была «приписана» и фотография, где зав. фотографией того же ОСОАВИАХИМа, был до этого частник-фотограф МАТИЕНКО, куда Жора поступил на работу ретушером. Шлифовальщиком ему не пришлось работать, в Отрадной кроме М.Т.С. тогда не было «производства», а в МТС. не было шлифовального цеха. Так, работая вроде не на оборонном предприятии, всего лишь в фотографии, Жора, ничего не предчувствуя, через некоторое время опять был «неприятно удивлён», когда ему «оборонное предприятие» – «НИЗЗЯ», «ЭЛЕМЕНТ» (чуждый), мало ли кто фотографируется, а вдруг негативы пропадут, а вдруг этот Лизогубов «НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ»?.. А конкретно, в чем именно его «неблагонадежность»? Его вина выражалась с тех и до сих пор неизвестно: когда он до армии играл в нашем оркестре, будучи в армии – тоже был трубачом, в Москве был – тоже был музыкантом и ещё приобрёл специальность рабочего-шлифовщика, и так мало времени – всего около двух лет мог «ощущать» себя настоящим рабочим человеком. За такое короткое время своей биографии в НОВОЙ ЖИЗНИ, как НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – просто ничего не мог сделать, подумать или выполнить что-нибудь, компрометирующее власти, новую жизнь... Играл на трубе он очень хорошо, просто замечательно, тут НОТЫ свидетели, вон они лежат кучей в оркестровке, там никакого криминала не найти, а «нежелательных нот» у нас не было вообще, весь наш репертуар «идеологически выдержан», на уровне... И чего надо было его «друзьям», которым он мешал жить? Но чем же мешал?... Короче говоря, вышибли его из этой ОСОАВИАХИМОВСКОЙ фотографии...

А жизнь, она шла по всем путям и направлениям своим чередом, и всё как будто бы было в порядке. Жора со своей судьбой смирился. Надо сказать про него, что он был вообще, как его называли у нас в оркестре, как «красная девица»... Всегда спокойный, доброжелательный, он никогда никого не обидел, был такой добродушный, как говорится – курицу не обидит, не увлекался картами, как было модно среди тогдашней молодёжи, не курил до взрослого времени, никогда не увлекался и выпивками, ни с кем никогда не ругался, и всегда или утихомиривал, если его слушались, или уходил подальше от скандалистов. Ходил всегда опрятно одетым, был весельчаком, любил и уважал юмор во всех его проявлениях, был компанейским и не жадным. Все, кто его знал и близко и не близко всегда отзывались о нём, как о самом хорошем человеке, в полном смысле этого слова... Я уж думаю, наверное, эти его отраденские «друзья», которым он мешал жить, просто из-за зависти к нему так относились, потому что он своей порядочностью выводил их из себя, не заставляя их смотреть в зеркало на самих себя, поэтому они и искали выхода своему ЯДУ, избрав Жору, как мишень для этого. Прошло много лет, но я до сих пор всё отлично помню и к такому выводу пришел я не без оснований, другого предположения придумать невозможно – ЗАВИСТЬ непорядочных людишек, ЗАВИСТЬ нечестных, мелкодешевков, коптящих небо, жертв аборта, как называли таких Ильф и Петров.

Жил он по-прежнему у тёти Саши. Отношение к нему с её стороны и со стороны мужа не изменялось, хотя и в этом случае сам Карпенко ничего не предпринимал и никак не реагировал в защиту Жоры. Все делалось как-то от него отрешенно, и сам Жора тоже ничего не предпринимал и не думал об этом – как будто бы он знал, что он «особой метой меченый»... Пришлось ему уехать на заработки в сельхозкоммуну «Красное Знамя» – таковая была у нас в районе, в 12-ти километрах от Отрадной, куда он и подался руководителем духового оркестра коммуны...

Ну, вроде всё наладилось, там условия хорошие, коммуна в те времена процветала. Со мною в 5, 6, 7 классах учились несколько девчат и ребят «коммунаров». Они все были одинаково хорошо одеты, обуты, жили в закупленном коммуной отдельном доме, в полном достатке, как говорят – не голодные и ухоженные. Жора там, конечно, наладил оркестр, который с таким трубачом стал неузнаваем. Руководство коммуны было очень довольным таким работающим и хорошим и музыкантом, и человеком. И сам он был доволен своей работой и положением, хотя и говорил, что скучает по Отрадной. Но время шло неумолимо вперед и опять кому-то не спалось, не пилося, не елось, и очередная порция ЯДА была выпущена стрелой в коммуны. Как же так вы там недоглядели и ДОПУСТИЛИ в вашу коммуны «ЭЛЕМЕНТ»? Это-ж-жесть НАРУШЕНИЕ, это-ж-жесть против «ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ»...

Короче говоря, приехал Жора снова в дом тёти Саши, и всё стало на круги своя. Не стал он и на этот раз ничего предпринимать, смирился со своим «клеимом». И тут его устраивают на работу руководителем оркестра и зав. Домом Культуры, вместо снятого с работы заведующего, (который проработал немного, всего с год или полтора) за то, что он скрыл судимость в прошлом...

В то время в нашем ДК был отличный драмкружок. Участники почти все были отличными самодельными артистами, как мужчины, так и женщины, был у нас и хороший режиссёр – профессиональный артист, который умело руководил нашим драмколлективом. Нашим артистам по силам были такие спектакли как «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК», «НА БОЙКОМ МЕСТЕ», сцены из «СОРОЧИНСКОЙ ЯРМАРКИ» – это «крупные постановки». Также были в нашем репертуаре почти все, выпускаемые в то время скетчи и одноактные пьесы, рассчитанные на кружки самодельности. Наши постановки пользовались большим успехом у отраденской публики. Работа ДК была, как говорят, всем видна. Отличный духовой оркестр под руководством Жоры тоже пользовался большим успехом, а Жора, как трубач, всё больше приобретал почитателей и ценителей. Всегда о трубаче Жоре много говорили, особенно среди молодёжи и, конечно же, среди самих музыкантов. Было какой-то установившейся традицией, регулярно по субботам или под выходные дни, в ДК проводились танцы под духовой оркестр, куда молодежь валом валила, всегда было полно народу, и танцы были просто настоящим удовольствием для молодёжи, всегда проходили без всяких инцидентов...

Во всех наших спектаклях и я, и Жора обязательно участвовали. В спектакле «Чужой ребёнок» с большим успехом я играл Сенечку Перчаткина, а Жора с таким же успехом играл

инженера Прибыткова. В сценках из «Сорочинской ярмарки» я был незаменимым в роли дьячка-любовника Хиври, в спектакле «На бойком месте» я выступал в роли купчика, а Жора был отличным в роли хозяина, мужа. В это же время мы были и музыкантами оркестра, который был один на все окружавшие Отрадную станицы, из которых в одно время было организовано три района, а тогда был один район. Нашему духовому оркестру «работы» было, как говорят, «по горло». Почти через день у нас были выездные игры по станицам района. Нам, музыкантам, приходилось «обслуживать» как торжественные мероприятия, так и печальные – похороны. Такое было «бескорыстное время» – на зарплате работал, как говорят «в должности», один Жора, получая зарплату за то, что был заведующий ДК, за руководство духовым оркестром он ничего не получал, также, как и все музыканты, играли совершенно бесплатно, исключительно из-за любви к искусству. И если «перепало» чего-нибудь музыкантам, так это при похоронах какого-нибудь жителя, когда нас просто угощали «поллитровками», за поминальные столы мы никогда не садились. При печальных мероприятиях, когда организация устраивала общественные похороны какого-нибудь совслужащего или работника аппарата – мы также, на общественных началах, выполняли, как говорят, свой гражданский долг с трубами...

И никогда никто даже не заикнулся о какой-нибудь плате в таких случаях. Была у нас и хорошая футбольная команда при РК ВЛКСМ, в которой я был капитаном, играл в команде со взрослыми, мне пришлось «приписывать себе два года возраста», иначе не мог состоять членом команды. Играли мы хорошо, ездили даже в Лабинск, участвуя в краевом розыгрыше общества «УРОЖАЙ». А при ДК мы с Жорой расчистили место, закопали два столба и оборудовали отличную площадку для волейбола, на которой в вечерние часы происходили целые баталии – каждый день, где сражались команды волейболистов по принципу – проиграла – выходи с площадки и победителям приходилось играть с новой командой. Эти волейбольные поединки были любимейшим занятием молодёжи. Ежедневно, начиная с послеобеденного времени и до полной темноты, на этой площадке, которая была во дворе ДК, раздавались свистки судьи и восторженные возгласы выигравших и проигравших. Ночной сторож ДК всегда был в обиде, недоволен, потому что ему приходилось ждать конца игры, чтобы принять от игроков два волейбольных мяча, которые были в ДК как «спортивный инвентарь» (сетка на ночь не снималась), официально зарегистрированный в бухгалтерии в подотчет зав. ДК Лизогубову. Всё было поставлено официально и по закону. В то время сам ДК помещался в небольшом доме, к которому при нас была пристроена сцена, чтобы увеличить длину зрительного зала. После новый ДК был построен на месте этого нашего старого ДК.

Года два назад мы с Жорой были просто товарищами по оркестру, но последние два года до ареста, с возрастом, мы стали настоящими друзьями, наверное потому, что он нам сопутствовал, несмотря на то, что Жора был старше меня на два года. Вообще, в моей жизни мои друзья, в то и в последующее время, всегда были старше меня по возрасту. А последний – 36-й год, до самого рокового для нас ноября 37 года, наша дружба была на самом высоком уровне. Но как в жизни бывает часто, она омрачилась тем, что Жора женился, а у меня ещё и невесты на примете не было... И я по-дружески, ничего плохого не предполагая, по своей наивности и неопытности высказал Жоре, как другу, своё неудовольствие его решением, заявив ему: «А чего это ради ты вздумал жениться, и на ком?». Я это сделал откровенно, и не хотел обидеть ни его, ни невесту, которую я раньше знал, но не знал о том, что он именно на ней решил жениться – поделился с ним, как с другом, откровенно, выразил своё негодование; все это я сделал именно из-за боязни потерять лучшего друга, как оно и было на самом деле... Ведь когда один из друзей женится – второй теряет друга навсегда... Чувства потери друга тогда мною руководили, но я этого тогда не сознавал, наверное, потому, что молод был. Это моё выражение несогласия с его женитьбой очень больно восприняла его невеста и выразила мне своё неудовольствие и до сих пор, правда, «в другой тональности», меня попрекает и всё задаёт мне один и тот же вопрос: «Нет, ты скажи, почему ты был против женитьбы Жоры?..» И это до сих пор! Последний раз она спросила меня об этом в 1989 году. Раз в год я посещаю Отрадную и всегда останавливаюсь у неё на правах «почетного» гостя, как друг её мужа...

Так получилось, что я на их свадьбе не был, не помню почему, но никак не потому, что я был против свадьбы-женитьбы. Что-то в то время случилось, или я куда-то уезжал, или болел, но я не был тем «дружком» на свадьбе, которым должен был быть, меня заменили

другим «дружком». Свадьба прошла хорошо, «прогремела», как тогда говорили, но наша дружба не прекратилась, хотя теперь мы строили наши отношения как друзей, на совместной общественной работе в ДК – Жора как заведующий, а я как активист-комсомолец (я тогда работал в Отрадненском Госбанке), в духовом оркестре, в драмкружке и как «вдохновитель» и организатор вечеров танцев в ДК – писал и развешивал афиши, организовывал музыку. Чаще всего для игры приглашал баяниста, в то время был в Отрадной хороший баянист Тимофей Васючков, лишенный зрения с детства, ходил к нему домой и просил поиграть танцы вечером. С ним я был в дружбе, потому что, играя на мандолине ему, разучивал с ним новые, неизвестные ему, разные вальсы, марши, песни, т.е. пополнял его скудный репертуар малограмотного баяниста-слухача, хотя он был и отличный баянист, как все слепые музыканты. Очень часто на этих вечерах, на его баяне, танцы играл я (как его ученик и начинающий баянист, для танцев у меня кое-что получалось!), Тимофей доверял мне свой баян, отдыхая в это время. Такие вечера танцев у нас проходили всегда хорошо, без эксцессов и хулиганских выходок со стороны молодёжи, я не помню ни одного такого случая. И хотя тогда не было «сухого закона», наоборот, всё продавалось без ограничений, но молодежь, посещавшая наш ДК, как-то была совершенно не подвержена этому, модному теперь увлечению – пристрастию к водке, наркотикам. Приходили в ДК именно танцевать и веселиться, хотя наш Отрадненский «Цокур» находился через дорогу, напротив входа в ДК – магазин, где продавалось всё «горячительное» и даже закуска. Завмагазином был по фамилии Цокур, но популярен был в то время в Отрадной не завмаг, а сам магазин, который только так и назывался – Цокур. Когда на работе его заменяла его жена, то всё равно говорили: «Где купил?», – «У Цокура», «Да, вот был у Цокура» и т.д. Такая близость к нашему ДК злачного места никак не способствовала хулиганским выходкам в ДК со стороны молодёжи, не только во время танцев, но и в те вечера, когда там проходили концерты или спектакли. И можно без преувеличения сказать, что, хотя в то время мы все бедно жили, и намного беднее теперешнего времени – ведь тогда у большинства было – у парней по одним брюкам на весь год и на все случаи жизни, а у девчонок – по одному платью на все лето, но духовная и культурная жизнь всей молодёжи была намного ВЫШЕ и ЛУЧШЕ теперешнего времени – была без практицизма и жестокостей...

Последнее наше совместное с Жорой мероприятие в работе нашего ДК, которое мы провели на большом художественном уровне – это был вечер памяти 100-летия со дня гибели А.С. ПУШКИНА, в феврале 1937 года. Мы организовали этот вечер и провели отлично – со вступительным словом, которое я написал и провел, с отлично подготовленной художественной частью вечера, с выступлениями чтений его стихов и проведением художественных сценок из его произведений, и завершили вечер отлично проведенными танцами на призы за лучшее исполнение вальса, танго, польки и других, модных в то время танцев. Насколько я помню, такого удачного и хорошего вечера в Отрадненском ДК больше никогда не было. 37-й год вообще был «богат» большими событиями политического характера. Помните, как проходило «выявление и ликвидация всевозможных вражеских группировок», «врагов народа», «нежелательного элемента», газеты были переполнены сообщениями такого характера, по радио не смолкали передачи на эти темы. Мы все в то время были «под одним гипнозом» – слепо верили во всё «актуальное» и, конечно же, все были согласны с проведением в жизнь «генеральной линии партии», как тогда во все голоса трубилось по всей стране.

Наш ДК был, разумеется, не в стороне от «указаний по линии культпросветработы на селе», был в курсе всего происходящего. У актива нашего ДК, а самым активным органом у нас был тогда духовой оркестр, у оркестра была и «работа» самоактуальнейшая – проходила подготовка к первым в стране выборам в Верховный совет. Уже по одному только названию мероприятий в свете «решений и постановлений» в этой области, весь наш актив ДК был, как говорится, «во всеоружии», мы, конечно же, активно включились в общественную работу. Оркестру приходилось очень много играть по разным избирательным участкам станицы Отрадной и всего района, мы выезжали по другим населённым пунктам района с этой целью. Не сидели, сложа руки, а именно активно участвовали в политической кампании по подготовке работы избирательных участков ко дню выборов, – это же делалось в нашей стране впервые...

Немного возвращусь назад и скажу, что в дни праздников Первомайских торжеств в нашем ДК эти дни отмечались или спектаклем или концертами, которые заранее подготавливались

и организовывались, и это была забота и работа зав. ДК Жоры, который в этой работе преуспевал. Он был в то же время и участником программы концерта или выступал в какой-нибудь роли в спектаклях, если ставилась какая-нибудь пьеса. Я тоже был всегда занят в такого рода мероприятиях, но кроме того, я был ещё и активнейший футболист нашей команды. Мы в то лето выезжали на игры в Лабинскую (тогда она была ещё станицей), в Попутную, в Благодарную... В мае месяце 37 года в семье Жоры родился первый сын. У него были и ещё по этому поводу заботы, а у меня были свои домашние. Возвратились с ДВК мои родители «с длинными рублями», мы купили новую хату-дом (август месяц), устройство жизни в новом месте нашей большой семьи, все это требовало и времени, и энергии. Но тогда мы были так молоды, нам всё было по силам... В те времена были самые тревожные дни не только у нас в станице. Каждый день по стране сообщалось о новых «разоблачениях», мы все переживали эти сообщения и не предполагали никогда, что нам самим в самом скором времени предстояло «стать такими же жертвами», о которых читали и слышали по радио.

18 ноября мы с Жорой, возвратившись с игры в одном предвыборном избирательном участке, сложив свои трубы в музыкалке ДК, пошли в ресторан пиво пить в компании с ещё тремя нашими товарищами-друзьями. Не успели мы расправиться с первыми графинами пива, меня вызвал на улицу знакомый мне работник милиции и привёл в НКВД, где я предстал «пред ясные очи» начальника районного отдела НКВД Романова, который сидел за столом в своем кабинете в окружении «актива» – справа от него сидел один следователь уголовного розыска, а слева – секретарь нашего райкома ВЛКСМ Евтушенко Тимофей – тот самый «Тямонька», о котором я напишу ниже. Вся компания ресторана проводила меня к самому входу в здание НКВД, откуда увели в милицию, в арестантскую камеру – во дворе милиции. Наутро, 19-го, арестовали Жору, а 12 декабря моего отца. С того дня я в Отрадной появился реабилитированным через 18 лет, ни больше, ни меньше – в лето 1955 года... В тот же год я увиделся под Киевом с отцом. А с Жорой у нас состоялась встреча через 10 лет – на Колыме, в пос. Ягодном, где мы были на гастролях с концертной бригадой Магаданского театра. Я работал уже как вольный, а Жора приходил из лагерной культбригады в Ягодном, куда он был переведен из женского лагеря «Эльген» перед своим освобождением. Эту встречу мы с ним «зафиксировали» на фотоснимке, который я храню до сих пор.

Я уже вспоминал о том, что ещё не наступил «тот самый год», в который как-то вдруг из всех магазинов всё исчезло, и на полках остались только «кофе фруктовый» и «чай-малинка». Не было ни мануфактуры, ни продуктов питания. А ведь всё было, я отлично помню, в последние годы НЭПа – просто изобилие всевозможных промтоваров, мануфактуры и продуктов во всех магазинах СельПО, и в большом ассортименте: колбасы, сыры, копчености всех сортов, рыба разная и всевозможные консервы и сладости, разнообразнейшие вина и табачные изделия – и всё это по государственным ценам, довольно низким по тем временам. А на базаре: мясо свежее всех сортов и пород, сало, масло, молоко, куры, гуси, утки, яйца, всевозможные овощи и фрукты возами, живые телята, поросята, овцы, свиньи, коровы, лошади – всё, что хочешь. А осенью возами арбузы, дыни, сливы, и всё тоже недорого, потому что всего было очень много. Вот пример тому, что всего было много, показывали в кинокартине «Кубанские казаки», но тут разница в том, что на экране показывали изобилие, какое было не в 1935 году в жизни страны, это было на десять лет раньше – в 1926 году, причем в настоящей жизни, а не на экране кино. Помню, был такой фильм «Путёвка в жизнь», и там такой кадр из жизни того времени: полуголый беспризорник в рванье положил на прилавок пятак и говорит хозяину-продавцу: «А ну-ка, дай мне на пятак фунт колбасных обрезков, дядя»... Это было правдой в жизни 1926 года, а показывали это на экране кино в 1935 году или на год раньше, это тоже была правда... И когда ещё раньше 35-го года всё это изобилие, как корова языком слизнула, в тот год, когда началось раскулачивание, коллективизация и все оргмероприятия, связанные с проведением в жизнь «генеральной линии ВКП/б/», когда из крестьян – сельских хозяев, в станице осталось меньше половины (раскулачили полстаницы), а из интеллигенции остались лишь коренные жители станицы: учителя начальных школ, врачи, почтовые работники. Большинство разбежались в разные стороны из-за боязни быть административно высланными, и всякие работники «совторгслужащие», как их тогда называли по названию их профсоюза. Рассыпалась и отрадненская самодеятельность, очень поредел и наш духовой оркестр, а школьный струнный распался. Уж после, через несколько

лет, самостоятельность отрядная кое-как возродилась, но была она не такого высокого уровня, на каком была «до того года»...

Я вспоминаю об этом сейчас потому, что и Жора, и я, начиная с нашей пионерии, с нашей, ничем не омраченной пионерской жизни, пережили тот перелом в жизни, которая после «того года» и для пионеров стала какой-то пережившей к худшему, ничуть не похожей на жизнь «до того года». Нам так казалось не потому, что мы стали старше по возрасту и время подошло к вступлению в комсомол, что мы и сделали. Но вот этот переход в «новую и плохую жизнь», когда заметно как-то потемнело в духовной жизни народа, когда сама жизнь и культура упали до минимума – переход этот нам был совсем непонятен. Об этом времени надо вспоминать отдельно и подробно, что я потом и сделаю: как начинался и проходил ГОЛОД на Кубани, и всё, что было связано с «организационно хозяйственным укреплением колхозов» (это был главнейший тезис генеральной линии партии) – всё это я отлично помню, потому что в то время был принят в кандидаты в комсомол, сам всё видел и слышал, и активно участвовал во всех мероприятиях, которые выполнял комсомол в те годы. Пионером я был активным и таким же активным был комсомольцем. Отлично помню о том, что когда в станице проводилась кампания за закрытие церкви в парке (сейчас в ней кинотеатр) я, включившись в неё, собирал больше всех подписей за закрытие, гонял по полдня по станице на своём велосипеде, которых тогда было мало – всё равно как теперь мотоциклы, за что имел поощрение от РК комсомола.

Я активно участвовал во всех «нагрузках», которые поручались в те времена всем комсомольцам. Время было очень бурное и совсем новое для всех.

Жора в те годы был в Сухуми, служил в армии. Наша с ним дружба возникла, когда он приехал из Москвы. Была она тогда не такой тесной. Жора был старше меня на два года, а настоящая дружба как молодых людей, можно сказать, как будущих женихов, у нас возникла за два года до рокового нашего 37-го...

В мае 1935 года я возвратился домой с ДВК, куда с родителями уехал в мае 1934 года «за длинными рублями». Там, на ДВК, я внезапно заболел тропической малярией и, расторгнув договор с «Амурзолотопродснабом» по болезни, приехал в Отрадную, пробыв на ДВК всего один год. А Жора уже работал заведующим ДК и руководил духовым оркестром, который сохранился наполовину после «того года» по своему составу. Драмкружок тоже был из почти всех новых участников, а хора, такого, какой был – больше в Отрадной не было, с закрытием церкви и церковный, и светский хоры распались – половина хористов из Отрадной разъехалась... Так незаметно и подошло время, когда мы стали совсем взрослыми... Я приехал с ДВК один и жил у знакомого футболиста на правах квартиранта. Родители мои по окончании трехлетнего договора приехали домой в августе 37 года. А пока я жил один и с Жорой, мы, как друзья музыканты, стали дружить уже как парни-женихи. Никакой дом, пока родителей не было, меня ничем не обязывал и я мог ночевать где угодно, что и делал. По дружбе с Жорой мы часто с ним ночевали у него дома, спали на дворе, жил он в семье Карпенко. Часто бывали случаи, когда мы с ним, после наших дневных и вечерних дел, поздно ночью шли к нему ночевать, и по пути домой пели наши любимые песни на всю улицу: «Ой, да ты, калинушка», или «Дывлюсь я на нэбо», или «Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий». Домашние Жоры уже слышали и знали, что два друга, наконец, пришли домой... Пели мы не потому, что были «под градусом», нет, просто, как говорится, от избытка чувств, переполняющих наши души. Что значит молодость! А «горячительным» мы в то время не увлекались, и вообще нас не тянуло к таким «развлечениям», хотя наши знакомые ребята кое-кто и отличались по этой части...

Пели просто для удовольствия, у нас ладно получалось – в два голоса. Жора первым, а я ему вторил, у нас получался прекрасный дуэт. Во всяком случае, это было хорошее пение, двухголосное, грамотное – не то, что просто «горлопанье», мы же всё-таки были музыканты. У Жоры был хороший голос-тенор, он им владел как певец. Я же своим голосом похвастаться не могу, у меня он плохой и был, и есть – слухом Бог меня наградил, не обидел, а голосом – да... Наш ДК – очаг культурно-просветительной работы в станице, в то время, как говорится, процветал. Работа всех его самостоятельных кружков была видна, и районное руководство было довольно работой зав. ДК Жоры. Оркестр наш звучал на все станицы района.

Я увлекался футболом, наша команда тоже считалась хорошей по всему району. Жора был

увлечен своей работой, а её в ДК всегда много, и его любовь к музыке он выражал в работе оркестра, и как трубач, и как руководитель оркестра, как говорится «весь целиком» отдавался любимому делу. Я же работал в Отделении Госбанка – целый день у меня был занят, но участие в работе ДК, где я был у Жоры первым помощником во всех делах, мое увлечение футболом и музыкой поглощали всё моё свободное время. Я также был весь без остатка в делах ДК и личных. Мне абсолютно не хватало 24-х часов в сутки, как говорится, и чтобы наверстать недостающее время, приходилось утром вставать на 2 часа раньше... Это, конечно же, шутка, а время то подошло и к личной жизни – нам то лет стало уже «под-женихов!»...

У меня пока что, примерно за год до «рокового 37-го», не было никакой «серьезной зазнобы в душе». Не замечал, как время летит и также не заметил того, что Жора подошел к черте, когда надо было «свадьбу играть». Это его решение меня застало как-то врасплох, почему я и выразил свое неудовольствие его женитьбой. Я был просто не подготовлен к такому его намерению, ничего не знал, потому что сам к такой «черте» ещё далеко не дошел. Проходили дни, недели, месяцы, мы в повседневных делах безмятежно проводили свои молодые годы. Дело у Жоры ладилось, я на работе в Госбанке тоже преуспевал. Меня гл. бухгалтер Госбанка хвалил, и относился ко мне очень хорошо, как музыкант и футболист, а я хорошо играл и в оркестре, и в футбол – был известен всюду. Дружба наша с Жорой тоже процветала, до его свадьбы я почти через день ночевал у него, спали на дворе. После женитьбы наши песнопения на улице прекратились. Тут приехали мои родители с ДВК и я стал вести другой, уже домашний образ жизни. Жора тоже стал самостоятельным хозяином и отцом. Вся жизнь протекала в более или менее нормальном для нас, молодых активистов, русле, и мы ничего не предполагали, никогда не рассуждали на щекотливые темы, работали, как всегда, с хорошим настроением, ни о каких несчастьях или бедах, которые могли нас коснуться, никогда не думали. Все для нас тогда было, как говорится, «в розовом цвете». И когда подошли дни наших несчастий, эти события нас просто ошеломили, были как удары грома-молнии среди бела дня. Почему до сих пор мне кажется, что всё то было как во сне, кажется, что этого не должно было быть, потому что не должно быть...

Если бы Жора с детства жил в Отрадной, не в семье Карпенко, то преследователи и недоброжелатели – его «друзья», съели бы его живьём, не дали бы ему возможности вообще жить на свете, чего они, в конце концов, и добились – сослали его на Колыму...

После возвращения домой, через десять лет, он, со сломленной лагерными ужасами волей и с прежней доверчивостью (в силу своего характера), не успев поверить хоть в какую-то правду (муж его сестры Тони был все-таки районным прокурором, и ему-то Жора верил по складу своей наивно-доверчивой натуры), как его снова арестовали вроде как «за старое» – а оно оказалось «новым» – а что НОВОЕ, точно для него и непонятно было. Он, после второго освобождения (держали недолго) и после реабилитации в 54 году, так и не пришел к уравновешенной, нормальной жизни, хоть чем-то напоминающей или похожей на ту, прошлую жизнь – до армии, и после – до ноября 37 года – Жора заболел, всё думал, не находя утешения ни в чем, даже в занятиях любимой музыкой, с надломленной психикой, невольно ощущая себя не как все, а «меченым особой метой», пристрастился к единственно доступному и не вызывающему никаких реакций со стороны его «друзей», следившими за ним – поклонению Бахусу, ничего не подозревая в тех, кто его окружал, которые, как оказалось во время второго ареста, жили с ним рядом, работали вместе, и о которых Жора никогда в жизни, и опять по своей наивно-доверчивой натуре и подумать плохо не мог, тем более предположить, что они то и были теми «жертвами аборта», которым он мешал жить на свете. Болезнь печени, потом малый паралич – все это следствия известной утехи таких людей, как был Жора. Не узнал он всего нового из «истории нашей жизни и строительства», унес в могилу с собой свою печаль и обиду, так и не пожив ни одного дня, узнавшим хоть малую частицу правды. Пострадал он, но ЗА ЧТО ЖЕ? ЗА КАКИЕ ГРЕХИ, в конце концов?.. Он не мог найти выхода чувствам своей обиды и не мог постичь того, что как это можно было вот так, ни за что и безнаказанно исковеркать всю жизнь, и довести до уничтожения живого, простого, невинного человека. Во имя какого «идеала» можно было ПО ЗАКОНУ растоптать, стереть с лица земли, уничтожить многих, и многих, и многих людей?..

Падала ли на Жору «тень» от его деда, имевшего собственный хутор, или от отца, которого он не помнит, лишившись его с раннего детства? Отец был всего-навсего каким-то богатеem,

а что конкретного он сделал во вред советской власти, и причем тут его сын Жора – никогда никто не знал, а тем более Жора. И по отношению к новой власти, родившись вместе с нею, Жора был честным, безобидным и очень порядочным человеком, и жил в семье более чем благонадёжного и престижного Карпенко – работника ОГПУ. Жора не родился врагом советской власти и не мог им сделаться, живя в такой семье, и что Жора порядочный человек, это было хорошо известно работнику ОГПУ. Если бы Жора действительно был бы «тем элементом», «неблагонадёжным», Карпенко не взял бы его в свою семью, чтобы не скомпрометировать себя. ЛОГИЧНО?..

И эта семья Карпенко, в которой Жора жил, должна была быть вроде щитом, некоторой защитой от нападков на Жору со стороны тех, кому он жить мешал...

Но, как оказалось в дальнейшем, никакого щита и быть не могло, как показали события и сама жизнь – **КАРПЕНКО САМ НУЖДАЛСЯ В ЗАЩИТЕ**, ему было не до этого, надо было спасать свою собственную жизнь. Теперь, когда нам стало много известно из нашей прошлой жизни, особенно за последние месяцы – после прочитанного в печати про «бывших сильных мира сего», всплыла наружу «во всей своей красоте и действительности» трагедия семьи Карпенко, вернее ЕГО САМОГО, так как дочь его жива, а жена умерла своей смертью в 1973 году, дело не в них... И вся дальнейшая жизнь самого Карпенко и привела к этому «парадоксу»...

Во время ареста Жоры, в ноябре 37 года, Карпенко работал председателем СельПО Отрадной. Мой отец работал в его конторе СельПО пом. бухгалтера. Карпенко отлично знал и отца моего, и меня, и нашу дружбу с Жорой. 18 ноября арестовали меня, 19 ноября Жору, а 12 декабря – моего отца. Все как по нотам – «враги народа изъяты из общества»!.. Через несколько месяцев Карпенко, у которого дочери уже было пять с лишним лет, вдруг ИСЧЕЗ из дома, уехал тайно, не сказав ни слова ни дочери, ни жене, ни родственникам. Жена в панике, родня тоже, на работе переполох. Карпенко как в воду канул. Пошли слухи, сплетни, мол, спутался с бабой (нашлась фамилия бабы), и вроде их кто-то видел не то в Красноводске, не то в Махачкале. Короче говоря, пошла сплетня гулять по станице, а сама жена Саша и её дочь, и вся многочисленная родня, в панике – **ГДЕ ВАСЯ?**..

Полгода прошло, год, два, от Васи ни слуху, ни духу... Уже война во всю идёт, и вдруг жена Саша получает с фронта от него продуктовый аттестат, с коротким письмом – воюем, бьём фашистов, целую тебя и дочку, пока... до победы, Ваш Вася и всё, адреса обратного НЕТ... Пришла и прошла победа, а Вася так домой и не вернулся. И похоронка на него не пришла, погиб, вообще так и не увидев никого. Через 20 лет, его племянник Гарий, нашел его следы в Польше, и там разыскал надпись на щите братской могилы – его фамилию и имя, в общем, обнаружил «памятный обелиск» с его именем. Всё. Конец. Погиб героем на войне...

Прошло много времени и Василия Карпенко теперь вспоминаем, как погибшего героя. Дочка ещё жива, живёт не в Отрадной, а жена Саша давно умерла.

У Жоры была старшая сестра Тоня, а её муж, **НЕМЧЕНКО Леонид Степанович**, был после войны районным прокурором в Отрадной. После освобождения Жора, по вызову прокурора, этого самого мужа сестры, который написал ему о том, чтобы Жора ни о чем не думал и ни в чем не сомневался, безо всяких приезжал домой в Отрадную, где он ему гарантирует и работу, и всё-всё. Жора сразу же после освобождения из лагеря уехал с Колымы, хотя ему и советовали, и я в том числе (он у нас в Магадане жил неделю перед вылетом, я его провожал), не торопиться, и хоть немного экипироваться Колымскими длинными рублями после 10-ти летней лагерной баланды и «одёжки», кожу сменить, как тогда было модно говорить. «Кожу сменить по-змеиному», что значит всю и начисто, для чего были реальные возможности. Ему предлагали и хорошую работу, и приличную зарплату. Он мог при его скромности и нетребовательности и неприверженности к дурным привычкам и «утехам» – хорошо и одеться, и обуться, и для семьи кое-чего припасти, и на черный день отложить...

Прожил бы два-три года – приехал бы домой, как говорится, «при вантажах». Но там его очень ждала жена с сыном и Жора, вняв призывам прокурора – Колыму покинул, хотя потом все, такие как Жора, очень сожалели, что в то время уехали с Колымы, ведь их всех через года два-три СНОВА арестовали, кто где бы ни был, как это случилось и с самим Жорой. Но, несмотря ни на что, Жора, по моему, просто решил вырваться «из объятий Колымы», убежать как можно скорее и подальше – что, конечно же, мне очень понятно, и всем, кто «имел

счастье получить удовольствие от «Колымских объятий», покинуть ненавистную Колыму, убежать от кошмаров и ужасов лагерей – потому что кому-кому, а ему пришлось их испытать на себе наверное больше всех, натерпеться горя с избытком, когда он чудом остался в живых в 38 году, во время самого страшного гаранинского произвола.

Его в числе других, таких же дистрофиков-фитилей, дошедших до ручки за лето в забое прииска Ат-Урях (ясное дело – истощенным до предела, не в силах выполнить забойную норму), но как «злостных отказчиков от выполнения нормы», «тачко-нормы» – очень модное было выражение в то время. С прииска «Ат-Урях» везли в грузовике темной декабрьской ночью по печально знаменитой «серпантинке» – дороге через горный перевал – НА РАССТРЕЛ, и все они, 40 человек, ЗНАЛИ, куда и зачем их везут. Это делалась в назидание на всех колымских приисках, где были «свои серпантинки» – удобные во всех отношениях, или таёжные трущобы, непроходимые глухомани или такие же горные перевалы с извивающейся серпантином дорогой. Эти «акции» сначала делались в «больших секретах», но Начальник УСВИТЛ Гаранин никому не доверял выполнение своей идеи по поднятию производительности труда, а значит и по повышению добычи золота, и сам лично приезжал на прииски, где добыча по сводкам падала, и «принимал меры» – совместно с начальником лагеря издавал приказ: «За отказ от выполнения нормы... расстрелять». Ввиду массовости проведения этих мер «по повышению» – через некоторое время вся Колыма знала, что это такое, и как только узнавали, что на прииск приехал САМ ГАРАНИН – сомнений ни у кого не было – несчастные с трепетом ждали вечером, после работы, оглашения зловещего приказа по лагерю прииска – дрожали ВСЕ, потому что из нескольких тысяч работяг на прииске, выполнявших тачко-нормы были ЕДИНИЦЫ, а вся остальная масса были заранее ими самими обречены, так как НИКТО ПРОКЛЯТУЮ НОРМУ не мог выполнить теми остатками кожи на костях каждого истощенного доходяги, да ещё врага народа. А КОГО ИМЕННО будут сегодня вычитывать в приказе – было неизвестно, почему и огласки приказа Гаранина ВСЕ БОЯЛИСЬ, и больше всего, конечно же, дрожали за свои жизни враги народа. Когда случаи, о которых я сейчас пишу, участились, и по всей Колыме стали известны «гаранинские приказы», т.е. когда уже не была секретом ни для кого эта «серпантинка» – тогда расстрелы были заменены «червонцами», т.е. не расстреливать, а добавлять по 10 лет каждому такому «отказчику», невзирая на то, сколько он «отсидел», и сколько ему ещё надо было «сидеть» до конца первого срока. А дальше случилось то, что как только грузовик с этими 40-ка обреченными и двумя автоматчиками-охранниками стал подходить к этим зловещим петлям дороги-серпантинки – все они, как сговорившись, а на самом деле не сговаривались – Жора мне сам рассказывал – на ходу стали выпрыгивать из кузова в снег, утопая и скрываясь в сугробах по обочине дороги. Так получилось, что кто-то первый подал пример, а остальные, сообразив, что всё равно будут убивать, а тут «может быть спасёмся» (надежда никого не покидала в те секунды), и в одну-две минуты, все, до единого, выпрыгнули из кузова, разбегаясь, если так можно сказать, в глубоком снегу. Охранники подняли беспорядочную пальбу по убегающим. Темнота ночи помогала некоторым отбежать подальше от места остановившегося грузовика, хотя на белом фоне снега черным бушлатам и телогрейкам укрыться, не зарывшись в сугроб снега, было трудно. Многих охранники подстрелили и застрелили, но все-же некоторой части обреченных удалось отбежать, отползти подальше, укрыться или совсем закопаться в снег и этим спастись. А Жора, не сговариваясь с Сашей, оказались рядом в одном месте на дороге, вернее, на развилке дороги – это за несколько километров от места «их высадки». Они по снегу шли и ползли чуть не до самого утра – на развилке дороги, ведущей к женскому лагерю «ЭЛЬГЕН». Оклемались, отдышались, присели отдохнуть, запыхавшиеся, но радостные. Живы, убежали от охранников, по ним даже и не стреляли, потому что так уж получилось: охранники, растерявшись, не знали в кого стрелять – кого видели, туда и палили, а этих двоих просто потеряли из виду, а они успели уползти в темноте ночи, но в общем, ЖИВЫ... А что дальше?

Некогда было думать «а что же дальше?», надо было «когти рвать», подальше от «места высадки». Вспомнили, как они оказались рядом, потому что бессознательно ползли оба в одну сторону, невольно став «напарниками». Не сговариваясь и не зная до этого друг друга, оказались в полном смысле слова друзьями по беде.

Отдохнув, поползли по сугробам, не взбираясь на верх сопков, чтобы их, не дай Бог, охран-

ники издали не увидели на белом фоне снега. Распадками между сопок подползли близко, не заметив конечно, к секретному гнезду охраны женского лагеря «Эльген», расположенного в долине приисков «Ат-Урях» и «Туманный», напоролись на скрытый в снегу секретный провод, который «подал сигнал» сторожевикам-охранникам, они то и «подобрали» этих двоих фитилей, немало удивившись, потому что, обыкновенно их «добычей» всегда были «женихи» вольнонаемные – все, конечно, недавно освободившиеся из лагерей, буквально осаждавшие этот «лакомый лагерь», где содержались жены, дети, сестры врагов народа, знакомые их жен и знакомые их знакомых – расстрелянных и репрессированных врагов народа «большого калибра», таких как Тухачевский, Блюхер и других знаменитостей. Их называли ЧСВ – члены семей врагов. Судьбе было угодно напороться беглецам на провод скрытой охраны женского лагеря – чуть дальше уже была зона прииска «Туманный», там был лагерь каторжников – 25-ти летников. Было бы большое горе, если бы эти двое попались охранникам того лагеря (там шахты и забой). А пока, суть да дело – охранники сначала отлупили их до потери сознания, а утром доставили в женский лагерь, прямо в кабинет начальницы женлагеря, так как не знали, что им дальше делать с этими «женихами». Вольных женихов они просто отпугивали выстрелами или, если удавалось, сдавали милиции, когда те сопротивлялись, а этих, ясное же дело – лагерных беглецов, сдали охране «Эльгена», а те уже полупривели, полупринесли их в кабинет Начальницы лагеря-совхоза. На свой риск и страх, начальница этих двоих оставила в зоне своего женского лагеря, как НУЖНЫХ ей специалистов. Один из них, Саша, оборудовал и открыл зубопротезный кабинет в лагерной санчасти, а Жора, как трубач, возглавил женский духовой оркестр. Инструменты как для Саши, так же и для Жоры давно лежали в лагере мертвым грузом, которые начальница лагеря, дай Бог ей здоровья, решила «оживить», предоставив каждому специалисту своего дела показать, на что каждый способен. Они оба со своими делами справились вполне и даже успешно. Саша делал протезы, а Жора «звучал» со своим оркестром. Начальница очень рисковала своим положением, но оба «специалиста» свое честное слово, данное начальнице при первом деловом разговоре – имелось ввиду полное отсутствие какой бы то ни было связи в зоне лагеря с женщинами – сдержали с честью. И так, благополучно и без намёков на какие-то лагерные кошмары, живя, как говорится, долгое время «в малиннике», и теперь уже благополучно отсидели свои «червонцы», освободились в полном здравии, восстановив потери здоровья на тачках прииска и «зализав» раны от побоев охранников, доставивших их когда-то пред ясные очи начальницы женского лагеря «Эльген».

Если бы эти два дружка плохо вели себя, находясь в «мечте мечты» всех заключенных, позволили бы себе тот самый «ГРЕХ», сдержаться от которого, как рассказывал Жора, было просто невозможно – их и дня там не продержали бы – сразу в забой, из которого они бежали. С великим трудом, именно с великим, эти два «счастливчика» держали себя в рамках, особенно в первые недели, месяцы и годы, да-да-да – ГОДЫ, потому что условия были слишком соблазнительные, т.е. в этом и была невозможность не согрешить. Представьте себе – возраст каждого – самый требовательный – 25-30 лет, из которых последние 3-4 года были из жизни вычеркнуты тюрьмами, этапами, лагерями, после чего «всё живое только снилось во сне». И вот, пройдя через передраги и горести, вдруг попасть человеку в этот лагерь, именно «мечты мечты», в самое «царство» женщин, да ещё каких женщин – настоящих, всех возрастов, всех цветов, и самое главное, таких же истосковавшихся по живой жизни, как и мужчины. А в лагере «Эльгена» были ЧСВ – всех больших военачальников, партийных работников, представителей лучшей интеллигенции страны, самой первой «волны покоса», в числе знакомых попали разнообразнейшие представительницы прекрасного пола – и артистки, и балерины, и художницы, и врачи всех специальностей, и просто красивые молодые и пожилые женщины, кому-то и как-то, и чем-то не угодившие «придержателям власти», и попавшие «под шумок 37 года» под расправу. Всех этих несчастных ЧСВ привезли в сельхозлагерь «Эльген», где были и лесозаготовки. Но это же КОЛЫМА, со своими ветрами, снегами и морозами... Много ли надо было москвичкам и другим горожанкам, да и не только горожанкам, всем им несчастным женщинам, чтобы голодными, до потери сознания, плохо одетыми, ковыряться лопатами в мерзлой земле, на открытом воздухе, чтобы не простудиться и не заболеть, и не только от условий работы и жизни, а больше от сознания своей полной беспросветной беспомощности, когда знала, что муж расстрелян, а что будет дальше с самими – никто не мог ни догадаться, ни предположить. Хотя в далеких мечтах и светился где-то чуть видный огонёк

надежды, определенной каким-то сроком в 8-10 лет – эти надежды и как-то спасали от полного отрешения от жизни, но очень многие не могли дожить до этого – до конца срока – и большинство из них, бедняг, не дожили...

Но «всё же», и «всё же», и «несмотря», и «вопреки» всем препонам, бывали случаи – пришлось специальную больницу открывать, и всех рожениц туда направлять. Рожениц направлять туда «без права наследства» – по драконовскому закону у матерей отбирали новорожденных. Они, родив, больше никогда не видели своих детей, и в наказание за этот грех (если роженица выживала после родов), её ждали тяжелые работы на штрафной командировке или на тяжелых открытых работах, не под крышей, а на свежем воздухе, при морозах и на ветру.

Жора мне рассказывал, что в первые годы они с Сашей и не помышляли об этом, и вообще были далеки от грехопадения – слишком страшно было подумать оказаться снова там, «где вечно пляшут и поют», было не до невест – просто по-настоящему боялись. Хотя выбор был богатейший – на любой вкус, на любой цвет и на любой возраст. Очень заметно было, что мужчины в ужасах лагерной жизни себя держали более стойко, не так быстро опускались, и всеми силами старались в любых условиях не потерять человеческий облик. А вот женщины, как существа «слабого пола», были менее устойчивы в этих отношениях, быстрее как-то теряли всё достойное, особенно не из ЧВН. Представительницы этой «элиты» всё-таки были в большинстве и образованными, и интеллигентками, и своим поведением были, и очень часто, примерами для не удержавшихся. И, надо сказать, что среди и этих настоящих, культурных и интеллигентных, были такие «отпетые мамамы», такие «представительницы», такого «давали звучка», что, как говорится, «аж пыль столбом».

Много было в лагере «Эльген» и простых смертных, как говорится не ЧСВ, а бытовых преступниц с большими сроками, указниц и колхозниц, воровок и спекулянтов, но большинство лагерниц были все-же ЧСВ. Были солидные, пожилые женщины, много женщин было ученых и не ЧСВ, а «виноватых» самостоятельно, было много женщин среднего возраста и было много «зелёной молодёжи». Членам семей ЧСВ было запрещено называть свои фамилии, их знали только в конторе лагеря, а в обиходе, в лагерной повседнежке они «обозначались» или по именам или по номеру, и сами они называли свои фамилии неохотно.

Посёлок и лагерь совхоза «Эльген» был расположен в окружении 4-х приисков – за 8-10 км от совхоза, на которых было много освободившихся мужчин, которых не отпускали с Колымы по домам, поэтому все подступы к «Эльгену», в полном смысле слова, просто осаждались мужчинами всех возрастов, доставляя много хлопот охране лагеря, почему секретные посты охраны и были установлены за несколько километров от самого лагеря. В самую зону женихи не стремились, да и не могли проникнуть, огражденную двойными рядами колючей проволоки и с охраной даже на вышках. Но были в совхозе и хозяйственные объекты – разные сараи и хранилища инструмента, бытовки возле свинарников, шалаши на картофельных и капустных полях, а для доярок было общежитие, где они ночевали по сменам. Вот эти-то «крыши над головой» и были объектами особого внимания охраны, где они в охоте за женихами всегда имели «богатые уловы». Туда-то и устремлялись все «охотнички за клубничкой». Было в совхозе три больших коровника, каждый на сотню коров. Там всегда «было весело», потому что и доярки, и работницы находились там по сменам круглосуточно. Вот тут и была «работа» для охранников...

Ох, эти охранники!.. Половина всей охраны в то время были – внутренние войска, а половина была самоохрана, т.е. это те же заключенные, с небольшими – до 5 лет – сроками и из числа бытовиков, у которых рабочим инструментом была винтовка, их работа – охрана таких же заключенных. Они, как работники, для начальства были на 100% ценнее солдат срочной службы – из кожи лезли вон, только бы угодить начальству из-за боязни угодить на общие работы. У опричников царя Ивана Грозного к седлам были привешены головы собак – как символ верности царю, которые в ужас приводили тех, к чьему двору направлялся отряд опричников для выполнения указа царя – их боялись пуще всего все люди, не только винюватые перед царем, потому что они зверствовали при исполнении указа, и по «указанию», и больше от себя – их считал народ хуже собак бешеных, этих опричников. Охранников в Колымских лагерях, особенно самоохранников (я сам всю Колыму объездил, все прииски и поселки), везде они были хуже собак, и их все заключенные ненавидели до последней степени, люто ненавидели... Они знали, что з/к – беззащитный, несчастный, и с ним любому

сильному можно было сделать, ЧТО ХОЧЕШЬ – любые издевательства были им доступны и безнаказанны, потому что он – З/К. Были отменные садисты и среди охранников-солдат, но самоохранники были сущими собаками, просто наслаждались, даже не скрывая этого, когда просто издевались над бедными з/к, ни в чем неповинными перед ними – так просто, НЕ ПОНРАВИЛСЯ человек, да ещё враг народа. И первое, что они делали с особым удовольствием – это БИЛИ, БИЛИ, как собак, чем попало и куда попало, палками или затворами от винтовок, били ожесточенно, находя в этом особый «шик», будь это человек здоровый или на ногах еле стоявший, били до иступления, упавшего на пол и стоящего – всё равно – били жестоко и без сожаления, с тупыми взглядами и посмеиваясь, похвалялись друг перед другом, потому что всегда ОДНОГО БИЛИ ВДВОЕМ, советуя: «Да ему в зубы дай!», «да ты ему в нюх влепи»... А самое страшное при этом – тот, кого бьют, абсолютно не сопротивляется и не уклоняется, потому что знает о том, что всё равно будут бить – покорно переносил эти экзекуции, пока стоял на ногах, вроде давая им разрешение, – «Нате, мол, гады, бейте, может устанете»...

С этого у них начинался рабочий день – как ритуал, как разминка перед началом дня и при выходе на дежурство, они специально искали случая на ком бы кулаки свои почесать, хотя голыми руками они «не упражнялись». Как присягу выполняли, и считали, что только так надо «порядок поддерживать». Чуть что, сразу начинают бить, и самое страшное – одного человека обязательно будут бить двое, ну точно, как звери. Я вот вспоминаю об этом, а у самого руки дрожат от нервного напряжения. Тысячу раз сам видел эти издевательства и до сих пор вижу перед глазами этих гадов с винтовками на фоне колючей проволоки... С палкой-дрыном в руках или с затвором от винтовки, и перед ними бедного заключенного, который порой не знал, за что же они, гады, его бьют, за какой такой «промах» в поведении?.. А те бьют, жестоко бьют, не разбирая – в голову или тело, бьют с полуусмешкой и страшным матом...

В лагере на пос. Ларюковая, где я после больницы «отходил» в 40-м году, при мне на утреннем разводе на работу, один самоохранник, поправляя «пятёрки», выходящие через вахту из лагеря, толкнул одного молодого парня-моториста, а тот, падая, задел охранника-солдата, принимающего «развод», т.е. дежурство на дневную свою вахту, и чуть не упал, поскользнувшись на снегу, подбежав, буквально подбежав три шага, выхватил из кобуры наган и без всяких выстрелов поднимавшемуся с земли парню-мотористу прямо в шею за ухо, в спешке, не целясь... Парень упал снова, кровь пошла обильно, снег сразу красный стал. На выстрел прибежал начальник охраны, мол, в чем тут дело, кто стрелял?.. Видит, парень полулежит на земле в луже крови, живой, а охранник дымящийся наган вправляет в кобуру, молча... Вышедшие на вахту бригады – я был бригадиром «фитильбригады» из доходяг – работали по уборке поселка и ещё много уже просчитанных при выходе – много народу – мы всё это видели, но никто ни слова ничего не говорит в пояснение начальнику, согласно лагерному закону – «не лезь, не видел, не слышал», потому что отлично знали, что за это будет потом – молчали, ни слова. А этот гад, выстреливший в парня, знает о том, что никто из нас ничего не посмеет сказать – говорит начальнику: «Да вот, этот гад кинулся на меня, я думал, что у него нож в руке был, ну я его и...» Начальник глаз не сводит с этого своего подчиненного и смотрит на парня, которому уже прибежавший на выстрел лекпом перевязку делал, вытирая кровь со всего лица. Мы все стояли, от злости замерли – вот мол, гад, как выкрутился, отбрехался – молчим, как воды в рот набрали, дрожим буквально, от злости на этого гада...

«Ну, что там у него?» – спрашивает Начальник «лепилу» – «жив?»... «Лепило» поднялся сам и, приподнимая парня (перевязку он ему сделал на скорую руку), говорит: «Пуля прошла через шею в рот, выбила зуб под глазом и вышла, разворотив ему щеку и всё. Видимо, она прошла мимо кровеносного шейного сосуда – ничего страшного, потому что по времени – самое страшное прошло – парень жив, значит «пуля не навредила», если не считать потерю зуба и развороченной щеки... Он только побледнел, наверное, от потери крови, а так всё пока, пульс нормальный, будет жить»... И повёл его в свою больничку. Начальник охраны, видимо, был доволен диагнозом лепилы, дал команду конвою: «Продолжайте развод». Ушел к себе в охрану, а мы все, дождавшись конвоя – пошли на поселок «по объектам».

Этот гад, как ни в чем не бывало, продолжал просчитывать «пятерки» бригад, выходящих из зоны: «первая, вторая, третья» и т.д., ничуть не смущаясь, как будто бы ничего не случилось. Конечно, все мы, кто это видел и слышал, очень возмущались, но между собой

ну что мы могли сделать? Инцидент исчерпан, начальник охраны «команду дал», чем и поставил точку над произошедшим. К вечеру об этом забыли. Парень пролежал в больничке несколько дней, рваный шрам на щеке несколько обезобразил ему лицо. Но что он мог один сделать? Смириться и только, но он сказал довольно раздельно вслух, несколько оглядываясь по сторонам: «Я его, гада, всё равно подловлю, он теперь от меня никуда не уйдёт!..» Этот парень-моторист был бытовик, и тот гад-охранник тоже был таким. Но через несколько дней этого охранника куда-то перевели, подальше от Ларюковой, запрятали его, к великому огорчению пострадавшего моториста, который теперь уж говорил во всеуслышание: «Я его хоть через сто лет, всё равно найду, гада!»

Про зверства охранников я вспомнил, потому что, когда Жора и Саша попали в их лапы, а охранники, почуяв добычу, видя что они в лагерной робе, значит не женихи, а беглецы – беззащитные заключенные – напали на них, как ястребы, напали на испугавшихся до такой степени, когда у них обоих от страха сердце дык-дык, а душа в штаны ляп-ляп, без всяких разборов и разговоров начали их зверски бить прикладами, ногами, били по чем попало, пока сбили с ног, и с каким-то остервенением, как звери, не щадя ни лица, ни глаз – били до изнеможения, поотбивали им печёнки-селезенки, руки и ноги были перебиты, в общем, жертвы уже чуть дышали, уже, говорил мне Жора, думали, что умрём здесь...

Но те два гада или устали, или испугались, что забили до смерти, отошли от них, матерясь на весь свет, а те лежали в крови на снегу, пока не наступил рассвет. Поутру охранники их подняли, и с трудом потащили в зону лагеря.

Прошло время, оба друга оклемались, отошли, пришли в себя. Жора вспоминал, что эти эльгеновские охранники вообще и так были хуже зверей, и женихи, как говорится, «давали им прикурить» – ведь из-за женихов охранникам приходилось сидеть, дежурить, мерзнуть в этих секретных шалашах по ночам. Они боялись с женихами обращаться так как с заключенными, потому что женихи, во-первых, были все недавние заключенные, и люто ненавидели этих «вертухаев», и вдобавок ко всему были все вооружены ножами-пиками, отточенными из больших напильников, и не очень-то боялись охранников, и сами охранники это всё знали, потому и боялись женихов больше, чем женихи их. Но бить женихов??? Это же-шь было только мечтой охранников, и они только и могли, что отпугивать их выстрелами из винтовок и сигналами сообщать своему подкреплению в случае надобности. И когда попадались им заключенные, они и зверствовали над несчастными, как попали им в лапы Жора с Сашей – вымещали свою злобу на них из-за «неуязвимых женихов»...

Вот почему после руко и ногоприкладства этих зверей-охранников, Жора и Саша целый год в женском лагере, среди такого «цветника», были тише воды, ниже травы – им было не до женских чар, они еле-еле отошли, и долго ещё были начисто отрешены от соблазнов, вели себя в этом отношении великолепно, к великой радости начальницы, очень рисковавшей тем, что оставила двоих молодых парней в своем «питомнике»...

Свое испытание два друга выдержали, начальница была вполне удовлетворена, верила им, оснований для тревожений для начальницы пока не было...

Но жизнь шла своим чередом, диктуя свои законы жизни молодых людей, как мужчин, так и женщин. Зубопротезный кабинет был вынесен за зону, успешно работал на вольном поселке, много было нуждающихся в помощи. Саша получил возможность работать вне зоны, потом он стал и жить в «своей клинике». Жора, как отличный трубач, сделал хороший женский оркестр. Был в лагере ещё один мужчина, активированный по здоровью электрик лагеря – он играл на басу. Среди женщин нашлись и отличные музыканты. Четверых «аккомпанемент» Жора сам выучил играть, опыт у него был, недаром в Москве сам учился у профессора Табакова, в общем, оркестр получился хороший и начальница была вполне спокойна за своих подопечных двоих друзей.

Через время – не будем уточнять, но, конечно же, «несмотря» и «вопреки», какая-то дочка, «какого-то Тухачевского» или «Блюхера» – это было уже вроде как «узаконено» – что если кто-нибудь имел на «Эльгене» невесту, то она должна быть обязательно или дочкой Блюхера или дочкой Гамарника» – всем хотелось иметь такую «престижную» невесту. Так вот, у Жоры тоже появилась дочка Тухачевского. И, конечно же, со временем, опытно, «инкогнито», «жизнь – всюду жизнь!» – роман тайный и остросюжетный возник у них, дошел до рождения сына.

Как итог, это было под конец Жориного срока. Но тут, конечно же, всё хорошо сделала начальница лагеря (за себя больше боялась), всё прошло без огласки. Жору – очень кстати перевели в культбригаду СевЛАГа в пос. Ягодное, а невеста также избежала наказания, не без помощи начальницы лагеря, которая сделала эту помощь во избежание неприятностей для себя в первую очередь, и для Жоры, для самой невесты. Жору она все же уважала, а за дочку Тухачевского перед начальницей ходатайствовали «матроны» постарше Жоры и невесты, и начальница лагеря была не так глупа, чтобы не внять просьбам и советам тех самых жён ЧСВ, которые, надо полагать, обладали образованием, интеллигентностью и интеллектом, устоять перед которыми у начальницы лагеря не хватало ни ума, ни образования. Она что могла, то и сделала. Ребёнок от кого-то, кем-то был рождён и помещён куда надо, а папа и мама – это для всех осталось «инкогнито»...

Саша, освободившись, женился на своей лагерной невесте, у них было потом пять дочерей, я его лично знал уже вольным в Магадане, он работал в Облжилкомхозе, жена работала в торговле, дочери все учились. А Жора – по требованию прокурора – мужа его старшей сестры, приехал домой в Отрадную, к жене и сыну.

Этот спецлагерь для ЧСВ «Эльген» был настоящим ПУГАЛОМ для всех женщин, находящихся в женских лагерях Магадана и побережья – пос. АРМАНЬ, ТАУЙСК, ОЛА, БАЛАГАННОЕ и др. В самом Магадане был большой жен-ОЛП (на Колыме не было совместных лагерей, мужчины и женщины содержались строго отдельно). В городе у начальства было много домработниц, но большинство женщин работали на огромной швейной фабрике, где изготовлялось всё обмундирование: летнее и зимнее, и белье для многих тысяч, которые регулярно поступали этапами на пароходах из Владивостока и Находки. Всех по прибытии раздевали наголо, всё «свое» отбиралось, всех облачали во всё новое-лагерное, специальное. Как все домработницы (были постоянные и приходящие – ночевали в лагере), а также и работницы швейки, obsлуга Магаданских контор и предприятий, и работницы птицефермы, и овощного совхоза «Дукча». Все, конечно-же, несмотря на строгий «прижим-режим», имели возможность «отведать клубнички», насколько условия работы и контакты с вольными позволяли «это дело» – проявляли чудеса изворотливости и ухищрений, обходя все запреты и препоны не терялись, и работу охране предоставляли в избытке. Знали все, боялись этого «пугала» – удовольствие ниже среднего было попасть туда из городских лагерей в приисковые поселки «приэльгенья», за 600 км от города и за 100 км от центральной трассы. И, тем не менее, грехопадение было эпидемией, нарушительниц «лагерной этики» или «сухого закона», как называли остроумцы запрет на «ЭТО» – во множестве высылали в также остроумно названную «больницу без права материнства».

Очень многие, из высланных туда неудачниц-невест, находили там «свою долю», когда освободившись из лагеря, выходили замуж за тех самых женихов, которых охранники «Эльгена» выстрелами из винтовок отпугивали от «лагеря-мечты», как стаю волков от отары овец. Таких случаев была масса, но невест не хватало. И всё равно основное население приисковых поселков того района в настоящее время – с тех пор – составляет большинство, состоящее из самих женихов и невест, да ещё с наследством. Как говорится – «Любви не страшны никакие преграды». Но бедным женщинам, «вкусившим от запретного плода» доставалось горя намного больше, чем мужчинам, если проследить внимательно за этим «закономерным драконовским правилом»: роженицу, за нарушение, после родов обязательно наказывали тяжелой работой на штрафной командировке, или на тяжелых общих работах, но обязательно на свежем воздухе, т.е. на холоде, без крыши над головой и летом и зимой, во время которых, все они, простудившись, тяжело болели и многие умирали (ну какие там лекарства могли спасти истощенных женщин?). А если и выживали, то всю жизнь болели, даже и теперь болеют, кто выжил, разве мало такого наказания?... Одной шкуры с волка, наверное, хватит?... Куда уж страшнее было наказание?..

После родов новорожденного отбирали у матери, лишая её дитяти и материнства, а детей потом отправляли в специальные детдома, где они росли в «колхозе большом» и учились в школах, но никогда больше не видели и не знали своих родителей. Это и была той самой «второй шкурой»...

Судьба сына Жоры, этого особого плода любви запретной, до сих пор никому неизвестна, также как и его матери – где они, что с ними, живы ли вообще – никто не знает...

Сам Жора на эту тему не любил воспоминаний, никому ничего не рассказывал, и очень не любил вообще разговоров и расспросов про его жизнь в том «цветнике». Очень сердился даже тогда, когда я просил его чего-нибудь рассказать. Он многозначительно молчал... И его жена и оба сына никогда от него не слышали ни одного слова о той жизни, да и не пытались расспрашивать, знали, что это ему неприятно. В этом случае я его отлично понимал, почему и не стал интересоваться никакими подробностями, ибо знал о том, что у Жоры были основательные причины для «умолчания»... Есть такое выражение – «Вспомнить прошлое – значит, вновь пережить», не важно – хорошее оно или плохое.

А теперь подумаем, а что же ПРИЯТНЕЕ ему было вспоминать – первые свидания с дочкой Тухачевского или страхи в грузовике, когда его везли расстреливать, или зверей охранников, которые ему печёнки отбивали?... Удовольствие ниже среднего, поэтому Жора никогда, а в слух особенно, не вспоминал о том и всегда избегал разговоров на эту тему.

Немного истории из его эльгеновской жизни я узнал от женщины, которая была в то время на «Эльгене» и хорошо знала Жору, вместе с ним участвовала в самодеятельности лагеря, в бытность его руководителем женского духового оркестра. Эта Тамара Максимовна Петрунина после «Эльгена» была вместе со мной в культбригаде Маглага, как драматическая артистка. После лагеря стала Вассерман, а до Колымы была инженером отдела московского завода «ЭЛЕКТРОЗАВОД», куда попала после окончания Московского промышленного института им. Рыкова, потом переименованного в им. Орджоникидзе. Её репрессировали в 38 году, после того как арестовали брата и отца, как бывших харбинцев. Мать не вынесла такого горя и еще до ареста Тамары покончила с собой. А Тамара из Харбина приехала в Москву после 10-тилетки. Её отец был работник КВЖД, проданной Китаю, после чего он со всей семьёй в 1935 году, как все те харбинцы, приехал в СССР. Тамару из Харбина отправили в Москву учиться на тех же правах – как детей работников КВЖД. На день ареста дочке Тамары Максимовны было 6 месяцев. И когда следователь ей упомянул о том, что если она не подпишет протокол её допроса – упомянув про «могущие быть неприятности для дочки-малютки» – она поняла, что надо спасать хоть дочку, потому что уже знала, что она сама обречена, как брат и отец (на день её ареста она знала о том, что брата убили в тюрьме, только не знала за что). По уговору со следователем она подписала протокол не читая – оказалась японской шпионкой, приехавшей из Харбина специально шпионить – за что следователь сам позвонил бабушке, у которой муж оставил дочку тайно от соседей, боясь за то, что дочку могли просто взять органы НКВД, как они это делали со всеми. Муж увез в пригород Москвы дочку сразу после ареста Тамары Максимовны. Следователь по данному ему телефону справился у бабушки – матери мужа – «как мол, доченька себя чувствует?». Бабушка спросила: «Кто спрашивает?». Ей следователь ответил: «Спрашивает мама, но я ей не могу дать трубку»... Бабушка всё поняла, а Тамара Максимовна уверилась в том, что дочку муж вовремя увёз, вполне успокоилась, запомнив, какой дорогой ценой она заплатила за жизнь своего первого, да и последнего ребенка. Через 20 лет она увиделась со своей – тоже Тамарой, но это уже другой разговор должен быть. 10 лет «за шпионаж» – половину срока на «Эльгене», на общих работах в поле, потом возила воду по поселку – зиму и лето на телеге, запряженной быком вместо лошади. Заболела, попала в больницу, из которой как инженер-металлург была переведена на магаданский завод горного оборудования. Потом попала в культбригаду Маглага, как способная артистка, замеченная на смотре лагерной самодеятельности. Освободившись, стала женой инженера того же завода, металлурга Вассермана. И по стечению обстоятельств, мы не намеренно очутились с ними в одной квартире (случайный обмен), но познакомившись с ними, мы с женой и наша подружка с мужем – ТРИ семьи, довольно долго жили в Магадане, как одна семья. Остались большими друзьями и до сегодняшнего дня. Они живут в Москве, видимся мы каждый год. Так вот, эта Тамара Максимовна мне и рассказала кое-что про жизнь Жоры в лагере «Эльген».

Жора считался в лагере очень порядочным парнем, имел очень большой авторитет как руководитель лагерного женского духового оркестра, и как очень приличный трубач. Он был просто неотразим в глазах буквально всех женщин лагеря, скромный, всегда выдержанный, всегда опрятно одетым был и очень следил за собой, всегда отлично выбритый, подтянутый. Не пил (а там и пить-то нечего было), не курил (а с куревом в лагере вообще было плохо, но его как некурящего тогда это не волновало), не разбитной, каким бахвалятся все мужчины в

лагере перед заключенными женщинами. Никого никогда не обидел, и был исключительно вежлив со всеми, никому не грубил, чем, впрочем, он и до Колымы заметно отличался в нашей Отрадной, почему у нас его и звали «красной девицей».

Тамара Максимовна говорила о нём, как женщина, мало-мальски разбирающаяся в таких вещах, уверенно подчёркивая, что любой женщине в то время влюбиться в Жору было «не грех» (это, впрочем, всегда было на устах отраденских девчат) и тут Тамара Максимовна «Америки не открыла».

Жора отлично выступал как артист в драматических спектаклях, и этим он отличался в нашей Отрадной. В лагере, в совхозе «Эльген», была отличная самодеятельность. Кроме духового оркестра и хора был и драмкружок, и очень хороший.

Надо не забывать о том, что почти все ЧСВ – жены «больших людей» столицы, были, конечно же, большими театрами и любителями всякого искусства, наверное, больше всех, простых смертных, посещали театры, выставки и пр. Но также много было в той массе и настоящих артисток, балерин, художниц и других работников искусств, попавших на «ЭЛЬГЕН» только потому, что они были в хороших, а иногда и в дружеских отношениях с женами репрессированных людей «большого калибра», или просто знакомых и знакомых их знакомых – всех «замели» метлой зла. Их – таких «виновниц», на «Эльгене» было намного больше, чем самих жен и членов семей врагов. Ясно, что среди этой массы, кроме профессионалов, было много способных любителей сценического искусства, которые и организовались в очень хорошую драматическую труппу, для краткости – в драмкружок, которому по силам были пьесы и классического характера. Они переиграли почти все пьесы Островского, всех современных драматургов. Были в кружке и хорошие режиссёры, художницы, гримеры. Спектакль «Коварство и любовь» (по пьесе Шиллера) также был «освоен» артистами лагеря, в котором Жора отлично играл роль Фердинанда, а Тамара Максимовна играла роль леди Микфорд. Также очень хорошо этот спектакль способствовал установлению хорошей дружбы между ними, несмотря на то, что Тамара Максимовна была намного образованнее Жоры и по возрасту старше на 10 лет.

Ясно, что в среде всех этих «породистых» и простых смертных представительниц Московского «бомонда», а каких только высокообразованных и культурных женщин – ЧСВ и их знакомых, там не было!.. Они-то в своё время видели кое-что в жизни, и удивить их было нечем, они навидались «всяко-разно»...

И конечно, в такой среде снискать к себе уважение большинства этого «населения лагеря» было не так просто простому парню, и надо было кое-чем обладать, чтобы оправдать своё не рядовое положение среди них. Жоре, хотя и с большим трудом, удалось «сдать этот трудный экзамен». Об этом участии и очень активном, в драмкружке «Эльгена», Жора также не любил вспоминать и рассказывать, почему его семья ничего не знала об этом и не расспрашивала по тем же причинам.

По рассказам той же Тамары Максимовны, Жора в спектакле «Коварство и любовь» в роли Фердинанда блеснул в полном смысле слова...

Все спектакли, не только «Коварство и любовь», всегда были отлично оформлены: декорации, костюмы, бутафория, реквизит – всё было сделано на самом высоком профессиональном уровне, так как в самом процессе зарождения мысли о постановке, приведении в исполнение всех замыслов режиссёров и художников, принимали участие все артистки и не артистки лагеря – добровольные помощники. Начальство совхоза и лагеря никогда не скупилось на разные краски и материалы для оформления – ну, а уж насчет выдумок и фантазий у таких эрудитов недостатка не было. С большим энтузиазмом и воодушевлением помогали они, кто и чем мог, в осуществлении замыслов режиссёров и художников. Быть может хоть на время, забываясь от повседневной лагерной «красоты» и действительности, и вспоминая минувшие годы, такие хорошие... А сколько было пролито слёз этими бедными женщинами, когда они, сидя в этом убогом лагерном клубе, глядя со слезами на сцену, думали – «за какие же грехи жизни судьба послала им такие тяжкие наказания и горести»...

Во всех спектаклях, если требовалось, мужские роли исполняли женщины и с большим успехом. Были такие «неотразимые», что кто не знал правды – никак не верил в то, что это были «туфтовые мужчины». Но в случае необходимости допускалось привлечение на роли мужчин, желающих из вольнонаемных работников совхоза, что они делали, конечно же, с

большим удовольствием, как никак в спектакле участвовал вместе с дочкой Блюхера или племянницей Тухачевского...

Начальство (высокое, но не Магаданское) Северного управления СГПУ, из пос. Ягодное, специально приезжало на премьеры, в том числе и на спектакль «Коварство и любовь», и было очень довольное постановкой, и поощрило драмкружок «Эльген»-лагеря и начальницу лагеря.

Много было и других спектаклей поставлено в лагере «Эльгена» и во всех Жора всегда был на высоте, как артист...

Я был в таких отношениях с Жорой, что могу с уверенностью сказать о том, что считаю, что у него была самая красивая черта его характера – это кристальная честность. Всегда и везде могу это подтвердить и сказать во всеуслышание, где угодно и кому угодно – из чего сам собой вытекает вывод, что он был также верным своей жене Дусе, которая десять долгих и труднейших – военных, в том числе лет, ждала его, дорогого мужа. Бог внял её молитвам, и как только Жора получил возможность, ни минуты не раздумывая, сразу покинул ненавистную и страшную ему Колыму, уехал домой, к родной жене и сыну. Этой радости встречи – такой романтической, такой необычной и неповторимой радости нельзя описать, потому-что такая радость неопишима – слов таких нет, надо только самому испытать её, самому пережить.

Как его дома встретили после такой долгой разлуки жена, сын и тётя Саша Карпенко и сестра Тоня с мужем – это особая тема, которая также будет когда-нибудь подробно описана в воспоминаниях. Коротко можно сказать, что состоялась не встреча мужа после разлуки, а была настоящая вторая СВАДЬБА «старожёнов» Дуси и Жоры...

Всё нами пережитое в молодости, наверное, никогда не забудется. Не проходит дня, чтобы какие-нибудь подробности не всплыли в памяти, иногда до такой степени подробно, что приходится «чего-нибудь кинуть под язык»...

Вспомнилась «послетюремная эпопея», что происходило на пересылке во Владивостоке, где в течении более месяца безделья и тюремного голода, в ожидании этапа пароходом в Магадан, все там только и делали, что собирались кучками, как на базаре, и бесконечно дебатировали на тему: куда и зачем нас везут, как там будут кормить и что мы там должны делать. Каких только прогнозов и догадок не было среди такого «богатого присутствия» эрудитов и специалистов «всяких уровней, пород и родов», от рядового простого смертного колхозника и до самых-самых-самых-рассамых образованных... Эта тема волновала всех поголовно, за исключением «людей» или «бывалых», «битых», «ранее просвещённых жизнью по лагерям». Они, в силу своих наивных «умений и знаний», как могли, просвещали всех нас наивных лагерных новичков, однако не всё рассказывая про жизнь в лагерях. Умудрённые опытом, в своём роде просвещённые, бывшие и настоящие уголовники, «друзья народа», попавшие в сети 35-36-37 годов, блатари всех марок, боялись Колымы как огня, и чтобы не попасть туда, резали себе животы, отрубали пальцы на руках и ногах, болели страшно от настоя махорки, который пили, и придумывали во вред своему здоровью массу разных «мастырок», чтобы заболеть и подольше продержаться на пересылке, минуя этапы. Всё равно где, но срок-то идёт, а при случае можно и убежать, но с Колымы-то не убежишь. Они-то и рассказывали, НО НЕ ВСЁ, о лагерях. Но и из того рассказанного можно было сделать правильный вывод, что «везут-то нас не в гости к тёще». Чтобы с голоду не пропасть надо было хорошо работать, добывая себе пайку и «приварок» выполнением нормы в забое, шахте или в лесу. А это не так просто людям, никогда не знавшим тяжелого физического труда, и что такое «норма» – никто себе не представлял. Я, как и многие, сразу сделал вывод, сам догадался, был тысячу раз прав, что раз работать заставляют голодом, значит будет страшно трудно выполнить норму за пайку хлеба, да ещё из под палки. И Жору уверял в том, что нас везут почти что на каторгу... Но Жора такой наивный был, ничуть не верил в это плохое, и старался меня успокоить. Говорил: «Раз дают еду лучшую, чем в тюрьме, значит жить можно, надо только не лениться и выполнять норму. Что же ты думаешь, на погибель нас везут что ли?»... Я ему с пеной у рта доказывал, что он не прав, но Жора, доверчивая душа, спорил со мною и говорил: «Ну что ты мелешь?».

Вот тут я ему и говорил убежденно, до хрипоты споря с ним: Почему же вот эти «бывшие» и «битые» и ничего в жизни не боявшиеся, Колымы как огня бояться?».

И вот когда мы с ним встретились через 10 лет на Ягодном, после наших «смертных Одиссей» – он мне, со слезами на глазах, признался: «Сколько раз в забое с тачкой я вспоминал тебя и горько-горько плакал. Прав ты был во всём»...

На погибель... Таким был наивным. Я сам боялся этого слова «погибель», но с Жорой был не согласен, убеждая его словами этих «бывших», этих блатарей, которые нам рассказывали про лагерь, и думал про себя, что погибель или не погибель, но везут нас именно не в гости к теще, готовил себя к самому худшему, в чем и не ошибся, хотя от страха перед этим дрожал, как осиновый лист... А Жора со своей наивной душой плакал от обиды, в том числе и от обиды на самого себя, за то, что был такой доверчивый, когда зарабатывал пайку, выполняя норму с тачкой в забое... «Ты прав был ещё во Владивостоке, – говорил он мне, – а я, говорит, был такой дурак, что и не сообразил, что делать даже тогда, когда уже убедился, что нас везут именно «туда», вижу, что из грузовика на ходу все начали прыгать в разные стороны, и я тоже, закрыв с перепугу глаза, сиганул в снег».

А уж потом, когда оказался рядом с Сашей в сугробе, начали соображать, как и что. И тут только, говорит, мы оба, испугавшись по-настоящему, второпях напоролись на тот самый скрытый провод, который дал сигнал охранникам. А когда были уже в относительной безопасности, в женском лагере, «отходили» от побоев охранниками, «зализывали раны, как собаки после драки», набирались здоровья, приходили в норму – обо всём вспоминали – тогда, говорит, я прозрел окончательно, куда нас везли, убедился, и ещё раз вспомнил о том дне, когда увидел зиму в июне, и как ты сказал: «А теперь видишь, куда нас привезли и зачем?»...

И вот вся эта масса голодных и измученных (было на пароходе не менее трех тысяч человек) недельным морским переходом Владивосток-Магадан, из темных трюмов выползла на палубу, ахнула от испуга и изумления. Все ошеломленные, озираясь вокруг, выпучив глаза, с раскрытыми ртами и всё больше пугаясь, вспомнили услышанную на пересылке песню: «Колыма, Колыма, чудная планета – увидели все горы, окружающие Магадан, в снегу – девять месяцев зима, остальные лето» – вполне убедились в том, что это «не тёщин дом», а снег в июне – вот это да!, – ведь ни один человек со всего этапа никогда в жизни не видел снега в июне, да в таком количестве. Я тогда сказал Жоре: «А ты говорил, что не на погибель»...

Ведь многие не предполагали, что видят зиму в июне в первый и последний раз в жизни – скольких Колымская зима приняла в свои вечные объятия...

Перепуганные и онемевшие увиденным – (как будто мало ими всеми было увидено всего разного по тюрьмам и этапам) – это чудо природы удивило их. На некоторое время все замерли, стоя неподвижно с открытыми ртами – были, как две капли воды, похожи на заключительную сцену спектакля «РЕВИЗОР» – помните? Так мне она до сих пор помнится во всех подробностях, всплывает в памяти помимо желания, а ведь прошло с тех пор более 50-ти лет...

Я часто сравнивал Жорину лагерную судьбу со своей. Имею ввиду то самое страшное время Гаранинского произвола на Колыме в 37/38/39 годах, когда люди тысячами гибли по приискам. В июне 38 года, после забойного ада, когда я чуть не погиб от голода, меня спасли блатные, подкармливая хлебом, за что я им на гитаре играл, и потом, уже совсем умирающим, меня тот же блатарь на свой риск, без врача отправил в больницу (за это я ему подарил свою «чепу» – так назывались тогда модные кепки клетчатые с большими козырьками и с пуговицей наверху). Из больницы, обратно на прииск, я уже не попал, и дальше моя фортуна была ко мне благосклонна. Я выжил, и этим всё сказано.

Жора, также «вкусивши всего от забоя», был одной ногой в могиле, но и ему фортуна улыбнулась в кузове грузовика. Но мы с ним никогда не говорили, и нам мысли не приходили в голову о том, что в конце концов, выручила нас из всех бед наша полупрофессиональная любовь к музыке...

Мой отец был из бедной семьи бывшего крепостного портного. Его отец (мой дед) умер в 1919 году от запоя. Отец мой по наследству стал тоже портным – самостоятельным мастером. Женился на моей матери, которая была из более зажиточной семьи. Её отец (мой дед) имел в станице бакалейную лавку и сдавал под винно-монопольный магазин полдома, в котором жил – с лавкой. Матери моей старшая сестра Полина была замужем за богачем Отрадной Мальцевым, который имел большое хозяйство: отару овец, много коров, большой сад и рощу, мельницу водяную и зимнюю с дизелем, большую пасеку. Он умер от простуды в 1915

году. После его смерти тетушка моя вышла замуж за богача Отрадной Сазонова, имевшего свой маслозавод. В 1929 году их раскулачили, они уехали в Абхазию, купили там доходный дом с садом. Он умер в 1958 году, а тетушка в 81-м. А в Отрадной, до раскулачивания, она жила в своем большом доме, возле которого был большой газон с цветником, где под тенью фруктовых деревьев абрикос и яблоч стояла дачная мебель и всегда у неё были какие-нибудь гости. Я с братом и сестрами часто бывали у неё в доме, она всегда нас угощала или чаем с пирожками и вареньем, или мороженым. И каждый раз мы все видели по ту сторону кустов сирени и штaketника – изгороди, отделявшей хоздвор от дома хозяйки, мальчика, старше меня года на три – сына тетушкиной кухарки (работников у тетушки было много на хоздворе, при таком большом хозяйстве), которая во время голода в 1921 году приехала на Кубань, да так и «осела», как многие приехавшие из Саратова и других городов Волги. Этот мальчик, звали его Тимофей – всегда ходил в длинных холщевых штанах с одним помочем наискось и с прорехой сзади, чем очень всех нас смешил, этими длинными штанами (мы с братом ходили в коротких детских штанишках до колен, а он мальчик ещё – а уже носил длинные штаны). Всегда стоял за изгородью и жадными глазами на нас смотрел с завистью, и даже с некоторой злобой. Это все замечали, и его мать, кухарка, как только увидит его, стоящего у штaketника, моментально своим крикливым голосом громко его окликала с саратовским «выговором»: «Тямонька, делая ударение на букву «Я», вместо «И», – а ну подь сюды, кому говорю, слышишь, Тямонька?»... Это её по-саратовски ударение на «Я» вместо «И», и не только в этом слове – на Кубани говорят – «бигуть бигом», а в её исполнении это звучало «бягуть бягом», что вызывало у всех чувство смеха. А этого мальчика все в доме так и называли – «ТЯМОНЬКА», что ему, конечно, не нравилось, но он всякий раз после окрика матери отходил от изгороди со злобой, оглядываясь на нас с братом, на наши городские короткие штанишки. Я это до сих пор отчетливо помню, как его мать ему выговаривала: «Не глазей на ту антилигенцию, в городских штанах».

Но это его имя так и присохло к нему, и все в Отрадной, и по улице, и в школе, так его только и звали, а уличные пацаны при виде его уже дразнили его, и как можно громче выкрикивали на всю улицу или на школьном дворе: «ТЯМОНЬКА-ТЯМОНЬКА, у тебя штаны гавном наверху». И со временем это уже превратилось в прозвище, которого сам Тямонька боялся и не знал, куда деваться от него, каждый раз краснея от обиды, и потому он обозлился на всех и вся. Никаких в школе у него товарищей не было, я во всяком случае не знал ни одного. После 4-х классов кухарка с сыном переехали в другую станицу – конечно же по этой причине, и в другой станице он окончил семилетку, и как я потом узнал, поехал учиться, вернее, его как комсомольца послали в Армавирскую Совпартшколу. К этому времени уже была у нас «Синяя блуза» – я уже со взрослыми в духовом оркестре играл и об этом слышал от старших комсомольцев, и появился он в Отрадной только в 1937 году, уже как Секретарь РК ВЛКСМ. Это было примерно в сентябре месяце. До Евтушенко у нас секретарем был Пурисов, который меня хорошо знал и как музыканта, и как капитана нашей Райкомовской футбольной команды. Наш физрук был Радченко Тимофей, дни и ночи проводивший с нами, футболистами, и для меня замена секретаря Райкома прошла как-то незаметно. Когда я узнал об этой замене, то, конечно же, немного удивился, как, впрочем, и не только я один, большинство старых Отраденцев-комсомольцев не без иронии говорили про этого нового секретаря. Вот, мол, вам и Тямонька.. Мне, как заядлому футболисту, да как и всем нам, было не до этого. Мы в том году впервые участвовали в розыгрыше первенства по футболу нашего добровольного общества «УРОЖАЙ». Мы уже вышли в 1/8 финала и собирались ехать на игру в Батайск. Мне ни разу не пришлось видаться вблизи с новым нашим секретарём, да я и не очень стремился к этому, и совсем не интересовался переменой секретаря.

Конечно я, как и очень многие из нашей Отраденской молодёжи хорошо знали и помнили именно того ТЯМОНЬКУ в его знаменитых штанах. Одно его имя всех смешило, все, покачивая головами, говорили с усмешками: «Вот, мол, вам и Тямонька, а гляди-кем стал!»... К его назначению секретарем все относились по-разному, но я сам так думал, что это небольшая честь была для нашего Райкома ВЛКСМ, что секретарем прислали нам этого Тямоньку, и мне казалось, что большинство нашего актива райкома думало также.

...Евтушенко был коренастым, небольшого роста, курносый, с небольшими скулами, обыкновенный тип, ничем не примечательного и невзрачного вида сельский парнишка. И когда

он, уже повзрослевшим, стал ответпарработником, ничем он не выделялся и не отличался – ни организаторскими, ни ораторскими способностями, как какие в те времена были более или менее заметны у работников, выдвиженцев из молодых комсомольцев, каким был в то время он. Женат был на Долговой Анне, которая со мной училась до окончания школы и меня знала отлично, как и я её. В школе она также ничем не выделялась – ни наружно, ни умственно от всех девчонок нашего класса, и её замужество за Евтушенко было как-то для многих непонятным, так как её родители были не из бедняков, что в те времена значение имело... Во всяком случае, никакими деловыми качествами настоящего комсомольского вожака тех времён Евтушенко не обладал. До него у нас были присланные из городов настоящие активисты-комсомольцы тех времён, из рабочих или старых активистов, типа Павки Корчагина, или из молодых героев войны и революции, которые в большинстве такими качествами авторитетного старшего обладали. Все комсомольцы их всегда уважали и долго помнили – (все они потом понесли тяжкое, модное в те дни звание «врагов народа»)... Так вот таких качеств у Евтушенко и в помине не было, но своеобразного ГОНОРА и похвалы своим безупречным пролетарским социальным происхождением, что было очень модно, и даже поощряемо в те времена, у этого нашего нового секретаря Райкома, как и у всех тогдашних «выдвиженцев», с такими «сверх пролетарскими биографиями», было во много раз больше, чем настоящих деловых качеств именно комсомольского вожака тех времён. Все они очень, в том числе и Евтушенко, до одури гордились этим, и где надо, и где не надо выпячивали до оголения свое социальное происхождение, зверели, ненавидя физически людей с непохожими на их биографии, и всячески придирались во всех случаях жизни ко всем людям с другими происхождениями и биографиями.

Откровенно говоря, я бы на его месте никогда не поехал бы после учёбы на работу комсомольским вожаком молодежи, среди которых он вырос из «Тямоньки в штанах с прорехой сзади гамном наверх», где его все помнили, и вся молодежь кликала только этим именем – (чисто кубанское выражение) – вырос, в смысле стал старше по возрасту и только... И поехал бы, если уж вожаком молодежи, то только в такое место, в котором меня никто не знал бы, именно как «Тямоньку», потому что это давно уже звучало как ПРОЗВИЩЕ. А он ведь стал уже ответпарработником с безупречным соцпроисхождением и должностью, которые ему и надо было чем то оправдывать, доказывая это в работе. И он нашел свой путь очень скоро, когда именно в 1937 году появился снова в Отрадной, он стал активным выявителем самого модного и ненадежного в то время элемента...

О своём прозвище он отлично знал, и конечно же, хорошо помнил, где как и когда он впервые обнаружил себя «ТЯМОНЬКЕЙ»... Ведь прошло не более десяти лет с тех дней, когда он бегал по хоздвору моей тетки богачки и по улицам станицы в своих знаменитых штанах «гамном на верх». Он все отлично помнил и мне кажется, что он появился в 37 году в Отрадной специально для того, чтобы рассчитаться с ненавистными Смирновыми, единственными живыми свидетелями его «Тямонькиного детства», от которых, как ему казалось и как он думал, и пошло это убедительно обидное для него прозвище, из-за которого он вынужден был покинуть Отрадную, и школу 7-ми летку окончить где-то в другой станице...

К тому времени мою тётку раскулачили, они уехали в Абхазию. Тямонька появился в Отрадной в то самое «благословенное» время, когда ему предоставилась возможность проявить себя в разоблачении врагов народа. Таких «Тямонек» в те времена было много и очень много, даже больше, чем требовалось. И, конечно же, эти «Тямоньки», с такими безупречными и престижными биографиями, были в первых рядах «самых-рассамых» активистов, которые «сплывали в небытие» тысячи и тысячи совсем ни в чём не повинных людей. Конечно же, наш отраденский Тямонька хорошо помнил своё детство в своих знаменитых штанах с прорехой и школьные годы в Отрадной, когда он стыдился появляться среди пацанов.

Эти обстоятельства и сделали его, как вполне благонадежного, с безупречным происхождением, тем самым непримиримым борцом с врагами народа...

Ясное дело, что он меня отлично знал и помнил. А в 1935-37 годах я был замечен среди молодежи в Отрадной, как музыкант с ранних детских лет, и как футболист. Это могло подействовать неблагоприятно на Тямоньку, он отлично видел и чувствовал разницу между собой и мною. Меня в Отрадной все знали с 5-ти летнего возраста, как маленького настоящего балалаечника. С 8-ми лет я уже играл на домре в школьном оркестре учителей, выступал на

сцене, в 10 лет я играл в духовом оркестре со взрослыми, все комсомольцы старшего возраста (как и Евтушенко по годам) были участниками «Синей блузы» и я с ними был вместе, как музыкант, а Тямонька только издала всё это видел и, конечно же, мне страшно завидовал, вспоминая свое детство. И появился он в Отрадной именно в 37 году, когда он смог полностью реализовать свои расчеты, которые не давали ему покоя, потому что он с детства уже был поражен бактериями борьбы – с кем – не важно, но именно с «классовыми врагами», которых он видел, повторяю, с раннего детства, в лице хозяйки, у которой его мать была кухаркой. И когда он стал, в его представлении, «борцом» за классовую справедливость, тем более с таким сверхпролетарским происхождением, подошло то самое «благословенное время», когда на этой «почве» прославились очень многие патриоты, типа этого Тямоньки.

Ясное дело, что он люто ненавидел всю нашу фамилию только за то, что сестра матери моей была богачкой, а нас за то, что мы были её родственниками. А у нас, Смирновых, у моего отца и матери, не было в Отрадной даже собственного дома или хаты. До 1931 года наша семья жила по квартирам, снимая на время у казаков флигельки или небольшие домики-квартиры, а нас было пятеро детей... И только в 1931 году отцу осталась хата его матери, уехавшей с дочкой Тоней (сестрой отца) на Дальний Восток «за длинными рублями», куда потом, в 1934 году, поехали и наши родители с нами, детьми, за «этими же рублями», продав свою хату, доставшуюся от бабушки за 700 рублей – по тогдашним ценам это было очень хорошо.

В августе 37 года родители, по окончании договорного срока, возвратились в Отрадную и купили новую хату, немного побольше прежней – в две комнаты, с огородом и сараем во дворе – за 800 рублей. Большого «имущества» у моих родителей никогда в жизни не было, кроме необходимой мебели и домашней утвари...

Вспоминая прошлые годы, сопоставляя некоторые данные из нашей прошлой жизни, я пришел к выводу о том, что этот Тямонька принимал самое непосредственное и активное участие в трагедии нашей семьи. Первой жертвой стал я, а потом отец.

По возвращении в Отрадную «с длинными рублями», кстати сказать, если бы отец не возвратился опять в Отрадную с Дальнего Востока, не было бы никакого ареста отца и меня. И вот пример: вместе с ним в Золотопродснабе там работал некто Боровик Антон Иванович, который с отцом переписывался до самого смертного дня отца – до 79 года. Боровик был выслан из Минска в 1932 году, и никто его там не трогал до сего дня. Отец работал бухгалтером в СельПО, председателем которого был в то время Карпенко, главбухом был некто ЯИЧКИН, который на работе сфотографировал отца, как он сказал, «для него». Когда отец принес это фото домой, на вопрос матери – откуда и зачем это? – отец сказал: так, Яичкин на память сделал, хотя его и не просил никто». Прошло время, уже после реабилитации, мне отец рассказывал, что когда Романов, во время следствия, просил подписать протокол допроса отца с первой попытки – отец, наивная душа, всё подписал, веря на слово Романову (приговор сам себе на 10 лет за КРА), то видел при протоколе приколотую ту самую фотографию, что делал главбух Яичкин. Для какой иллюстрации или подтверждений протокольных признаний отца была приобщена та фотография – это покрыто мраком неизвестности. Но она была приобщена к делу, как нужная и необходимая улика, а отец по своей порядочности и наивности не смел не верить Романову и не читая, по его просьбе ВСЁ ПОДПИСАЛ сразу. А теперь, по прошествии многих лет, отец вспоминая все, ПРОЗРЕЛ наконец и убедился в «порядочности» Начальника РО НКВД Романова... Вспомнил и эпизод с теми серебряными чайными ложечками, которые я увидел в руках детей Романова, бегавших по двору, нечаянно очутившимися в нашем дворе. Изгородь была из кустов сирени, Романов был нашим соседом, когда мы жили в хате бабушки, уехавшей на Дальний Восток с дочкой... Все это так, но при чем же здесь Тямонька?... Какая с этим связь?..

А вот какая. Все такие активисты по разоблачению и искоренению всяческих врагов народа, воодушевленные в своих сверхпатриотических порывах, рвались ко всеобщему и ещё большему искоренению «элемента» и таких, которые ранее знали, но молчали, приравнивали к самым виновникам, и их в большинстве постигла та же участь, т.е. они все оказались наравне с разоблаченными ими врагами.

А председатель СельПО Карпенко держал у себя на работе бухгалтера Смирнова – врага народа, у которого и сын был арестован как враг народа, а у сына его, т.е. у меня, Смирнова Николая, был друг Жора Лизогубов, который на правах приемного сына, жил у самого Кар-

пенко в семье – это ли не нарушение?.. Почему сам Карпенко ДОПУСТИЛ ЭТО?.. Как это так, ЗНАЛ про всё и молчал?.. Почему молчал раньше?.. Тем более бывший работник ОГПУ – как это так?..

А ведь за разоблачение и ликвидацию врагов народа и их пособников, каковыми оказались разные Карпенко – таким, как ярые активисты Тямоньки, кое-что и засчитывалось «в заслуги». Так вот и получилось, что сам Карпенко хорошо знал обо всем этом, то есть о том, что делается в мероприятиях по борьбе с врагами народа, но сам он НИЧЕГО НЕ МОГ делать, так как у работников ГПУ, и вообще тех органов, была и есть своя «КЛЯТВА ГИППОКРАТА», которую все работнички, как настоящие, так и бывшие, должны СВЯТО ХРАНИТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ до конца своей жизни, несмотря ни на что. Карпенко очень хорошо знал, как и кто эти дела на меня, на отца, на Жору, накручивает и что будет в финале этих «накруток», чем все это должно кончиться. Он, Карпенко, ВСЁ ЗНАЛ и НИЧЕГО не мог сделать ни в защиту, ни в помощь, ни в предотвращение всей беды для Жоры – своего приемного сына, а не только для меня. Он сам за себя боялся и САМ СЕБЕ помочь ничем не мог, потому что должен быть верным «клятве», если он хотел остаться в живых. Теперь мы много прочитали и многое узнали из прошлого времени и о работе органов, об этом написано достаточно подробно.

И Карпенко, стиснув зубы, должен был МОЛЧАТЬ обо всем, как рыба об лёд и терпеть, видя все беды, даже в своем доме. Он жене своей родной не мог ни слова вымолвить и даже вздохнуть вслух – такие «правила клятвы». Ведь у нас в Отрадной все выявления и «ликвидация врагов народа» началась не с наших фамилий, было арестовано очень много людей, солиднее, чем я, мой отец и Жора, а к концу 37 года репрессии намного усилились, и таким как Карпенко уже надо было призадумываться и над своей судьбой, так как он в прошлом все же бывший работник этих органов и ЗНАЛ ОЧЕНЬ МНОГО, больше чем надо. И тогда и случилось то, что было самым верным и логическим выводом в его, Карпенко, жизни. Он вынужден был ПРОСТО СБЕЖАТЬ, безсловно и бесшумно, что он и сделал, когда узнал или увидел петлю над своей шеей, услужливо повисшей над его головой по «протекции» активиста Тямоньки, который только руки потирал от удовольствия. Совсем не обязательно было кому-нибудь из друзей Карпенко предупреждать его о той петле, которая висела над его шеей, он сам был в состоянии догадаться об этом, сам там работал когда-то и знал всю преисподнюю. И правильно он сделал, что поступил по известной поговорке – «в таком деле, самое главное – вовремя смыться»...

И чтобы всё выглядело «КАК НАДО», чтобы никто не мог и тени неправды увидеть «в семейном скандале», якобы послужившем единственной причиной внезапного исчезновения Карпенко из дома – была, как по нотам разыгранная пантомима, или «семейный скандал-драма», которую он придумал, отрежиссировал, и отлично продемонстрировал и перед семьей и перед работниками своей конторы СельПО и, разумеется, перед Начальником РО НКВД Романовым, и его ближайшими помощниками «Тямоньками»... Немного возвращусь назад, к уже написанному о том, что пошли слухи и сплетни о том, что он спутался с бабой-сотрудницей. Его жена Шура узнала об этом, а для выяснения и уточнения этого факта к нему на работу, в контору СельПО, отправилась не жена, а ТОНЯ, сестра Жоры, жена прокурора. Эта самая сотрудница-соблазнительница как раз выходила из кабинета Карпенко. Увидев её, Тоня схватила её за волосы и в конторе СельПО, при народе, возникла «вселенская драка» двух женщин, с криками и причитаниями, как это умеют делать все женщины в таких экстремальных ситуациях, а Кубанские бабы особенно... И после этого «КИНО», Карпенко, чтобы не было неприятности – выехал, и уезжал он от меня – это слова Дуси, жены Жоры...

А почему САМА ЖЕНА не участвовала в этом «КИНО»?.. Почему Карпенко уезжал не из своего дома, а от меня, т.е. от Дуси? Короче говоря, он вовремя смылся... Это самое главное – причина внезапного побега от семьи была ярко и убедительно продемонстрирована – «семейная драма», которая на все 100% завуалировала, упрятала, скрыла подлинную необходимость побега. Дальше рассказывает опять Дуся: потом он приехал, когда всё утряслось – через полтора-два года, и уже на фронт его провожали из дома – это тоже слова Дуси.

Иначе Карпенко не мог поступить, так как был всё же «под клятвой», а работники того аппарата, который назывался ОГПУ, под ней были до самых последних минут своей жизни.

Насколько Карпенко убедил Романова и его «Тямоньку» в правдивости причин бегства от

семьи, но свою семью, сослуживцев и всех друзей и знакомых до того убедил, что все они до сего дня непоколебимо ВЕРЯТ в то, что он покинул семью из-за бабы, в чем я, своими воспоминаниями и хочу всех РАЗУБЕРИТЬ и, как говорится, «открыть всем глаза»... Его дальнейшая история мною уже написана.

Жора умер в 1987 году, немного не дожил до времени полной гласности, и потому не мог ничего узнать про те времена, когда и ему, и мне пришлось многое испытать и пережить, в результате чего наши молодые жизни были просто загублены без вины и причин.

Я в Отрадную ежегодно приезжал просто побывать на Родине и всегда останавливался у Жоры по старой дружбе. В 1979 году я также был у него, и в один день, помню, пришел к Жоре музыкант отраденского оркестра, известить Жору о том, что завтра, в 15-00, похороны кого-то, мол, Жора, приходи с трубой. Я сидел за столом и этот парень молча подаёт мне руку, мол, здравствуй!.. Я с ним обменялся рукопожатием, даже не взглянув на него, я просто не успел, так как он быстро ушел... Кто это был? – я у Жоры спрашиваю. – Да что ты, не узнал? Это же Пантюха Ревин, помнишь, пацаном был тогда, всё нам то ноты, то инструменты носил, был учеником в нашем оркестре, неужели ты забыл? Я помню такого пацана до сих пор, но в лицо я не успел его узнать, так как он быстро, мне казалось даже быстрее чем надо, ушел. И по этому поводу, собственно, чтобы объяснить мне, почему Пантюха так быстро ушёл, Жора мне стал рассказывать о том, что когда Жору арестовали во второй раз, а потом отпустили домой через несколько месяцев – этот Пантюха, ставшим баритонистом с тех «пацанских» пор – при первой же встрече с Жорой признался ему в том, что его, Пантюху, и ещё одного музыканта, тоже из тех времён «пацанской любви к духовой музыке», который также с тех пор стал музыкантом – все они с Жорой играли в оркестре ДК, которым по старой памяти руководил Жора и после первого освобождения, и приезда с Колымы, и после второго ареста, вызвали в органы и ЗАСТАВИЛИ написать на Жору клеветническое заявление. Причем от каждого по заявлению потребовали, и эти заявления, вроде бы должны были быть главными обвинительными причинами для ареста Жоры. И просил прощения, со слезами умолял Жору забыть этот его паскудный поступок, просил поверить в его искреннее признание, так как он, Пантюха, очень боялся угроз и под страхом, и только под страхом, согласился сделать этот предательский поступок. И просил, не дай Бог! – никому не рассказывать об этом – иначе ему, Пантюхе, самому будет петля. Вторым музыкантом сам Жоре ничего не говорил, не признавался, но по поведению всех окружающих в то время ихнюю компанию этот парень ЗНАЛ о том, что Жоре про него известно, и в отношениях с Жорой вёл себя так, как будто бы ничего и не случилось.

После рассказа Жоры, я немедленно встал из-за стола и пошёл тщательно, с мылом, помыл руки...

Про второго парня Жора мне не стал рассказывать. Его старший сын Юра, знавший эти истории по рассказам самого Жоры, дополнил рассказ про него, и фамилию назвал (я не указываю её – он жив, здоров и продолжает играть в оркестре, работает бухгалтером – тоже из той плеяды пацанов при нашем времени, я его хорошо знаю. – Ну, и как ты, Жора, на это реагировал? – спрашиваю я, когда, помыв руки после Пантюхинского рукопожатия, возвратился к столу, за которым мы с ним завтракали. – А как я должен был реагировать? – говорит Жора и усмехнулся, продолжать не хотел, замолчал... Я тут же сориентировался и вспомнил, что Жора всегда был у нас «красной девицей», человеком не от мира сего, не стал ничего спрашивать далее, а Юра мне пояснил, что Жора сделал вид, как будто бы ничего не случилось, и никогда, никому из домашних не разрешал никаких разговоров, рассуждений и комментариев на эту тему, и конечно же, сам никогда и никому, КРОМЕ МЕНЯ, об этом ни слова не произнёс. Я же на это среагировал по старой лагерной «этике» – сразу руки помыл – (мерзопакостный тип этот Пантюха был), и признаюсь, подумал о нём я не лестно для него. И носит же ещё земля таких, Бог его накажет, и всё в том же духе. Жора, в силу своего характера, а он всегда и везде был таким всепрощающим, для которого плохих людей не было на свете, продолжал до самых своих последних дней вместе с ними играть в Отраденском оркестре, и ни словом, ни жестом, ни каким-либо намёком не давал никому повода подумать о том, что Жоре все за их поведение известно, короче говоря, он им ВСЁ ПРОСТИЛ. И оба эти парни, а они уже стали давно мужиками в возрасте, имели детей, жен и даже внуков – они это приняли как должное и никто из них ничуть не страдал хоть какими-нибудь самыми

мизерными угрызениями совести, этого они так и не постигли.

Рассказал мне об этом Жора давно, лет за пять до своей смерти, я почти каждый год приезжал в Отрадную к нему, просто повидаться, но этого Пантюху, после того рукопожатия в доме Жоры, я не видел ни разу. Он, наверное, знал о том, что я нахожусь у Жоры дома – просто не приходил в эти дни к нему, а второй парень – тот никогда не ходил к Жоре даже во двор. Я, со своей стороны, также никогда не интересовался этими типами. Делал так, что как будто бы я их никогда не знал, да иначе мне и не надо было о них думать, но в глубине души я всё думал так же: «носит же земля таких падлов на себе»...

И вот, буквально за год до смерти Жоры, мне Юра, его старший сын, сказал, что Пантюха Ревин умер в 86 году, просто болел, и сердце подвело его. Я же в тот момент подумал – «есть же Бог на небе, а этот Пантюха, после того как меня увидел у Жоры – (а он всё знал с самого начала до конца в нашей Колымской истории) – наверняка стал мучиться совестью, душевно заболел от своего предательства, оказался во власти суда своей души и знал о том, что Жора мне за него всё рассказал, а если не знал точно, то интуитивно предчувствовал это, так как Жора НЕ МОГ НЕ РАССКАЗАТЬ МНЕ О НЁМ. Этого Пантюху я ведь знал с 10-летнего возраста (как он уцелел во время войны – не знаю) и от этого предчувствия ещё больше переживал и мучился, пусть даже подсознательно, ведь он намного моложе и меня, и Жоры, а УМЕР-таки, УМЕР – его совесть замучила.

Об этом я с Юрой долго разговаривал, и Юра был со мною вполне согласен, а Дуся, жена Жоры и мать Юры – так она сразу со мною согласилась, ещё больше утвердив меня в моих, чисто смировских домыслах – повторяю: Бог на небе есть!

На похоронах Жоры я был, музыканты оркестра не все, но большинство из них, провожали Жору, в числе которых был и тот, второй парень, бухгалтер. Играли они как положено на похоронах – я не мог с ними играть, потому что я давно не в форме, и мой отказ они поняли правильно. Но после похорон, на поминании, для оркестра был накрыт отдельный столик, и все музыканты пригласили меня за свой стол помянуть Жору, как музыканта и моего друга. Мне нельзя было отказаться от их приглашения – (ведь за столом сидел второй парень – предатель Жоры – самая веская причина для меня не садиться с ним за один стол), но рассудив, скрепя сердцем, но ничуть не подав виду – пришел, сел за их столик на приготовленное для меня место. Сказал подходящие слова о Жоре, которые произносятся в таких случаях, добавив от себя, что из всех присутствующих за этим столом нет ни одного человека, включая и меня самого, который бы мог быть по своему характеру хоть чуть-чуть похожим на Жору. Жора был ОСОБЕННЫМ человеком, таких МАЛО на земле, Жора был ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ! Выпил положенный мне стакан, плотно закусил, для приличия немного посидел с ними. Больше не мог видеть перед глазами этого второго предателя-бухгалтера, как говорится, отдал должное памяти Жоры, как своего друга, сказав всем «спасибо за компанию», если можно так сказать – «многозначительно удалился от ихнего стола», сел за общий стол, где сидели родственники и более близкие.

Не вдавался в подробности, поняли ли меня сидевшие за столом музыканты, дошел ли до них мой НАМЁК, если поняли, то КАК и КТО именно, но больше я с ними ни с кем не встречался, за исключением одного человека, который стал руководителем оркестра после смерти Жоры (примерно за полгода до смерти Жора уже не ходил в оркестр по состоянию здоровья, дома сидел, больной (частичный паралич). Уместно будет вспомнить поговорку: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком иногда может». Так мне привёл Бог случай встретиться с теми, которые, как оказалось, меньше всего в жизни хотели бы меня видеть живым и здоровым после 37 года. Но именно эти люди тогда были совсем пацаны и мало чего знали в то время. Нас знали как музыкантов молодых, и которые сами с детства хотели быть такими же, какими мы тогда были. Это им удалось – музыкантами они стали, а вот сохранить в себе честного человека им помешали, поэтому не будем их судить строго за это, в такое время мы живём, будем надеяться на лучшее...

Когда начинаешь вспоминать тот проклятый 37-й год, в памяти всплывают такие, вроде бы и незначительные эпизоды нашей молодости, которые при уточнении становятся вдруг немаловажными обстоятельствами, впоследствии оказавшимися даже чуть не причинами случившегося с нами несчастья. Жаль только того, что к этим выводам пришлось подойти только после случившегося.

В 1965 году, после многолетнего отсутствия, в Отрадной появилась Лена Улыбушева (уже Елена, скажем, Михайловна), наша с Жорой общая знакомая, из девчонок нашей молодости, со мной она ходила в одну школу. Меня и Жору она знала хорошо, была активисткой нашего драмкружка, всегда было видно по её поведению то, что она была бы не против того, чтобы я или Жора познакомились бы с ней поближе. Но, ни моим, ни Жориным вниманием она удостоена не была, хотя она и показывала это довольно заметно.

У меня был отличный новый велосипед – что в то время было немного престижно для молодых людей, так как их тогда вообще было мало, и очень часто она меня просила: – Коля, покатай меня... Я иногда (не всегда, когда она просила), сажал её на раму, и мы с ней прокатывались по людным местам, молодежь нас видела, и Лена было всегда довольна.

Случилось однажды – это было примерно в июле 37 года (незадолго до моего рокового дня 18/X), вечером она также меня попросила – я её посадил на раму и не успел сам сесть, как мы с ней рухнули на землю, не поняв в чем дело. Снова я её на раму, и опять я не успел ногу занести – снова мы с ней упали на землю, она уже ушиблась и я локоть до крови сбил. Не пойму – в чем дело?.. И в третий раз мы с ней упали на дорогу, и по ушибленным уже местам на руках и ногах снова ушиблись и уже чувствительно... Я сразу не догадался, а на этот раз понял, что гайка болта на середине руля отошла, руль не держался и вихлял туда-сюда, я не мог его уравновесить, поэтому мы и падали с ней. Я начал прикручивать ключом гайку, а Лена, прихрамывая отходя, проговорила чуть не со слезами, обиженная: – Ну, Николай, я этого не забуду – и ушла от меня.

Я вслед ей говорю: – Лена, пойми, я ведь не нарочно, я не хотел, я просто не понял в чем дело, что с рулём случилось, – который я уже укрепил, гайку подтянул, и догоняю ее уже на велосипеде, прошу не сердиться, говорю: – Теперь не упадём, садись, поедem, прошу тебя, и т.д. и т.п.

Но Лена круто повернулась ко мне и в страшной обиде и со злостью проговорила: – Шпана несчастная, я тебе этого никогда не прощу! И пошла от меня, заметно прихрамывая, распухшую коленку было хорошо видно... Ну и иди ты – пробурчал я.

С этого вечера я её не встречал, во всяком случае и не беспокоился об этом. Раньше она сама старалась со мною встретиться, я же теперь и не думал о ней. Конечно же, в этот вечер среди всех нас пошла «гулять басня» – мол, Смирнов на своём велосипеде Лену Улыбушеву чуть не покалечил, вон она с распухшей коленкой еле ходит... Кто зубоскалит, а кто и меня обвиняет в случившемся, как будто бы я нарочно это делал. А у меня оба локтя были сбиты до крови, что я всем и показывал в своё оправдание. Не нарочно же я для этого падал вместе с ней – руль сразу не проверил и не догадался об этом. Короче говоря, тогда этому эпизоду я никакого значения не придавал, и напрасно, как после выяснилось.

Вскоре эту историю я совсем забыл. Как теперь вспоминаю – Лену больше вообще не видел, хотя знал, что она работала в сберкассе, я же в то время работал в Райотделении Госбанка, но больше, повторяю, я её вообще не видел. Через несколько месяцев меня в Отрадной не стало...

Возвращусь назад. Она появилась в Отрадной через 28 лет – в 1965 году. Жора после второго освобождения жил в Отрадной и работал зав. Домом культуры – как его называли тогда ДК, и посетила ДК – новый, красивый и намного больше того, нашего старого ДК, помещавшегося тогда в большом раскулаченном доме, к которому при нас пристроили сцену, и поинтересовалась: «А кто теперь Зав. этим ДК?» Её, как Улыбушеву, никто в ДК не знал, откуда она приехала тоже никто не знал, сама она не успела рассказать, да её не каждый бы и узнал через 28 лет. Назвали фамилию Зав. ДК. Она переспросила: «Как? ЛИЗОГУБОВ?» – побледнела и потеряла дар речи, чуть в обморок не упала, потом, как пробка из шампанского, пулей вылетела на улицу из ДК и исчезла, улетучилась, как ветром её сдуло из Отрадной в тот же день, как сгнула... Никто так и не узнал – откуда и когда она приехала в Отрадную. И только через несколько лет по некоторым письмам, кто-то от кого-то получил, и было установлено, что Лена Улыбушева УМЕРЛА, а где, в каком городе – никто не знает. Времени прошло ведь достаточно много – у нас Колыма, в стране война, где она была – никто не знает. Жору она на этот раз тоже не увидела, хотя в то время и даже в тот день он находился именно в ДК, но ЕЙ такая встреча была больше, чем нежелательна. На этот раз «гора с горой» именно не сошлись.

В написанной Жориной рукой его биографии есть такое выражение: В 1937 году меня арестовали за то, что на одном, от руки написанном на красной материи лозунге или плакате, между текстом изречения Ленина, писавшим плакат художником, в виде украшения был нарисован музыкальный знак повторения «СЕГНО», который кем-то был обнаружен как знак, похожий на свастику фашистскую – за это и художника арестовали вместе со мною... Это вроде как было причиной нашего ареста. На следствии в 37 году Жоре дали понять, что заявление об этом знаке было написано Улыбушевой – активисткой Отрадненского ДК, но не только об этом знаке, а художником, написавшим плакат, был действительно я. Выходит, что причиной ареста Жоры был я, как художник, и эта причина очень долго бытовала в Отрадной, пока с Колымы в 1948 году не возвратился Жора, а позже, в 1955 году в Отрадной появился и я через 18 лет. Нам пришлось всем пояснять, что причиной ареста был не этот знак, кстати сказать, знак «СЕГНО» на свастику похож точно так же как корова на седло. Но дело в том, что про этот знак, ни меня, ни Жору никто не допрашивал, и о нём не говорилось на следствии ни слова ни Жоре, ни мне, так как нас арестовали и без суда дали мне 8 лет за участие в контрреволюционной и террористической группе, а Жоре 10 лет – за контрреволюционную деятельность. Об этом знаке ни слова, ни намёка, а в справках об освобождении так прямо и сказано – за что, и на сколько лет. Этот знак сразу отпал и следователями был начисто забыт. Меня причислили к какой-то группе людей, назывались фамилии, из которых я не знал ни одной, как не знал – где, когда и чем именно, эта группа занималась и была ли она вообще?... Несмотря на то, что меня буквально трое суток держали по очереди три следователя совсем без сна, и били меня как собаку, требуя подписать протокол, не читая самому (мне его прочитал следователь, не дал мне в руки), но я вытерпел все издевательства и побои, все-таки НЕ ПОДПИСАЛ своего протокола. А Жору – также обвиняли в какой-то деятельности, о которой он ни слова не слышал, и конечно же никогда и нигде не участвовал в том, что там ему написали следователи. И Жора, по своей наивности, как говорится, подписал свой протокол «с первой попытки», доверяя следователям – и подписал сам себе приговор на 10 лет. Меня в камере Армавирской тюрьмы бывалые люди в первый же день предупредили, чтобы я требовал сам прочитать протокол, а потом подписывать, что я и сделал, но от этого легче мне не стало, я всё равно оказался со всеми «в одной куче».

Во время моих допросов меня ни разу не спросили про Лизогубова, его фамилия вообще не упоминалась ни разу, а я сам не осмеливался об этом говорить. Так же и Жора рассказывал, что ему про меня тоже ни разу, ни один следователь не напомнил, и не упомянул моё имя или фамилию. Значит, у них там заранее была разработана непоколебимая версия и причина ареста, которую и доказывать нам было для них легче, что достигалось «подписанием протокола», в котором всё было написано в полном противоречии с ответами подследственного. На вопрос следователя (из моего протокола допроса) – был ли я знаком и где встречался с участниками группы Савиным и Булгаковым? Когда я с ними познакомился? Я отвечаю следователю: «Эти фамилии я слышу в первый раз в жизни и никогда их раньше не знал»... На этот вопрос и мой ответ следователь исписал целую страницу бумаги. Таких вопросов и ответов было три, и на это было потрачено ТРИ листа бумаги протокола. Когда я спросил: почему так много написано, дайте-ка мне самому всё прочитать – следователь дал мне по морде кулаком, а потом к стенке поставил, и когда я, уставший стоять, сел на пол, начал меня бить по плечам и спине рукояткой нагана... Так они со всеми и «подписывали» протоколы. Жора не сопротивлялся, его и не били, он и подписал всё, поверив им.

Нарисованный мною на лозунге знак «сегно» был похож только на самого себя и больше ни на что. О какой там свастике может идти речь, ведь этот знак «сегно» мог быть похож и на пуганого таракана, и на бешеную устрицу, и ещё черт знает на что, вплоть до бабы-яги на метле, но только не на фашистскую свастику. Так как же все это можно ставить в вину, и за это арестовывать? Поэтому про него на следствии и не упоминалось. Им самим, наверное, было смешно об этом говорить, но раз к нашему, вернее к моему аресту руку приложили «ТЯМОНЬКИ» всех размеров и сортов – арестованного НЕЛЬЗЯ ВЫПУСКАТЬ – он должен быть обязательно «врагом народа». Это необходимо, надо было «план выполнять», больше разоблачать и искоренять подозрительный элемент, неблагонадёжных и прочих «врагов», которые этим Тямонькам мешали жить на земле.

Как потом стало известно всем, не только по нашим рассказам – благо, что мы на Колыме

ВЫЖИЛИ и знаем, что это такое- «37-й год», а сколько людей остались в неведении и так и не узнали и сотов доли настоящей правды? Среди нашей родни и знакомых, кто нас с Жорой помнил и знал, миф об этом «знаке» развеялся как дым, но многие ведь на том свете не узнают и не узнали, когда были живы – как и для чего, какими методами и в силу каких идей, уничтожались тысячи ни в чем неповинных людей, и таким как мы только и осталось, что кричать от радости на весь свет: «Да, да, мы ЖИВЫ остались!»...

Осталось добавить, что и Тямоньку Бог наказал – его нет в живых с войны. На Кубани, как известно, в некоторых районах, как в Отрадненском, немцы были недолго – меньше года. Регулярных войск в Отрадной не было, фронтовая полоса прошла стороной, и оккупировали Отрадную и район комендатурные немцы. А весь райпартактив пошли в партизаны, скрывались в лесах Удобной и Преградской. Тямонька тоже был в партизанах, и однажды днём, он появился в Отрадной верхом на лошади, вооруженным, выполнял ли он какое задание командования отряда или по какой другой причине оказался среди бела дня на виду у немцев – его, как зайца, полицаи подстрелили, и на том кончилась его героическая жизнь. Почему-то до сих пор в Отрадной никто не может точно сказать – кто и зачем послал Тямоньку днём в оккупированную станицу, в результате чего он, как подсадной заяц или утка, так бесславно кончил свои дни. Партизанский отряд базировался где-то в Удобненских или Преграденских лесах, что в 30-50 км от Отрадной. Какую-то свою лепту в борьбе с немцами партизаны Отрадной внесли достойно во время войны, и, разумеется, я ничуть не хочу умалять чем-то заслуги Евтушенко в его личной партизанской деятельности. Погиб то он в борьбе с настоящими врагами Родины, что намного ВЫШЕ, чем погибнуть в борьбе с такими «врагами народа», какими он и ему подобные, вроде Улыбушевой и других типов, о которых я тут вспомнил, всю свою жизнь искали в наших фамилиях и нам подобных. Как говорится, «пути Господни неисповедимы», и может быть тут, в этих моих смиренных сравнениях, уместно будет упомянуть слова Есенина – «всё живое особой метою», каждому, как говорят, «своя отметина»... А самому Тямоньке надо было обижаться не на нас, что его вся Отрадная именвала этим словом, а на свою мать, которая неумышленно окрестила его этим прозвищем, вслух и принародно во дворе хозяйки, у которой она работала, т.е. у моей богатой тётки...

Меня ждёт встреча с ещё одним типом, который до сих пор жив в Отрадной, и который, как мне кажется, очень боится со мною встретиться точно так, как побоялась встречи с Жорой та самая Улыбушева, внезапно появившаяся и также внезапно исчезнувшая из Отрадной. Во все мои неоднократные посещения Отрадной еще при жизни Жоры и после, мне так и не удалось ни разу с ним встретиться. Всё время КТО-ТО или ЧТО-ТО не благоприятствовал этому, и никак встреча не получилась. Меня немного пугает то, что этот тип по своей старости может и не выдержать всей напряженности и нервной перегрузки от моих слов, которые я скажу ему прямо в глаза, ведь он надеялся в своей жизни на то, что я и Жора не будем ЖИВЫ, потому и вёл себя он так вызывающе НАГЛО. Я ему скажу, что он ПОДЛЕЦ с раннего детства, и уже мальчишкой был нечестным человеком – ему напомним живым примером – он украл у меня перочинный ножик, которым весь наш класс, а мы с ним вместе в школу ходили, карандаши чинил четыре года подряд, в последний день занятий он прикарманил его.

А когда старший сын Жоры – Юра, работал преподавателем рисования в одной с ним школе, этот тип несколько лет всё подкапывался под биографию Юры, пока не добился того, что Юру из школы с работы выгнали, как сына врага народа. С тех пор, несмотря на то, что Жора давно реабилитирован, но его сын Юра так и не смог работать ни в одной школе, хотя он и специалист, и художник с образованием.

Кроме этого, по его «ходатайству» перед РК КПСС, директор школы Караулова имела большие неприятности, и получила большой нагоняй от РК КПСС за то, что пионерская дружина её школы поддерживала со мною переписку, как с первым пионером первого пионерского отряда в Отрадной. Мне был прислан пионерский галстук и удостоверение почетного пионера отряда школы, как первому пионеру Отрадной. Разыскиали меня, как и других первых пионеров, преподаватели школы, которые меня знали с детских лет и которые работали вместе с Карауловой. В память о моём первом пионерском отряде, и в знак благодарности, из Магадана я неоднократно высылал много разных книг для библиотеки отряда, а также высылал новый сигнальный горн и барабан для отряда, как в подарок. Всё это пионерами получено и находится в «хозяйстве» отряда в школе, вместе с моими письмами, а письма пионеров я до сих

пор храню у себя. Переписка моя с отрядом продолжалась больше пяти лет. На юбилейный сбор отряда, в апреле 1961 года, я не смог приехать из Магадана. Этот тип написал кляузу в РК КПСС на Караулову – директора школы – она, мол, принимает подарки для пионеров от «врага народа», хотя этот тип – его я иначе называть не могу – ничего не знал – враг народа я, или нет. О том, что я давно реабилитирован и восстановлен во всех правах, директор школы Караулова знала, и в РК КПСС в Отрадную я тоже написал об этом, но в РК КПСС, наверное, с этим мало кто посчитался, и стараниями этого типа такая хорошая связь старейшего пионера с юными пионерами теперешнего времени так нелепо прекратилась. Невольно опять вспоминаются давнишние случаи из жизни таких типов, которые характеризуют людей «нечестного склада» – как Ильф и Петров их метко назвали – «жертвами аборта», жизнь таких типов, к которым вполне подходят слова Есенина – «особой метою отмеченных»...

Я помню случай, прогремевший на всю станицу, случившийся ещё в 1928 году. Один, известный в Отрадной человек, возле магазина в центре станицы потерял червонец – 10 рублей, в то время были большие деньги. Спohватившись, он бурно переживал эту потерю – шутка ли – 10 рублей! Спрашивал людей – не нашел ли кто, или, может быть, кто знал нашедшего, мол, пусть хоть половину возвратит и на это был согласен... Но напрасно потерявший вызвал к совести нашедшего, никто не признался в находке. А через день вся станица знала, что нашел этот червонец неудачник-сапожник КИЛЯ – так его прозвали в Отрадной – отец этого самого моего типа. Кия решил гульнуть по буфету, что и сделал, как говорится, с шиком – вся станица знала, что Кия пропивает найденный червонец, а когда ему сказали, что, мол, некрасиво ты делаешь, мол, человек просил вернуть хоть половину. На что Кия с усмешкой сказал: «Нема дураков, не надо было терять», всё-всё прочее, в таком духе. Короче говоря, пропил всё до копейки.

Сапожник он был не из хороших, новое не шил, никто ему не заказывал. Он перебивался мелким ремонтом и жил плохо. Почему я это знаю? Потому, что мой отец был хорошим портным в Отрадной, и всех хороших сапожников, а их было в станице в те времена много, знал, с ними поддерживал деловые связи, как и со всеми хорошими портными, которых тоже было много, потому я и был в курсе всех этих ремесленных дел. Они часто приходили к отцу по делам, и вообще, в то время все такие мастера были по работе связаны между собою, а этого Килю-пьяницу знали только в кругу не похмеленных, целыми днями толпящимися возле пивного ларька. После двухдневного загула этого Кили на найденный червонец, его в станице стали ещё больше не уважать, и так и звали его полупрезрительно – Кия. Так вот сын его и есть тот самый мой тип, с которым у меня предстоит в Отрадной встреча. Вот уж подлинно – «яблоко от яблони не далеко падает». Я отлично помню этот случай, хотя и прошло много времени, и при встрече с ним напомним об этом случае с его отцом, может быть, он хоть покраснеет от стыда. Хотя, откровенно сказать, на это у меня надежды мало, т.к. это такая порода людей, их ещё много есть...

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

т. Ворошилову К.Е.
от гр-на Лизогубова Георгия Мироновича
прожив. в Краснодарском крае,
Отраденского р-на, ст. Отрадная,
ул. Пионерская, д. 17

ХОДАТАЙСТВО

Я, Лизогубов Георгий Миронович 1914 года рождения, уроженец Краснодарского края, ст. Отрадная, происхожу из крестьянской семьи.

Отец занимался сельским хозяйством, жили бедно. В 1916 г. отец ушел на военную службу, а мы – я, мать и сестра Антонина 1912 г. рождения остались жить у деда (у отца матери – Ма-

зеева Иосифа Леонтьевича).

Дедушка был рабочим – машинистом, механиком. В 1918 году весной отец вернулся домой, а через неделю после его прихода умерла моя мать. Отец после похорон матери уехал неизвестно куда, а мы с сестрой остались жить у бабушки.

В 1920 г. весной отец вернулся домой, прожил с нами около 2-х месяцев и женился на другой жене и ушел к ней жить, потому что она жила зажиточно, бросил нас с сестрой и ничем нам не помогал.

В 1924 г. дедушка умер и мы остались жить с бабушкой. Жить было нечем, и мы с сестрой вынуждены были уйти работать по найму у чужих людей. В том же 1924 году бабушка подавала в суд на алименты с нашего отца и суд вынес решение взыскивать с отца на нас двоих по 25 руб. в месяц. Отец не платил алименты, тогда суд конфисковал у отца имущество и продал с аукционного торга, а вырученные деньги передал бабушке на наше содержание.

В 1925 г. отец, избегая уплаты алиментов, выехал с женой неизвестно куда и наверно где-то умер. Нам неизвестно. В 1925 г. моя тетя (сестра матери) вышла замуж за Карпенко Василия Карповича и мы: я, сестра и бабушка перешли на его иждивение.

В 1928 году окончил начальную школу в ст. Отрадная. В этом же году Карпенко Василий Карпович ушел на действительную военную службу, после чего материальные условия жизни очень ухудшились и дальше продолжать учиться я не мог. Я поступил учеником в фотомастерскую райосоавиахим. Здесь же, в ст. Отрадной, я, как любитель, стал заниматься в музыкальном кружке духового оркестра, который был в ведении райосоавиахима.

Музыка мне давалась легко, и я полюбил ее. Желая стать хорошим музыкантом, я списался с Карпенко Михаилом Карповичем (братом мужа моей тети), который находился в г. Сухуми и был воспитанником войсковой части и занимался в муз. взводе.

Тогда, весной в 1930 году, я выехал в г. Сухуми и обратился к командиру 3-го Закавказского стрелкового полка, чтобы меня взяли воспитанником и определили меня в муз. взвод. Командир согласился и я стал воспитанником части, где занимался в муз. взводе.

В 1932 г. я вступил в ряды ВЛКСМ и в этом же году поступил на вечерние занятия в сухумский музыкальный техникум. В 1934 г. я демобилизовался и выехал в Москву, где устроился музыкантом духового оркестра завода №24 им. Фрунзе.

В 1935 г. выехал в г. Сталинград, работал секретарем судоремонтного завода и принимал активное участие в работе заводского духового оркестра. Решением заводского комитета ВЛКСМ меня назначили зав. клубом судоремонтного завода.

В конце 1935 г. я переехал жить на родину в ст. Отрадная и поступил на работу в коммуну «Красное знамя» на должность зав. клубом и руководителем духового оркестра.

В апреле месяце 1936 г. решением бюро РК ВЛКСМ я был послан на работу в районный дом соц. культуры в ст. Отрадная на должность директора. В январе 1937 г. я был послан на курсы районных домов культуры и руководителей политпросветработников в Москву.

15 февраля 1937 г. по окончании курсов я вернулся в ст. Отрадная, где работал директором Дома культуры. С октября месяца Дом культуры начал подготовку к встрече 15 годовщины Октябрьской Социалистической революции. С любителями художественной самодеятельности готовился большой концерт, оформлялась наглядная агитация самого здания Дома культуры.

Мною было поручено члену кружка духового оркестра Смирнову Николаю Прокофьевичу писать лозунги. Смирнов написал несколько лозунгов, и они были развешаны в Доме культуры. При проверке написанных лозунгов никто никаких дефектов не замечал.

Примерно числа 25 октября 1937 г. вся подготовка к празднику была закончена. 6 ноября 1937 г. в Доме культуры проводилось районное торжественное собрание, посвященное 15-й годовщине Октября.

15 ноября 1937 г. в Доме культуры проводилась Сессия Отраденского Совета, а 16 ноября я выехал к родственникам жены в село Мало-Тенгинское (15 км от ст. Отрадная), и вернулся на ст. Отрадная 17 ноября. Вечером этого же числа, когда пришел в Дом культуры, техника мне сообщила, что один транспорт с лозунгом взят работником райкома партии т. Ворониным.

18 ноября я пошел в райком партии к Воронину, для выяснения причины снятия транспорта, который сообщил мне, что на нем изображен знак, похожий на фашистскую свастику

и что этот транспорант он передал в органы НКВД.

18 ноября 1937 г. органами НКВД Смирнов Н.П. (писавший лозунг) был арестован, а 19 ноября начальник райотделения НКВД Романов вызвал меня к себе и спросил меня, кто писал лозунги и почему на одном из транспорантов помещен знак, похожий на фашистскую свастику, но транспоранта мне не показал.

Романов поручил начальнику уголовного розыска Худасову оформить на меня протокол допроса. Худасов повторил те же слова, что и Романов: когда и кто писал лозунги, других вопросов не было. После оформления протокола Романов вызвал секретаря РК комсомола Евтушенко и у себя в кабинете вел с ним продолжительную беседу. Когда Евтушенко ушел, Романов заявил мне, что придется временно вас посадить и дал распоряжение отвезти меня в КПЗ.

20 ноября 1937 г. меня и Смирнова отправили в г. Армавир в распоряжение армавирского НКВД. Поместили нас в подвале под зданием родильного дома. Подвал был переполнен изнуренными людьми, которые произвели на меня очень тяжелое впечатление.

В течение трех месяцев нахождения в подвале меня вызвали на допрос всего два раза, причем, как на первом, так и на втором допросах ни о каком знаке, похожем на свастику, меня совершенно не спрашивали, предъявили обвинение, якобы я являюсь участником контрреволюционной повстанческой группы, организованной в ст. Отрадная.

Такое выдуманное и нелепое обвинение, похожее на бред сумасшедшего, я безусловно признать не мог, но под угрозой и запугиванием, не дав прочесть, и, не зачитав мне протокол допроса, меня заставили его подписать.

20 февраля 1938 г. меня перевели в Армавирскую городскую тюрьму и поместили меня со Смирновым в одной камере, где от Смирнова я узнал, что и его ни о каком фашистском знаке не допрашивали, а обвинили в участии для нас неизвестной существующей контрреволюционной повстанческой группе.

В конце февраля 1938 г. нас погрузили в вагоны и отправили до станции Батайск, где нас должны были принять представители УСВИТЛ Дальстроя, но так как все люди нашего эшелона были сильно изнурены и истощены, то от приема нас они отказались, и нас снова вернули в Армавирскую тюрьму.

На другие сутки нас поместили в сельхозколонию Армавирской тюрьмы. Начальник сельхозколонии предложил всем заключенным впервые написать письма своим родственникам, чтобы они оказали помощь продуктами. В данной колонии мы пробыли один месяц, после чего мы несколько оправились и нас комиссия приняла, и мы были отправлены на Колыму.

По приезду во Владивосток мне объявили, что тройкой Краснодарского НКВД я осужден к 10 годам лишения свободы, якобы за участие в контрреволюционной повстанческой группе.

Встретившись со Смирновым Н.П., который сообщил мне, что ему предъявили 8 лет лишения свободы, тоже за участие в контрреволюционной повстанческой группе, и как человеку без определенных занятий (в то время он работал пом.бухгалтера в Отрадненском Госбанке).

О квалификации наших преступлений, одному за контрреволюционную повстанческую группу, а другому с добавлением – террористической и БОС нас сильно возмутило, однако пожаловаться на эту несправедливость не было никакой возможности, и нас отправили отбывать наказание на Колыму.

Находясь на Колыме в системе УСВИТЛ Дальстроя я отбыл 10 лет данного мне наказания и, несмотря на то, что оно предъявлено незаслуженно, все же мое сознание было основано на том, что советский гражданин должен везде честно трудиться, и я трудился по мере своих сил. За свой честный труд я имел от администрации благодарности, премии, материальные поощрения и хорошие отзывы.

После отбытия наказания в 1948 году я возвратился к своей семье в ст. Отрадная Краснодарского края, и как музыкант-специалист был приглашен в Отрадненский Дом культуры на должность художественного руководителя, в котором я проработал с 24 марта 1948 года по 9 декабря 1952 г.

9 декабря 1952 г. органами рай МВД Отрадненского района я снова был арестован и направлен в г. Краснодар – где в управлении МВД мне было предъявлено, что изъяты вы для пересмотра вашего старого дела за 1937 г. Этот пересмотр длился до 19 апреля 1953 г., а 19 апреля 1953 г. я был освобожден за прекращением дела.

Я вернулся к своей семье в ст. Отрадная и по месту моей работы до ареста мне выплатили 2-х месячное содержание. После чего я работал продавцом в магазине Отрадненского сельпо в течение года, а потом был переведен на работу художественного руководителя в клуб Отрадненского райпотребсоюза, в котором работаю (с некоторым перерывом) и в настоящее время.

О моем отношении к общественной работе за время с 1938 г. по 1958 г. достаточно убедительно в положительную сторону говорят хотя бы выданные мне соответствующими организациями характеристики и грамоты.

Время идет, годы жизни уходят к старости. Я имею жену, двух детей в возрасте 9 лет и 21 года, но незаслуженное позорное пятно до сих пор меня страшно тяготит и не дает мне морального покоя.

Я хотел бы последние годы своей жизни быть равноправным членом нашей советской семьи и также честно трудиться на благо нашей Великой Родины.

Поэтому я убедительно Вас прошу поручить соответствующим органам, тщательно проверить мое дело, которое находится в Краснодарском управлении край МВД и вынести соответствующее решение о моей реабилитации.

КСиМУ

22 декабря 1958 г.

ст. Отрадная, Краснодарского края.

















